ВЛАДИМИР

НАБОКОВ

ДАР



Дар

Владимир Владимирович Набоков

Аннотация
Владимир Набоков. Дар
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Предисловие автора к американскому изданию

Аннотация

«Дар» (1938) – последний русский роман Владимира Набокова, который может быть по праву назван вершиной русскоязычного периода его творчества и одним из шедевров русской литературы XX века. Повествуя о творческом становлении молодого писателя-эмигранта Федора Годунова-Чердынцева, эта глубоко автобиографичная книга касается важнейших набоковских тем: судеб русской словесности, загадки истинного дара, идеи личного бессмертия, достижимого посредством воспоминаний, любви и искусства. В настоящем издании текст романа публикуется вместе с авторским предисловием к его позднейшему английскому переводу.

Владимир Набоков
Дар

Памяти моей матери

Дуб – дерево. Роза – цветок. Олень – животное. Воробей – птица. Россия – наше отечество. Смерть неизбежна.

П. Смирновский
Учебник русской грамматики

Роман, предлагаемый вниманию читателя, писался в начале тридцатых годов и печатался (за выпуском одного эпитета и всей главы IV) в журнале «Современные записки», издававшемся в то время в Париже.

Глава первая

Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192… года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы — в силу оригинальной честности нашей литературы — не договаривают единиц), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией. На лбу у фургона виднелась звезда вентилятора, а по всему его боку шло название перевозчичьей фирмы синими аршинными литерами, каждая из коих (включая и квадратную точку) была слева оттенена черной краской: недобросовестная попытка пролезть в следующее по классу измерение. Тут же перед домом (в котором я сам буду жить), явно выйдя навстречу своей мебели (а у меня в чемодане больше черновиков, чем белья), стояли две особы. Мужчина, облаченный в зелено-бурое войлочное

пальто, слегка оживляемое ветром, был высокий, густобровый старик с сединой в бороде и усах, переходящей в рыжеватость около рта, в котором он бесчувственно держал холодный, полуоблетевший сигарный окурок. Женщина, коренастая и немолодая, с кривыми ногами и довольно красивым лжекитайским лицом, одета была в каракулевый жакет; ветер, обогнув ее, пахнул неплохими, но затхловатыми духами. Оба, неподвижно и пристально, с таким вниманием, точно их собирались обвесить, наблюдали за тем, как трое красновыйных молодцов в синих фартуках одолевали их обстановку.

«Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую штуку», — подумалось мельком с беспечной иронией — совершенно, впрочем, излишнею, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него, все это уже принял, записал и припрятал. Сам только что переселившись, он в первый раз теперь, в еще непривычном чине здешнего обитателя, выбежал налегке, кое-чего купить. Улицу он знал, как знал весь округ: пансион, откуда он съехал, находился невдалеке; но до сих пор эта улица вращалась и скользила, ничем с ним не связанная, а сегодня остановилась вдруг, уже застывая в виде проекции его нового жилища.

Обсаженная среднего роста липами с каплями дождя, расположенными на их частых черных сучках по схеме будущих листьев (завтра в каждой капле будет по зеленому зрачку), снабженная смоляной гладью саженей в пять шириной и пестроватыми, ручной работы (лестной для ног) тротуарами, она шла с едва заметным наклоном, начинаясь почтамтом и кончаясь церковью, как эпистолярный роман. Опытным взглядом он искал в ней того, что грозило бы стать ежедневной зацепкой, ежедневной пыткой для чувств, но, кажется, ничего такого не намечалось, а рассеянный свет весеннего серого дня был не только вне подозрения, но еще обещал умягчить иную мелочь, которая в яркую погоду не преминула бы объявиться; все могло быть этой мелочью: цвет дома, например, сразу отзывающийся во рту неприятным овсяным вкусом, а то и халвой; деталь архитектуры, всякий раз экспансивно бросающаяся в глаза; раздражительное притворство кариатиды, приживалки — а не подпоры, — которую и меньшее бремя обратило бы тут же в штукатурный прах; или, на стволе дерева, под ржавой кнопкой, бесцельно и навсегда уцелевший уголок отслужившего, но не до конца содранного рукописного объявленьица

— о расплыве синеватой собаки; или вещь в окне, или запах, отказавшийся в последнюю секунду сообщить воспоминание, о котором был готов, казалось, завопить, да так на углу и оставшийся — самой за себя заскочившею тайной. Нет, ничего такого не было (еще не было), но хорошо бы, подумал он, как-нибудь на досуге изучить порядок чередования трех-четырех сортов лавок и проверить правильность догадки, что в этом порядке есть свой композиционный закон, так что, найдя наиболее частое сочетание, можно вывести средний ритм для улиц данного города, — скажем: табачная, аптекарская, зеленная. На Танненбергской эти три были разобщены, находясь на разных углах, но, может быть, роение ритма тут еще не настало и в будущем, повинуясь контрапункту, они постепенно (по мере прогорания или переезда владельцев) начнут сходиться: зеленная с оглядкой перейдет улицу, чтобы стать через семь, а там через три, от аптекарской, — вроде того, как в рекламной фильме находят свои места смешанные буквы, — причем одна из них напоследок как-то еще переворачивается, поспешно встав на ноги (комический персонаж, непременный Яшка Мешок в строю новобранцев); так и они будут выжидать, когда

освободится смежное место, а потом обе наискосок мигнут табачной — сигай сюда, мол; и вот уже все встали в ряд, образуя типическую строку. Боже мой, как я ненавижу все это: лавки, вещи за стеклом, тупое лицо товара и в особенности церемониал сделки, обмен приторными любезностями, до и после! А эти опущенные ресницы скромной цены… благородство уступки… человеколюбие торговой рекламы… все это скверное подражание добру, — странно засасывающее добрых: так, Александра Яковлевна признавалась мне, что когда идет за покупками в знакомые лавки, то нравственно переносится в особый мир, где хмелеет от вина честности, от сладости взаимных услуг, и отвечает на суриковую улыбку продавца улыбкой лучистого восторга.

Род магазина, в который он вошел, достаточно определялся тем, что в углу стоял столик с телефоном, телефонной книжкой, нарциссами в вазе и большой пепельницей. Тех русского окончания папирос, которые он предпочтительно курил, тут не держали, и он бы ушел без всего, не окажись у табачника крапчатого жилета с перламутровыми пуговицами и лысины тыквенного оттенка. Да, всю жизнь я буду кое-что добирать натурой в тайное возмещение постоянных переплат за

товар, навязываемый мне.

Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и увидел — с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу, — как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкап, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад.

Он пошел дальше, направляясь к лавке, но только что виденное, — потому ли, что доставило удовольствие родственного качества, или потому, что встряхнуло, взяв врасплох (как с балки на сеновале падают дети в податливый мрак), — освободило в нем то приятное, что уже несколько дней держалось на темном дне каждой его мысли, овладевая им при малейшем толчке: вышел мой сборник; и когда он, как сейчас, ни с того ни с сего падал так, то есть вспоминал эту полусотню только что вышедших стихотворений, он в один миг мысленно пробегал всю книгу, так что в мгновенном тумане ее безумно ускоренной музыки не различить было читатель-

ского смысла мелькавших стихов, — знакомые слова проносились, крутясь в стремительной пене (кипение сменявшей на мощный бег, если привязаться к ней взглядом, как делывали мы когда-то, смотря на нее с дрожавшего моста водяной мельницы, пока мост не обращался в корабельную корму: прощай!), — и эта пена, и мелькание, и отдельно пробегавшая строка, дико блаженно кричавшая издали, звавшая, вероятно, домой, — все это вместе со сливочной белизной обложки сливалось в ощущение счастья исключительной чистоты… «Что я, собственно, делаю!» — спохватился он, ибо сдачу, полученную только что в табачной, первым делом теперь высыпал на резиновый островок посреди стеклянного прилавка, сквозь который снизу просвечивало подводное золото плоских флаконов, между тем как снисходительный к его причуде взгляд приказчицы с любопытством направлялся на эту рассеянную руку, платившую за предмет, еще даже не названный.

«Дайте мне, пожалуйста, миндального мыла», — сказал он с достоинством.

Затем, все тем же взлетающим шагом, он воротился к дому. Там, на панели, не было сейчас никого, ежели не считать трех васильковых сту-

льев, сдвинутых, казалось, детьми. Внутри же фургона лежало небольшое коричневое пианино, так связанное, чтобы оно не могло встать со спины, и поднявшее кверху две маленьких металлических подошвы. На лестнице он встретил валивших вниз, коленями врозь, грузчиков, а пока звонил у двери новой квартиры, слышал, как наверху переговариваются голоса, стучит молоток. Впустив его, квартирохозяйка сказала, что положила ключи к нему в комнату. У этой крупной, хищной немки было странное имя; мнимое подобие творительного падежа придавало ему звук сентиментального заверения: ее звали Clara Stoboy.

А вот продолговатая комната, где стоит терпеливый чемодан… и тут разом все переменилось: не дай Бог кому-либо знать эту ужасную унизительную скуку, — очередной отказ принять гнусный гнет очередного новоселья, невозможность жить на глазах у совершенно чужих вещей, неизбежность бессонницы на этой кушетке!

Некоторое время он стоял у окна: небо было простоквашей; изредка в том месте, где плыло слепое солнце, появлялись опаловые ямы, и тогда внизу, на серой кругловатой крыше фургона, страшно скоро стремились к бытию, но, недово-

плотившись, растворялись тонкие тени липовых ветвей. Дом насупротив был наполовину в лесах, а по здоровой части кирпичного фасада оброс плющом, лезшим в окна. В глубине прохода, разделявшего палисадник, чернелась вывеска подвальной угольни.

Само по себе все это было видом, как и комната была сама по себе; но нашелся посредник, и теперь этот вид становился видом из этой именно комнаты. Прозревши, она лучше не стала. Палевые в сизых тюльпанах обои будет трудно претворить в степную даль. Пустыню письменного стола придется возделывать долго, прежде чем взойдут на ней первые строки. И долго надобно будет сыпать пепел под кресло и в его пахи, чтобы сделалось оно пригодным для путешествий.

Хозяйка пришла звать его к телефону, и он, вежливо сутулясь, последовал за ней в столовую. «Во-первых, — сказал Александр Яковлевич, — почему это, милостивый государь, у вас в пансионе так неохотно сообщают ваш новый номер? Выехали, небось, с треском? А во-вторых, хочу вас поздравить… Как — вы еще не знаете? Честное слово?» («Он еще ничего не знает», — обратился Александр Яковлевич другой стороной голоса к кому-то вне телефона.) «Ну, в таком

случае возьмите себя в руки и слушайте, я буду читать: „Только что вышедшая книга стихов до сих пор неизвестного автора, Федора Годунова-Чердынцева, кажется нам явлением столь ярким, поэтический талант автора столь несомненен…“ Знаете что, оборвем на этом, а вы приходите вечером к нам, тогда получите всю статью. Нет, Федор Константинович, дорогой, сейчас ничего не скажу, ни где, ни что, — а если хотите знать, что я сам думаю, то не обижайтесь, но он вас перехваливает. Значит, придете? Отлично. Будем ждать».

Вешая трубку, он едва не сбил со столика стальной жгут с карандашом на привязи; хотел его удержать, но тут-то и смахнул; потом въехал бедром в угол буфета; потом выронил папиросу, которую на ходу тащил из пачки; и наконец, зазвенел дверью, не рассчитав размаха, так что проходившая по коридору с блюдцем молока фрау Стобой холодно произнесла: «упс!». Ему захотелось сказать ей, что ее палевое в сизых тюльпанах платье прекрасно, что пробор в гофрированных волосах и дрожащие мешки щек сообщают ей нечто жорж-сандово-царственное; что ее столовая — верх совершенства; но он ограничился сияющей улыбкой и чуть не упал на

тигровые полоски, не поспевшие за отскочившим котом, но в конце концов он никогда и не сомневался, что так будет, что мир, в лице нескольких сот любителей литературы, покинувших Петербург, Москву, Киев, немедленно оценит его дар.

Перед нами небольшая книжка, озаглавленная «Стихи» (простая фрачная ливрея, ставшая за последние годы такой же обязательной, как недавние галуны — от «лунных грез» до символической латыни), содержащая около пятидесяти двенадцатистиший, посвященных целиком одной теме — детству. При набожном их сочинении автор, с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству: отсюда их мнимая очевидность; а с другой, он дозволил проникнуть в стихи только тому, что было действительно им, полностью и без примеси: отсюда их мнимая изысканность. Одновременно ему приходилось делать большие усилия, как для того, чтобы не утратить руководства игрой, так и для того, чтобы не выйти из состояния игралища. Стратегия вдохновения и тактика ума, плоть поэзии и призрак прозрачной прозы — вот определения, кажущиеся нам достаточно верными для характеристики творчества

молодого поэта. Так, запершись на ключ и достав свою книгу, он упал с ней на диван, — надо было перечесть ее тотчас, пока не остыло волнение, дабы заодно проверить доброкачественность этих стихов и предугадать все подробности высокой оценки, им данной умным, милым, еще неизвестным судьей. И теперь, пробуя и апробируя их, он совершал работу, как раз обратную давешней, когда мгновенной мыслью пробегал книгу. Теперь он читал как бы в кубе, выхаживая каждый стих, приподнятый и со всех четырех сторон обвеваемый чудным, рыхлым деревенским воздухом, после которого так устаешь к ночи. Другими словами, он, читая, вновь пользовался всеми материалами, уже однажды собранными памятью для извлечения из них данных стихов, и все, все восстанавливал, как возвратившийся путешественник видит в глазах у сироты не только улыбку ее матери, которую в юности знал, но еще аллею с желтым просветом в конце, и карий лист на скамейке, и всё, всё. Сборник открывался стихотворением «Пропавший Мяч», — и начинал накрапывать дождик. Тяжелый облачный вечер, один из тех, которые так к лицу нашим северным елям, сгустился вокруг дома. Аллея на ночь возвратилась из парка, и выход затянулся мглой.

Вот створы белых ставней отделили комнату от внешней темноты, куда уже было переправились, пробно расположившись на разных высотах в беспомощно черном саду, наиболее светлые части комнатных предметов. Теперь недолго до сна. Игры становятся вялыми и не совсем добрыми. Она стара и мучительно кряхтит, когда в три медленных приема опускается на колени.

Мяч закатился мой под нянин
комод, и на полу свеча
тень за концы берет и тянет
туда, сюда, – но нет мяча.
Потом там кочерга кривая
гуляет и грохочет зря —
и пуговицу выбивает,
а погодя полсухаря.
Но вот выскакивает сам он
в трепещущую темноту, —
через всю комнату, и прямо
под неприступную тахту.

Почему мне не очень по нутру эпитет «трепещущую»? Или тут колоссальная рука пуппенмейстера вдруг появилась на миг среди существ, в

рост которых успел уверовать глаз (так что первое ощущение зрителя по окончании спектакля: как я ужасно вырос)? А ведь комната действительно трепетала, и это мигание, карусельное передвижение теней по стене, когда уносится огонь, или чудовищно движущий горбами теневой верблюд на потолке, когда няня борется с увалистой и валкой камышовой ширмой (растяжимость которой обратно пропорциональна ее устойчивости), — все это самые ранние, самые близкие к подлиннику из всех воспоминаний. Я часто склоняюсь пытливой мыслью к этому подлиннику, а именно — в обратное ничто; так, туманное состояние младенца мне всегда кажется медленным выздоровлением после страшной болезни, удалением от изначального небытия, — становящимся приближением к нему, когда я напрягаю память до последней крайности, чтобы вкусить этой тьмы и воспользоваться ее уроками ко вступлению во тьму будущую; но, ставя жизнь свою вверх ногами, так что рождение мое делается смертью, я не вижу на краю этого обратного умирания ничего такого, что соответствовало бы беспредельному ужасу, который, говорят, испытывает даже столетний старик перед положительной кончиной, — ничего, кроме разве

упомянутых теней, которые, поднявшись откуда-то снизу, когда снимается, чтобы уйти, свеча (причем, как черная, растущая на ходу голова, проносится тень левого шара с постельного изножья), всегда занимают одни и те же места над моей детской кроватью

и по углам наглеют ночью,
своим законным образцам
лишь подражая между прочим.

В целом ряде подкупающих искренностью… нет, вздор, кого подкупаешь? кто этот продажный читатель? не надо его. В целом ряде отличных… или даже больше: замечательных стихотворений автор воспевает не только эти пугающие тени, но и светлые моменты. Вздор, говорю я, вздор! Он иначе пишет, мой безымянный, мой безвестный ценитель, — и только для него я переложил в стихи память о двух дорогих, старинных, кажется, игрушках: первая представляла собой толстый расписной горшок с искусственным растением теплых стран, на котором сидело удивительно вспорхливое на вид чучело тропической птички, оперения черного, с аметистовой грудкой, и когда большой ключ, выпрошенный у Ивонны Ивановны и заправленный в стенку горшка,

несколько раз туго и животворно поворачивался, маленький малайский соловей раскрывал… нет, он даже и клюва не раскрывал, ибо случилось что-то странное с заводом, с какой-то пружиной, действовавшей, однако же, впрок: птица отказывалась петь, но если забыть про нее и через неделю случайно пройти мимо ее высокого шкапа, то от таинственного сотрясения вдруг рождалось ее волшебное щелкание, — и как дивно, как длительно заливалась она, выпятив растрепанную грудку; кончит, ступишь, уходя, на другую половицу, и напоследок, отдельно, она еще раз свистнет и на полуноте замрет. Схожим образом, но с шутовской тенью подражания — как пародия всегда сопутствует истинной поэзии, — вела себя вторая из воспетых игрушек, находившаяся в другой комнате, тоже на высокой полке. Это был клоун в атласных шароварах, опиравшийся руками на два беленых бруска и вдруг от нечаянного толчка приходивший в движение

при музыке миниатюрной
с произношением смешным,

позванивавшей где-то под его подмостками, пока он поднимал едва заметными толчками выше и выше ноги в белых чулках, с помпонами

на туфлях, — и внезапно все обрывалось, он угловато застывал. Не так ли мои стихи… Но правда сопоставлений и выводов иногда сохраняется лучше по сю сторону слов.

Постепенно из накопляющихся пьесок складывается образ крайне восприимчивого мальчика, жившего в обстановке крайне благоприятной. Наш поэт родился двенадцатого июля 1900 года в родовом имении Годуновых-Чердынцевых Лешино. Мальчик еще до поступления в школу перечел немало книг из библиотеки отца. В своих интересных записках такой-то вспоминает, как маленький Федя с сестрой, старше его на два года, увлекались детским театром и даже сами сочиняли для своих представлений… Любезный мой, это ложь. Я был всегда равнодушен к театру; но, впрочем, помню, были какие-то у нас картонные деревца и зубчатый дворец с окошками из малиновокисельной бумаги, просвечивавшей верещагинским полымем, когда внутри зажигалась свеча, от которой, не без нашего участия, в конце концов и сгорело все здание. О, мы с Таней были привередливы, когда дело касалось игрушек! Со стороны, от дарителей равнодушных, к нам часто поступали совершенно убогие вещи. Все, что являло собой плоскую картонку с рисунком

на крышке, предвещало недоброе. Такой одной крышке я посвятил было условленных три строфы, но стихотворение как-то не встало. За круглым столом при свете лампы семейка: мальчик в невозможной, с красным галстуком, матроске, девочка в красных зашнурованных сапожках; оба с выражением чувственного упоения нанизывают на соломинки разноцветные бусы, делая из них корзиночки, клетки, коробки; и с увлечением неменьшим в этом же занятии участвуют их полоумные родители — отец с премированной растительностью на довольном лице, мать с державным бюстом; собака тоже смотрит на стол, а на заднем плане видна в креслах завистливая бабушка. Эти именно дети ныне выросли, и я часто встречаю их на рекламах: он, с блеском на маслянисто-загорелых щеках, сладострастно затягивается папиросой или держит в богатырской руке, плотоядно осклабясь, бутерброд с чем-то красным («ешьте больше мяса!»), она улыбается собственному чулку на ноге или с развратной радостью обливает искусственными сливками консервированный компот; и со временем они обратятся в бодрых, румяных, обжорливых стариков, — а там и черная инфернальная красота дубовых гробов среди пальм в витрине… Так

развивается бок о бок с нами, в зловеще-веселом соответствии с нашим бытием, мир прекрасных демонов; но в прекрасном демоне есть всегда тайный изъян, стыдная бородавка на заду у подобия совершенства: лакированным лакомкам реклам, объедающимся желатином, не знать тихих отрад гастронома, а моды их (медлящие на стене, пока мы проходим мимо) всегда чуть-чуть отстают от действительных. Я еще когда-нибудь поговорю об этом возмездии, которое как раз там находит слабое место для удара, где, казалось, весь смысл и сила поражаемого существа.

Вообще смирным играм мы с Таней предпочитали потные — беготню, прятки, сражения. Как удивительно такие слова, как «сражение» и «ружейный», передают звук нажима при вдвигании в ружье крашеной палочки (лишенной, для пущей язвительности, гуттаперчевой присоски), которая затем, с треском попадая в золотую жесть кирасы (следует представить себе помесь кирасира и краснокожего), производила почетную выбоинку.

И снова заряжаешь ствол
до дна, со скрежетом пружинным
в упругий вдавливая пол,

и видишь, притаясь за дверью,
как в зеркале стоит другой —
и дыбом радужные перья
из-за повязки головной.

Автору приходилось прятаться (речь теперь будет идти об особняке Годуновых-Чердынцевых на Английской Набережной, существующем и поныне) в портьерах, под столами, за спинными подушками шелковых оттоманок — и в платяном шкапу, где под ногами хрустел нафталин и откуда можно было в щель незримо наблюдать за медленно проходившим слугой, становившимся до странности новым, одушевленным, вздыхающим, чайным, яблочным; а также

под лестницею винтовой
и за буфетом одиноким,
забытым в комнате пустой, —

на пыльных полках которого прозябали: ожерелье из волчьих зубов, алматолитовый божок с голым пузом, другой фарфоровый, высовывающий в знак национального приветствия черный язык, шахматы с верблюдами вместо слонов, членистый деревянный дракон, сойотская табакерка из молочного стекла, другая агатовая,

шаманский бубен, к нему заячья лапка, сапог из кожи маральих ног со стелькой из коры лазурной жимолости, тибетская мечевидная денежка, чашечка из кэрийского нефрита, серебряная брошка с бирюзой, лампада ламы, — и еще много тому подобного хлама, который — как пыль, как с немецких вод перламутровый Gruss[1] — мой отец, не терпя этнографии, случайно привозил из своих баснословных путешествий. Зато запертые на ключ три залы, где находились его коллекции, его музей… но об этом в стихах перед нами нет ничего: особым чутьем молодой автор предвидел, что когда-нибудь ему придется говорить совсем иначе, не стихами с брелоками и репетицией, а совсем, совсем другими, мужественными словами о своем знаменитом отце.

Опять что-то испортилось, и доносится фамильярно-фальшивый голосок рецензента (может быть, даже женского пола). Поэт с мягкой любовью вспоминает комнаты родного дома, где оно протекало. Он сумел влить много лирики в поэтическую опись вещей, среди которых протекало оно. Когда прислушиваешься… Мы все, чутко и бережно… Мелодия прошлого… Так, например,

---

[1] Примечания: 1
Привет *(нем.)*.

он отображает абажуры ламп, литографии на стенах, свою парту, посещение полотеров (оставляющих после себя составной дух из «мороза, пота и мастики») и проверку часов:

По четвергам старик приходит,
учтивый, от часовщика,
и в доме все часы заводит
неторопливая рука.
Он на свои украдкой взглянет
и переставит у стенных.
На стуле, стоя, ждать он станет,
чтоб вышел полностью из них
весь полдень. И, благополучно
окончив свой приятный труд,
на место ставит стул беззвучно,
и, чуть ворча, часы идут.

Щелкая языком иногда и странно переводя дух перед боем. Их таканье, как поперечно-полосатая лента сантиметра, без конца мерило мои бессонницы. Мне было так же трудно уснуть, как чихнуть без гусара или покончить с собой собственными средствами (проглотив язык, что ли). В начале мученической ночи я еще пробав-

лялся тем, что переговаривался с Таней, кровать которой стояла в соседней комнате; дверь мы приоткрывали, несмотря на запрет, и потом, когда гувернантка приходила в свою спальню, смежную с Таниной, один из нас дверь легонько затворял: мгновенный пробег босиком и скок в постель. Из комнаты в комнату мы долго задавали друг другу шарады, замолкая (до сих пор слышу тон этого двойного молчания в темноте): она — для разгадки моей, я — для придумывания новой. Мои были всегда попричудливее да поглупее, Таня же придерживалась классических образцов:

mon premier est un métal précieux,
mon second est un habitant des cieux,
et mon tout est un fruit délicieux[2].

Иногда она засыпала, пока я доверчиво ждал, думая, что она бьется над моей загадкой, и ни мольбами, ни бранью мне уже не удавалось ее воскресить. С час после этого я путешествовал в потемках постели, накидывая на себя простыню и одеяло сводом, так чтобы получилась пещера,

[2] Примечания: 2

Мой первый [слог] — драгоценный металл, мой второй [слог] — обитатель небес, а целое — восхитительный фрукт *(фр.).*

в далеком, далеком выходе которой пробивался сторонкой синеватый свет, ничего общего не имевший с комнатой, с невской ночью, с пышными, полупрозрачными опадениями темных штор. Пещера, которую я исследовал, содержала в складках своих и провалах такую томную действительность, полнилась такой душной и таинственной мерой, что у меня как глухой барабан начинало стучать в груди, в ушах; и там, в глубине, где отец мой нашел новый вид летучей мыши, я различал скулы идола, высеченного в скале, а когда наконец забывался, то меня десяток рук опрокидывали, и кто-то с ужасным шелковым треском распарывал меня сверху донизу, после чего проворная ладонь проникала в меня и сильно сжимала сердце. А не то я бывал обращен в кричащую монгольским голосом лошадь: камы посредством арканов меня раздирали за бабки, так что ноги мои, с хрустом ломаясь, ложились под прямым углом к туловищу, грудью прижатому к желтой земле, и, знаменуя крайнюю муку, хвост стоял султаном; он опадал, я просыпался.

Пожалуйте вставать. Гуляет
по зеркалам печным ладонь
истопника: определяет,

дорос ли до верху огонь.
Дорос. И жаркому гуденью
день отвечает тишиной,
лазурью с розовою тенью
и совершенной белизной.

Странно, каким восковым становится воспоминание, как подозрительно хорошеет херувим по мере того, как темнеет оклад, — странное, странное происходит с памятью. Я выехал семь лет тому назад; чужая сторона утратила дух заграничности, как своя перестала быть географической привычкой. Год Семь. Бродячим призраком государства было сразу принято это летоисчисление, сходное с тем, которое некогда ввел французский ражий гражданин в честь новорожденной свободы. Но счет растет, и честь не тешит; воспоминание либо тает, либо приобретает мертвый лоск, так что взамен дивных привидений нам остается веер цветных открыток. Этому не поможет никакая поэзия, никакой стереоскоп, лупоглазо и грозно-молчаливо придающий такую выпуклость куполу и таким бесовским подобием пространства обмывающий гуляющих с карлсбадскими кружками лиц, что пуще рассказов о камлании меня мучили сны

после этого оптического развлечения: аппарат стоял в приемной дантиста, американца Lawson, сожительница которого Mme Ducamp, седая гарпия, за своим письменным столом среди флаконов кроваво-красного Лоусоновского эликсира, поджимая губы и скребя в волосах, суетливо прикидывала, куда бы вписать нас с Таней, и наконец, с усилием и скрипом, пропихивала плюющееся перо промеж la Princesse Toumanoff с кляксой в конце и Monsieur Danzas с кляксой в начале. Вот описание поездки к этому дантисту, предупредившему накануне, что that one will have to come out...[3]

Как буду в этой же карете
чрез полчаса опять сидеть?
Как буду на снежинки эти
и ветви черные глядеть?
Как тумбу эту в шапке ватной
глазами провожу опять?
Как буду на пути обратном
мой путь туда припоминать?
(Нащупывая поминутно

---

[3] Примечания: 3
Вот тот [зуб] придется удалить... *(англ.)*

с брезгливой нежностью платок,
в который бережно закутан
как будто костяной брелок.)

«Ватная шапка» — будучи к тому же и двусмыслицей, совсем не выражает того, что требовалось: имелся в виду снег, нахлобученный на тумбы, соединенные цепью где-то поблизости памятника Петра. Где-то! Боже мой, я **уже** с трудом собираю части прошлого, **уже** забываю соотношение и связь еще в памяти здравствующих предметов, которые вследствие этого и обрекаю на отмирание. Какая тогда оскорбительная насмешка в самоуверении, что

так впечатление былое
во льду гармонии живет…

Что же понуждает меня слагать стихи о детстве, если все равно пишу зря, промахиваясь словесно или же убивая и барса и лань разрывной пулей «верного» эпитета? Но не будем отчаиваться. Он говорит, что я настоящий поэт, — значит, стоило выходить на охоту.

Вот еще двенадцатистишие о том, что мучило мальчика, — о терниях городской зимы; как например: когда чулки шерстят в поджилках, или

когда на руку, положенную на плаху прилавка, приказчица натягивает тебе невозможно плоскую перчатку. Упомянем далее: двойной (первый раз соскочило) щипок крючка, когда тебе, расставившему руки, застегивают меховой воротник; зато какая занимательная перемена акустики, емкость звука, когда воротник поднят; и если мы уже коснулись ушей: как незабвенна музыка шелковой тугости при завязывании (подними подбородок) ленточек шапочных наушников.

Весело ребятам бегать на морозце. У входа в оснеженный (ударение на втором слоге) сад — явление: продавец воздушных шаров. Над ним, втрое больше него, — огромная шуршащая гроздь. Смотрите, дети, как они переливаются и трутся, полные красного, синего, зеленого солнышка Божьего. Красота! Я хочу, дяденька, самый большой (белый, с петухом на боку, с красным детенышем, плавающим внутри, который, по убиении матки, уйдет к потолку, а через день спустится, сморщенный и совсем ручной). Вот счастливые ребята купили шар за целковый, и добрый торговец вытянул его из теснящейся стаи. Погоди, пострел, не хватай, дай отрезать. После чего он снова надел рукавицы, проверил, ладно ли стянут веревкой с ножницами, и, оттолкнув-

шись пятóй, тихо начал подниматься стояком в голубое небо, все выше и выше, вот уж гроздь его не более виноградной, а под ним — дымы, позолота, иней Санкт-Петербурга, реставрированного, увы, там и сям по лучшим картинам художников наших.

Но без шуток: было очень красиво, очень тихо. Деревья в саду изображали собственные призраки, и получалось это бесконечно талантливо. Мы с Таней издевались над салазками сверстников, особенно если были они крытые ковровой материей с висячей бахромой, высоким сиденьем (снабженным даже грядкой) и вожжиками, за которые седок держался, тормозя валенками. Такие никогда не дотягивали до конечного сугроба, а, почти сразу выйдя из прямого бега, беспомощно крутились вокруг своей оси, продолжая спускаться, с бледным серьезным ребенком, принужденным по замирании их, толчками собственных ступней, сидя, подвигаться вперед, чтобы достигнуть конца ледяной дорожки. У меня и у Тани были увесистые брюшные санки от Сангалли: прямоугольная бархатная подушка на чугунных полозьях скобками. Их не надо было тащить за собой, они шли с такой нетерпеливой легкостью по зря усыпанному песком снегу, что

ударялись сзади в ноги. Вот горка.

Влезть на помост, облитый блеском…
—

(взнашивая ведра, чтобы скат **обливать**, воду расплескивали, так что ступени обросли корою **блестящего** льда, но все это не успела объяснить благонамеренная аллитерация).

Влезть на помост, облитый блеском,
упасть с размаху животом
на санки плоские – и с треском
по голубому… А потом, —
когда меняется картина
и в детской сумрачно горит
рождественская скарлатина
или пасхальный дифтерит, —
съезжать по блещущему ломко,
преувеличенному льду
в полутропическом каком-то,
полутаврическом саду… —

куда из нашего Александровского, волею горячечной мечты, перекочевывал вместе со своим каменным верблюдом генерал Николай Михай-

лович Пржевальский, тут же превращающийся в статую моего отца, который в это время находился где-нибудь, скажем, между Кокандом и Асхабадом — или на склонах Сининских Альп. Как мы с Таней болели! То вместе, то по очереди; и как мне страшно бывало услыхать между вдали стукнувшею и другою, сдержанно тихою, дверьми ее прорвавшийся шаг и высокий смех, звучавший небесным ко мне равнодушием, райским здоровьем, бесконечно далеким от моего толстого, начиненного желтой клеенкой компресса, ноющих ног, плотской тяжести и связанности, — но если хворала она, каким земным и здешним, каким футбольным мячом, чувствовал себя я, глядя на нее, лежащую в постели, отсутствующую, обращенную к потустороннему, а вялой изнанкой ко мне! Опишем: последнюю попытку обороны перед капитуляцией, когда, еще не выйдя из течения дня, скрывая от самого себя жар, ломоту и по-мексикански запахиваясь, маскируешь притязания озноба под видом требований игры, а через полчаса, сдавшись и попав в постель, тело уже не верит, что вот только что играло, ползало по полу залы, по ковру, пока врем. Опишем: вопросительно тревожную улыбку матери, только что поставившей мне

градусник (чего она не доверяла ни дядьке, ни гувернантке). «Что же ты так окапутился?» — говорит она, еще пробуя шутить. А через минуту: «Я уже вчера знала, что у тебя жар, меня не обманешь». А еще через минуту: «Сколько, думаешь, у тебя?» И наконец: «Мне кажется, можно вынуть». Она подносит раскаленный градусник к свету и, сдвинув очаровательные котиковые брови, которые унаследовала и Таня, долго смотрит… и потом, ничего не сказав, медленно отряхнув градусник и вкладывая его в футляр, глядит на меня, словно не совсем узнает, а отец, задумавшись, едет шагом по весенней, сплошь голубой от ирисов, равнине; опишем и бредовое состояние, когда растут, распирая мозг, какие-то великие числа, сопровождаемые непрекращающейся, словно посторонней, скороговоркой, как если бы в темном саду при сумасшедшем доме задачника, наполовину (точнее — на пятьдесят семь сто одиннадцатых) выйдя из мира, отданного в рост, — ужасного мира, который они обречены представлять в лицах, — торговка яблоками, четыре землекопа и Некто, завещавший детям караван дробей, беседовали под ночной шумок деревьев о чем-нибудь крайне домашнем и глупом, но тем более страшном, тем более

неминуемо оказывавшемся вдруг как раз этими числами, этой безудержно расширяющейся вселенной (что, для меня, проливает странный свет на макрокосмические домыслы нынешних физиков). Опишем и выздоровление, когда уже ртуть не стоит спускать, и градусник оставляется небрежно лежать на столе, где толпа книг, пришедших поздравить, и несколько просто любопытных игрушек вытесняют полупустые склянки мутных микстур.

Бювар с бумагою почтовой
всего мне видится ясней;
она украшена подковой
и монограммою моей.
Уж знал я толк в инициалах,
печатках, сплющенных цветках
от девочки из Ниццы, алых
и бронзоватых сургучах.

В стихи не попал удивительный случай, бывший со мной после одного особенно тяжелого воспаления легких. Когда все перешли в гостиную, один из мужчин, весь вечер молчавший… Жар ночью схлынул, я выбрался на сушу. Был я, доложу я вам, слаб, капризен и прозрачен

— прозрачен, как хрустальное яйцо. Мать поехала мне покупать… что — я не знал — одну из тех чудаковатых вещей, на которые время от времени я зарился с жадностью брюхатой женщины, — после чего совершенно о них забывал, — но мать записывала эти desiderata[4]. Лежа в постели пластом среди синеватых слоев комнатных сумерек, я лелеял в себе невероятную ясность, как случается, что между сумеречных туч длится дальняя полоса лучезарно-бледного неба, и там видны как бы мыс и мели Бог знает каких далеких островов, — и кажется, что, если еще немножко отпустить вдаль свое легкое око, различишь блестящую лодку, втянутую на влажный песок, и уходящие следы шагов, полные яркой воды. Полагаю, что в ту минуту я достиг высшего предела человеческого здоровья: мысль моя омылась, окунувшись недавно в опасную, не по-земному чистую черноту; и вот, лежа неподвижно и даже не жмурясь, я мысленно вижу, как моя мать, в шеншилях и вуали с мушками, садится в сани (всегда кажущиеся такими маленькими по сравнению со стеатопигией русского кучера того времени), как мчит ее, прижавшую сизо-пу-

---

[4] Примечания: 4
Пожелания *(лат.)*.

шистую муфту к лицу, вороная пара под синей сеткой. Улица за улицей развертывается без всякого моего усилия; комья кофейного снега бьют в передок. Вот сани остановились. Выездной Василий соскальзывает с запяток, одновременно отстегивая медвежью полость, и моя мать быстро идет к магазину, название и выставку которого я не успеваю рассмотреть, так как в это мгновение проходит и окликает ее (но она уже скрылась) мой дядя, а ее брат, и на протяжении нескольких шагов я невольно сопутствую ему, стараясь вглядеться в лицо господина, с которым он, удаляясь, беседует, но, спохватившись, я поворачиваю обратно и поспешно втекаю в магазин, где мать уже платит десять рублей за совершенно обыкновенный, зеленый фаберовский карандаш, который бережно заворачивается в коричневую бумагу двумя приказчиками и передается Василью, вот уже несущему его за моей матерью в сани, вот уже мчащиеся по таким-то и таким-то улицам назад к нашему дому, вот уже приближающемуся к ним; но тут хрустальное течение моего ясновидения прервалось тем, что Ивонна Ивановна принесла мне чашку бульона с гренками: я так был слаб, что мне понадобилась ее помощь, чтобы присесть на постели, она дала тумака подушке

и установила передо мной поперек живого одеяла постельный столик на карликовых ножках (с извечно липким уездом у юго-западного угла). Вдруг растворилась дверь, вошла мать, улыбаясь и держа, как бердыш, длинный коричневый сверток. В нем оказался фаберовский карандаш в полтора аршина длины и сообразно толстый: рекламный гигант, горизонтально висевший в витрине и возбудивший как-то мою взбалмошную алчность. Должно быть, я находился еще в блаженном состоянии, когда любая странность, как полубог, сходит к нам, чтобы неузнанной смешаться с воскресной толпой, ибо в ту минуту я вовсе не поразился случившемуся со мной, а только вскользь про себя отметил, как ошибся насчет величины предмета; но потом, окрепнув, хлебом залепив щели, я с суеверным страданием раздумывал над моим припадком прозрения (никогда, впрочем, не повторившимся), которого я так стыдился, что скрыл его даже от Тани, — и едва ли не расплакался от смущения, когда нам попался навстречу, чуть ли не в первый мой выход, дальний родственник матери, некто Гайдуков, который тут-то и сказал ей: «А мы с вашим братцем недавно видели вас около Треймана».

Между тем воздух стихов потеплел, и мы соби-

раемся назад в деревню, куда до моего поступления в школу (а поступил я только двенадцати лет) мы переезжали иногда уже в апреле.

В канавы скрылся снег со склонов,
и петербургская весна
волнения и анемонов
и первых бабочек полна.
Но мне не надо прошлогодних,
увядших за зиму ванесс,
лимонниц никуда не годных,
летящих сквозь прозрачный лес.
Зато уж высмотрю четыре
прелестных газовых крыла
нежнейшей пяденицы в мире
средь пятен белого ствола.

Это любимое стихотворение самого автора, но он не включил его в сборник, потому, опять же, что тема связана с темой отца, а экономия творчества советовала не трогать ее до поры до времени. Вместо нее воспроизведены такие весенние впечатления, как первое чувство сразу по выходе со станции: мягкость земли, ее близость к ступне, а вокруг головы — ничем не стесненное течение

воздуха. Наперебой, яростно расточая приглашения, вставая с козел, взмахивая свободной рукой, мешая галдеж с нарочитым тпруканием, извозчики зазывали ранних дачников. Поодаль нас ожидал открытый автомобиль, пунцовый снутри и снаружи: идея скорости уже дала наклон его рулю (меня поймут приморские деревья), однако общая его внешность еще хранила — из ложного приличия, что ли, — подобострастную связь с формой коляски, но если это и была попытка мимикрии, то она совершенно уничтожалась грохотанием мотора при открытом глушителе, столь зверским, что задолго до нашего появления мужик на встречной телеге спрыгивал с нее и поворачивал лошадь — после чего, бывало, вся компания немедленно оказывается в канаве, а то и в поле — где, через минуту, уже забыв нас и нашу пыль, опять собирается свежая нежная тишина с мельчайшим отверстием для пения жаворонка.

Быть может, когда-нибудь, на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением, несмотря на идиотскую вещественность изоляторов, я еще выйду с той станции и, без видимых спутников, пешком пройду стежкой вдоль шоссе с десяток верст до

Лешина. Один за другим телеграфные столбы будут гудеть при моем приближении. На валун сядет ворона — сядет, оправит сложившееся не так крыло. Погода будет, вероятно, серенькая. Изменения в облике окрестности, которые я не могу представить себе, и старейшие приметы, которые я почему-то забыл, будут встречать меня попеременно, даже смешиваясь иногда. Мне кажется, что при ходьбе я буду издавать нечто вроде стона, в тон столбам. Когда дойду до тех мест, где я вырос, и увижу то-то и то-то — или же, вследствие пожара, перестройки, вырубки, нерадивости природы, не увижу ни того, ни этого (но все-таки кое-что, бесконечно и непоколебимо верное мне, разгляжу — хотя бы потому, что глаза у меня все-таки сделаны из того же, что тамошняя серость, светлость, сырость), то, после всех волнений, я испытаю какую-то удовлетворенность страдания — на перевале, быть может, к счастью, о котором мне знать рано (только и знаю, что оно будет с пером в руке). Но одного я наверняка не застану — того, из-за чего, в сущности, стоило городить огород изгнания: детства моего и плодов моего детства. Его плоды — вот они, — сегодня, здесь, — уже созревшие; оно же само ушло в даль, почище северно-русской.

Автор нашел верные слова для изображения ощущения при переходе в деревенскую обстановку. Как весело, говорит он, что:

ни шапки надевать не надо,
ни легких башмаков менять,
чтоб на песок кирпичный сада
весною выбежать опять.

К этому в десять лет прибавилось новое развлечение. Он еще в городе въехал ко мне, и сначала я его долго водил за рога из комнаты в комнату, и с какой застенчивой грацией он шел по паркету, пока не накололся на кнопку! По сравнению с трехколесным, детским, дребезжащим и жалким, который по узости ободков увязал даже в песке садовой площадки, новый обладал божественной легкостью передвижения. Это поэт хорошо выразил в следующих стихах:

О, первого велосипеда
великолепье, вышина;
на раме «Дукс» или «Победа»;
надутой шины тишина.
Дрожанье и вилы в аллее,
где блики по рукам скользят,

где насыпи кротов чернеют
и низвержением грозят.
А завтра пролетаешь через,
и, как во сне, поддержки нет,
и, этой простоте доверясь,
не падает велосипед.

А послезавтра неизбежно начинает развиваться мечта о «свободной передаче», — сочетание слов, которое я до сих пор слышать не могу без того, чтоб не замелькала под едва уловимый резиновый шелест и легчайшее лепетание спиц полоса полого бегущей, гладкой, липкой земли.

Катанье на велосипеде и на лодке, верховая езда, игра в лоун-теннис и в городки, «крокет, купанье, пикники», заманчивость мельницы и сенника, — этим в общих чертах исчерпываются темы, волнующие нашего автора. Что же можно сказать о формальной стороне его стихотворений? Это, конечно, миниатюры, но сделанные с тем феноменально тонким мастерством, при котором отчетлив каждый волосок, не потому что все выписано чересчур разборчивой кистью, а потому что присутствие мельчайших черт невольно читателю внушено порядочностью и надежностью таланта, ручающегося за соблю-

дение автором всех пунктов художественного договора. Можно спорить о том, стоит ли вообще оживлять альбомные формы, и есть ли еще кровь в жилах нашего славного четырехстопника (которому уже Пушкин, сам пустивший его гулять, грозил в окно, крича, что школьникам отдаст его в забаву), но никак нельзя отрицать, что в пределах, себе поставленных, свою стихотворную задачу Годунов-Чердынцев правильно разрешил. Чопорность его мужских рифм превосходно оттеняет вольные наряды женских; его ямб, пользуясь всеми тонкостями ритмического отступничества, ни в чем, однако, не изменяет себе. Каждый его стих переливается арлекином. Кому нравится в поэзии архиживописный жанр, тот полюбит эту книжечку. Слепому на паперти она ничего не может сказать. У, какое у автора зрение! Проснувшись спозаранку, он уже знает, каков будет день, по щели в ставне, которая

синеет, синего синей,
почти не уступая в сини
воспоминанию о ней,

и тем же прищуренным глазом он смотрит вечером на поле, одна сторона которого уже забрана тенью, между тем как другая, дальняя,

от валуна
посередине до опушки
еще, как днем, освещена.

Нам даже думается, что, может быть, именно живопись, а не литература с детства обещалась ему, и, ничего не зная о теперешнем облике автора, мы зато ясно воображаем мальчика в соломенной шляпе, необыкновенно неудобно расположившегося на садовой скамейке со своими акварельными принадлежностями и пишущего мир, завещанный ему предками.

Фарфоровые соты синий,
зеленый, красный мед хранят.
Сперва из карандашных линий
слагается шершаво сад.
Березы, флигельный балкончик —
всё в пятнах солнца. Обмакну
и заверну погуще кончик
в оранжевую желтизну.
Меж тем в наполненном бокале,
в лучах граненого стекла —
какие краски засверкали,
какая радость расцвела!

Такова книжечка Годунова-Чердынцева. В заключение добавим… Что еще? Что еще? Подскажи мне, мое воображение. Неужто и вправду все очаровательно дрожащее, что снилось и снится мне сквозь мои стихи, удержалось в них и замечено читателем, чей отзыв я еще сегодня узнаю? Неужели действительно он все понял в них, понял, что кроме пресловутой «живописности» есть в них еще тот особый поэтический смысл (когда за разум зашедший ум возвращается с музыкой), который один выводит стихи в люди? Читал ли он их по скважинам, как надобно читать стихи? Или просто так: прочел, понравилось, он и похвалил, отметив как черту модную в наше время, когда время в моде, значение их чередования: ибо если сборник открывается стихами о «Потерянном Мяче», то замыкается он стихами «О Мяче Найденном».

Одни картины да киоты
в тот год остались на местах,
когда мы выросли, и что-то
случилось с домом: второпях
все комнаты между собою
менялись мебелью своей:
шкапами, ширмами, толпою

неповоротливых вещей.
И вот тогда-то, под тахтою,
на обнажившемся полу,
живой, невероятно милый,
он обнаружился в углу.

Внешний вид книги приятен.

Выжав из нее последнюю каплю сладости, Федор Константинович потянулся и встал с кушетки. Ему сильно хотелось есть. Стрелки его часов с недавних пор почему-то пошаливали, вдруг принимаясь двигаться против времени, так что нельзя было положиться на них, но, судя по свету, день, собравшись в путь, присел с домочадцами и задумался. Когда же Федор Константинович вышел на улицу, его обдало (хорошо, что надел) влажным холодком: пока он мечтал над своими стихами, шел, по-видимому, дождь, вылощив улицу до самого ее конца. Фургона уже не было, а на том месте, где недавно стоял его трактор, у самой панели осталось радужное, с приматом пурпура и перистообразным поворотом, пятно масла: попугай асфальта. А как было имя перевозчичьей фирмы? Max Lux. Что это у тебя, сказочный огородник? Мак-с. А то? Лук-с, ваша светлость.

«Да захватил ли я ключи?» — вдруг подумал Федор Константинович, остановившись и опустив руку в карман макинтоша. Там, наполнив горсть, успокоительно и веско звякнуло. Когда, три года тому, еще в бытность его тут студентом, мать переехала к Тане в Париж, она писала, что никак не может привыкнуть к освобождению от постоянного гнета цепи, привязывающей берлинца к дверному замку. Ему представилась ее радость при чтении статьи о нем, и на мгновение он почувствовал по отношению к самому себе материнскую гордость; мало того: материнская слеза обожгла ему края век. Но что мне внимание при жизни, коли я не уверен в том, что до последней, темнейшей своей зимы, дивясь, как ронсаровская старуха, мир будет вспоминать обо мне? А все-таки! Мне еще далеко до тридцати, и вот сегодня — признан. Признан! Благодарю тебя, отчизна, за чистый… Это, пропев совсем близко, мелькнула лирическая возможность. Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой-то дар. Ты, как безумие… Звук «признан» мне, собственно, теперь и не нужен: от рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама отпала. Благодарю тебя, **Россия**, за чистый и… второе прилагательное я не успел разглядеть при вспышке — а жаль. Счастливый?

Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин? Нет, нет, все улетело, я не успел удержать.

Он купил пирожков (один с мясом, другой с капустой, третий с сагой, четвертый с рисом, пятый… на пятый не хватило) в русской кухмистерской, представлявшей из себя как бы кунсткамеру отечественной гастрономии, и скоро справился с ними, сидя на сырой скамье в сквере.

Дождь полил шибче, точно кто-то вдруг наклонил небо. Пришлось укрыться в круглом киоске у трамвайной остановки. Там, на лавке, двое с портфелями обсуждали сделку, да с такими диалектическими подробностями, что сущность товара пропадала, как при беглом чтении теряешь обозначенный лишь заглавной буквой предмет брокгаузовской статьи. Тряся стриженными волосами, вошла девушка с маленьким, сопящим, похожим на жабу бульдогом. А странно — «отчизна» и «признан» опять вместе, и там что-то упорно звенит. Не соблазнюсь.

Ливень перестал. Страшно просто, без всякого пафоса или штук, зажглись все фонари. Он решил, что уже можно — с расчетом прийти в рифму к девяти — отправиться к Чернышевским.

Как пьяных, что-то его охраняло, когда он в таком настроении переходил улицы. В мокром луче фонаря работал на месте автомобиль: капли на кожухе все до одной дрожали. Кто мог написать? Федору Константиновичу никак не удавалось выбрать. Этот был добросовестен, но бездарен; тот — бесчестен, а даровит; третий писал только о прозе; четвертый — только о друзьях; пятый… и воображению Федора Константиновича представился этот пятый: человек его возраста, даже, кажется, на год моложе, напечатавший за те же годы, в тех же эмигрантских изданиях не больше его (тут стихи, там статью), но который, каким-то непонятным образом, едва ли не с физиологической естественностью некой эманации, исподволь оделся облаком неуловимой славы, так что имя его произносилось — не то чтоб особенно часто, но совершенно иначе, чем все прочие молодые имена; человек, каждую новую строчку которого он, презирая себя, брезгливо, поспешно и жадно поглощал в уголку, стараясь самым действием чтения истребить в ней чудо, — после чего дня два не мог отделаться ни от прочитанного, ни от чувства своего бессилия и тайной боли, словно в борьбе с другим поранил собственную сокровенную частицу; одинокий,

неприятный, близорукий человек, с какой-то неправильностью во взаимном положении лопаток. Но я все прощу, если это ты.

Ему казалось, что он сдерживает шаг до шляния, однако попадавшиеся по пути часы (боковые исчадия часовых лавок) шли еще медленнее, и когда у самой цели он одним махом настиг Любовь Марковну, шедшую туда же, он понял, что во весь путь нетерпение несло его как на движущихся ступеньках, превращающих и стоячего в скорохода.

Почему, если уж носила пенснэ эта пожилая, рыхлая, никем не любимая женщина, то все-таки подкрашивала глаза? Стекла преувеличивали дрожь и грубость кустарной росписи, и от этого ее невиннейший взгляд получался до того двусмысленным, что нельзя было от него оторваться: гипноз ошибки. Да и вообще, едва ли не все в ней было основано на недоразумении, — и как знать, не было ли это даже формой умопомешательства, когда она думала, что по-немецки говорит как немка, что Гольсуорти крупный писатель или что Георгий Иванович Васильев патологически неравнодушен к ней? Она была одной из вернейших посетительниц литературных посиделок, которые Чернышевские в союзе

с Васильевым, толстым, старым журналистом, устраивали дважды в месяц по субботам; сегодня был только вторник; и Любовь Марковна еще жила впечатлениями прошлой субботы, щедро ими делясь. Роковым образом мужчины в ее обществе становились рассеянными невежами. Федор Константинович сам это чувствовал, но, к счастью, до дверей оставалось всего несколько шагов, и там уже ждала с ключами горничная Чернышевских, высланная, собственно, навстречу Васильеву, у которого была весьма редкая болезнь сердечных клапанов, — он даже сделал ее своей побочной специальностью и, случалось, приходил к знакомым с анатомической моделью сердца и все очень ясно и любовно демонстрировал. «А нам лифта не нужно», — сказала Любовь Марковна — и пошла наверх, сильно топая, но как-то особенно плавно и бесшумно поворачивая на площадках; Федору Константиновичу приходилось подниматься сзади нее замедленными зигзагами, как иногда видишь: прерывчато идет пес, пропуская голову то справа, то слева от каблука хозяина.

Им отворила сама Александра Яковлевна, и не успел он заметить неожиданное выражение ее лица (точно она не одобряла чего-то или хотела быстро что-то предотвратить), как в переднюю,

на коротких, жирных ножках, выскочил опрометью ее муж, тряся на бегу газетой.

«Вот, — крикнул он, бешено дергая вниз углом рта (тик после смерти сына), — вот, смотрите!»

«Я, — заметила Чернышевская, — ожидала от него более тонких шуток, когда за него выходила».

Федор Константинович с удивлением увидел, что газета немецкая, и неуверенно ее взял.

«Дату! — крикнул Александр Яковлевич. — Смотрите же на дату, молодой человек!»

«Вижу, — сказал Федор Константинович со вздохом — и почему-то газету сложил. — Главное, я отлично помнил!»

Александр Яковлевич свирепо захохотал.

«Не сердитесь на него, пожалуйста», — с ленивой скорбью произнесла Александра Яковлевна, слегка балансируя бедрами и мягко беря молодого человека за кисть.

Любовь Марковна, защелкнув сумку, поплыла в гостиную.

Это была очень небольшая, пошловато обставленная, дурно освещенная комната с застрявшей тенью в углу и пыльной вазой танагра на недосягаемой полке, и когда наконец прибыл последний гость и Александра Яковлевна, ставшая на ми-

нуту — как это обычно бывает — замечательно похожа на свой же (синий с бликом) чайник, начала разливать чай, теснота помещения претворилась в подобие какого-то трогательного уездного уюта. На диване, среди подушек — всё неаппетитных, заспанных цветов — подле шелковой куклы с бескостными ногами ангела и персидским разрезом очей, которую оба сидящих поочередно мяли, удобно расположились: огромный, бородатый, в довоенных носках со стрелками, Васильев и худенькая, очаровательно дохлая, с розовыми веками барышня — в общем, вроде белой мыши; ее звали Тамара (что лучше пристало бы кукле), а фамилия смахивала на один из тех немецких горных ландшафтов, которые висят у рамочников. Около книжной полки сидел Федор Константинович и, хотя в горле стоял кубик, старался казаться в духе. Инженер Керн, близко знавший покойного Александра Блока, извлекал из продолговатой коробки, с клейким шорохом, финик. Внимательно осмотрев кондитерские пирожные на большой тарелке с плохо нарисованным шмелем, Любовь Марковна, вдруг скомкав выбор, взяла тот сорт, на котором непременно бывает след неизвестного пальца: пышку. Хозяин рассказывал старинную первоапрель-

скую проделку медика первокурсника в Киеве… Но самым интересным из присутствующих был сидевший поодаль, сбоку от письменного стола, и не принимавший участия в общем разговоре, за которым, однако, с тихим вниманием следил, юноша… чем-то действительно напоминавший Федора Константиновича: он напоминал его не чертами лица, которые сейчас было трудно рассмотреть, но тональностью всего облика — серовато-русым оттенком круглой головы, которая была коротко острижена (что по правилам поздней петербургской романтики шло поэту лучше, чем лохмы), прозрачностью больших, нежных, слегка оттопыренных ушей, тонкостью шеи с тенью выемки у затылка. Он сидел в такой же позе, в какой сиживал и Федор Константинович, — немножко опустив голову, скрестив ноги и не столько скрестив, сколько поджав руки, словно зяб, так что покой тела скорее выражался острыми уступами (колено, локти, щуплое плечо) и сжатостью всех членов, нежели тем обычным смягчением очерка, которое бывает, когда человек отдыхает и слушает. Тень двух томов, стоявших на столе, изображала обшлаг и угол лацкана, а тень тома третьего, склонившегося к другим, могла сойти за галстук. Он был

лет на пять моложе Федора Константиновича, и что касается самого лица, то, судя по снимкам на стенах комнаты и в соседней спальне (на столике, между плачущими по ночам постелями), сходства, может быть, и не существовало вовсе, ежели не считать известной его удлиненности при развитости лобных костей да темной глубины глазниц — паскальевой, по определению физиогномистов, — да еще, пожалуй, в широких бровях намечалось что-то общее… но нет, дело было не в простом сходстве, а в одинаковости духовной породы двух нескладных по-разному, угловато-чувствительных людей. Он сидел, этот юноша, не поднимая глаз, с чуть лукавой чертой у губ, скромно и не очень удобно, на стуле, вдоль сиденья которого блестели медные кнопки, слева от заваленного словарями стола, и, — как бы теряя равновесие, с судорожным усилием, Александр Яковлевич снова отрывал взгляд на него, продолжая рассказывать все то молодецки смешное, чем обычно прикрывал свою болезнь.

«А отзывы всё равно будут, — сказал он Федору Константиновичу, непроизвольно подмигивая, — уж будьте покойны, угорьки из вас повыжмут».

«Кстати, — спросила Александра Яковлев-

на, — что это такое „вилы в аллее“, — там, где велосипед?»

Федор Константинович скорее жестами, чем словами показал: знаете, — когда учишься ездить и страшно виляешь.

«Сомнительное выражение», — заметил Васильев.

«Мне больше всего понравилось о детских болезнях, да, — сказала Александра Яковлевна, кивнув самой себе, — это хорошо: рождественская скарлатина и пасхальный дифтерит».

«Почему не наоборот?» — полюбопытствовала Тамара.

Господи, как он любил стихи! Стеклянный шкапчик в спальне был полон его книг: Гумилев и Эредиа, Блок и Рильке, — и сколько он знал наизусть! А тетради… Нужно будет когда-нибудь решиться и всё просмотреть. Она это может, а я не могу. Как это странно случается, что со дня на день откладываешь. Разве, казалось бы, не наслаждение — единственное, горькое наслаждение — перебирать имущество мертвого, а оно, однако, так и остается лежать нетронутым (спасительная лень души?); немыслимо, чтобы чужой дотронулся до него, но какое облегчение, если бы нечаянный пожар уничтожил этот драго-

ценный маленький шкап. Александр Яковлевич вдруг встал и, как бы случайно, так переставил стул около письменного стола, чтобы ни он, ни тень книг никак не могли служить темой для призрака.

Разговор тем временем перешел на какого-то советского деятеля, потерявшего после смерти Ленина власть. «Ну, в те годы, когда я видал его, он был в зените славы и добра», — говорил Васильев, профессионально перевирая цитату.

Молодой человек, похожий на Федора Константиновича (к которому именно поэтому так привязались Чернышевские), теперь очутился у двери, где, прежде чем выйти, остановился вполоборота к отцу, — и, несмотря на свой чисто умозрительный состав, ах, как он был сейчас плотнее всех сидящих в комнате! Сквозь Васильева и бледную барышню просвечивал диван, инженер Керн был представлен одним лишь блеском пенснэ, Любовь Марковна — тоже, сам Федор Константинович держался лишь благодаря смутному совпадению с покойным, — но Яша был совершенно настоящий и живой, и только чувство самосохранения мешало вглядеться в его черты.

«А может быть, — подумал Федор Константино-

вич, — может быть, это все не так и он (Александр Яковлевич) вовсе сейчас не представляет себе мертвого сына, а действительно занят разговором, и если у него бегают глаза, так это потому, что он вообще нервный, Бог с ним. Мне тяжело, мне скучно, это все не то, — и я не знаю, почему я здесь сижу, слушаю вздор».

И все-таки он продолжал сидеть и курить, и покачивать носком ноги, — и промеж всего того, что говорили другие, что сам говорил, он старался, как везде и всегда, вообразить внутреннее прозрачное движение другого человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так чтобы локти того служили ему подлокотниками и душа бы влегла в чужую душу, — и тогда вдруг менялось освещение мира и он на минуту действительно был Александр Яковлевич, или Любовь Марковна, или Васильев. Иногда к прохладе и легким нарзанным уколам преображения примешивалось азартно-спортивное удовольствие, и ему было лестно, когда случайное слово ловко подтверждало последовательный ход мыслей, который он угадывал в другом. Он, для которого так называемая политика (все это дурацкое чередование пактов, конфликтов, обострений, трений, расхождений, падений, перерождений ни в чем

не повинных городков в международные договоры) не значила ничего, погружался, бывало, с содроганием и любопытством в просторные недра Васильева и на мгновение жил при помощи его, васильевского, внутреннего механизма, где рядом с кнопкой «Локарно» была кнопка «локаут» и где в ложно умную, ложно занимательную игру вовлекались разнокалиберные символы: «пятерка кремлевских владык», или «восстание курдов», или совершенно потерявшие человеческий облик отдельные имена: Гинденбург, Маркс, Пенлеве, Эррио, — головастая э-оборотность которого настолько самоопределилась на столбцах васильевской «Газеты», что грозила полным разрывом с первоначальным французом; это был мир вещих предсказаний, предчувствий, таинственных комбинаций, мир, который, в сущности, был во сто крат призрачней самой отвлеченной мечты. Когда же Федор Константинович пересаживался в Александру Яковлевну Чернышевскую, то попадал в душу, где не все было ему чуждо, но где многое изумляло его, как чопорного путешественника могут изумлять обычаи заморской страны, базар на заре, голые дети, гвалт, чудовищная величина фруктов. Сорокапятилетняя, некрасивая, сонная женщина,

потеряв два года тому назад единственного сына, вдруг проснулась: траур окрылил ее, и слезы омолодили, — так, по крайней мере, говорили знавшие ее прежде. Память о сыне, обернувшаяся у ее мужа недугом, в ней разгорелась какой-то живительной страстью. Неправильно было бы сказать, что эта страсть заполняла ее всю; нет, она еще далеко перелетала через душевный предел Александры Яковлевны, едва ли не облагораживая даже белиберду этих двух меблированных комнат, в которые она с мужем после несчастья переехала из большой старой берлинской квартиры (где еще до войны живал ее брат с семьей). Своих знакомых она теперь рассматривала лишь под углом их восприимчивости к ее утрате, да еще, для порядка, вспоминала или воображала суждение Яши о том или другом лице, с которым приходилось встречаться. Ее охватил жар деятельности, жажда обильного отклика; сын в ней рос и выбивался наружу; литературный кружок, в прошлом году учрежденный Александром Яковлевичем совместно с Васильевым, дабы чем-нибудь себя и ее занять, показался ей лучшим посмертным чествованием поэта-сына. Тогда впервые я и увидел ее и был немало озадачен, когда вдруг эта пухленькая, страшно подвижная,

с ослепительно синими глазами женщина среди первого разговора со мной залилась слезами, точно без всякой причины распался полный доверху хрустальный сосуд, и, не спуская с меня танцующего взгляда, смеясь и всхлипывая, пошла повторять: «Боже мой, как вы мне напомнили его, как напомнили!» Откровенность, с которой при следующих встречах со мной она говорила о сыне, о всех подробностях его гибели и о том, как он теперь ей снится (что будто беременна им, взрослым, а сама, как пузырь, прозрачна), показалась мне вульгарным бесстыдством, тем более покоробившим меня, когда я стороной узнал, что она была **немножко обижена** тем, что я не отвечал ей соответственной вибрацией, а просто переменил разговор, когда зашла речь о **моем** горе, о **моей** утрате. Но очень скоро я заметил, что этот восторг скорби, среди которого она беспрерывно жила, умудряясь не умереть от разрыва аорты, начинает как-то меня забирать и чего-то от меня требовать. Вы знаете это характерное движение, когда человек вам дает в руки дорогую для него фотографию и следит за вами с ожиданием… а вы, длительно и набожно посмотрев на невинно и без мысли о смерти улыбающееся лицо на снимке, притворно замедляете возвра-

щение, притворно тормозите взглядом свою же руку, отдавая карточку с задержкой, словно было бы неучтиво расстаться с ней вдруг. Вот эту серию движений мы проделывали с Александрой Яковлевной без конца. Александр Яковлевич сидел за своим освещенным в углу столом и работал, изредка прочищая горло, — составлял свой словарь русских технических терминов, заказанный ему немецким книгоиздательством. Было тихо и нехорошо. Следы вишневого варенья на блюдце мешались с пеплом. Чем дальше она мне рассказывала о Яше, тем слабее он меня притягивал, — о нет, мы с ним были мало схожи (куда меньше, чем полагала она, вовнутрь продлевая совпаденье наших внешних черт, которых она к тому же находила больше, чем их было на самом деле, а было, опять-таки, только то немногое на виду, что соответствовало немногому внутри нас) и едва ли мы подружились бы, встреться я с ним вовремя. Его пасмурность, прерываемая резким крикливым весельем, свойственным безъюморным людям; его сентиментально-умственные увлечения; его чистота, которая сильно отдавала бы трусостью чувств, кабы не болезненная изысканность их толкования; его ощущение Германии; его безвкусные тревоги («неделю был

как в чаду», потому что прочитал Шпенглера); наконец, его стихи… словом, все то, что для его матери было преисполнено очарования, мне лишь претило. Как поэт он был, по-моему, очень хил; он не творил, он перебивался поэзией, как перебивались тысячи интеллигентных юношей его типа; но если не гибли они той или другой более или менее геройской смертью — ничего общего не имеющей с русской словесностью, которую они, впрочем, знали досконально (о, эти Яшины тетради, полные ритмических ходов — треугольников да трапеций!), — они в будущем отклонялись от литературы совершенно и если выказывали в чем-либо талант, то уж в области науки или службы, а не то попросту хорошо налаженной жизни. Он в стихах, полных модных банальностей, воспевал «горчайшую» любовь к России, — есенинскую осень, голубизну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя. Его мать читала их мне, сбиваясь, волнуясь, с неумелой гимназической интонацией, вовсе не шедшей к этим патетическим пэонам, — которые сам Яша, должно быть, читал самозабвенным певком, раздувая ноздри и раскачиваясь, в странном

блистании какой-то лирической гордыни, после чего тотчас опять оседал, вновь становясь скромным, вялым и замкнутым. Эпитеты, у него жившие в гортани: «невероятный», «хладный», «прекрасный», — эпитеты, жадно употребляемые молодыми поэтами его поколения, обманутыми тем, что архаизмы, прозаизмы или просто обедневшие некогда слова вроде «роза», совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть, возвращаясь с другой стороны, — эти слова, в спотыкавшихся устах Александры Яковлевны, как бы делали еще один полукруг, снова закатываясь, снова являя всю свою ветхую нищету — и тем вскрывая обман стиля. Кроме патриотической лирики, были у него стихи о каких-то матросских тавернах; о джине и джазе, который он писал на переводно-немецкий манер: «яц»; были и стихи о Берлине с попыткой развить у немецких наименований голос, подобно тому как, скажем, названия итальянских улиц звучат подозрительно приятным контральто в русских стихах; были у него и посвящения дружбе, без рифмы и без размера, что-то путаное, туманное, пугливое, какие-то душевные дрязги и обращение на «вы» к другу, как на «вы» обращается больной

француз к Богу или молодая русская поэтесса к любимому господину. И все это было выражено бледно, кое-как, со множеством неправильностей в ударениях, — у него рифмовало «предан» и «передан», «обезличить» и «отличить», «октябрь» занимал три места в стихотворной строке, заплатив лишь за два, «пожарище» означало большой пожар, и еще мне запомнилось трогательное упоминание о «фресках Врублёва», — прелестный гибрид, лишний раз доказывавший мне наше несходство, — нет, он не мог любить живопись так, как я. Свое настоящее мнение о его поэзии я скрывал от Александры Яковлевны, а те принужденные звуки нечленораздельного одобрения, которые я из приличия издавал, понимались ею как хаос восхищения. Она подарила мне на рождение, сияя сквозь слезы, лучший Яшин галстук, свежевыутюженный, старомодно муаровый, с еще заметной петербургской маркой «Джокей Клуб», — думаю, что сам Яша вряд ли его часто носил; и в обмен за все, чем она поделилась со мной, за полный и подробный образ покойного сына, с его стихами, ипохондрией, увлечениями, гибелью, Александра Яковлевна властно требовала от меня некоторого творческого содействия; получалось странное соответствие: ее муж, гордившийся

своим столетним именем и подолгу занимавший историей оного знакомых (деда его в царствование Николая Первого крестил, — в Вольске, кажется, — отец знаменитого Чернышевского, толстый, энергичный священник, любивший миссионерствовать среди евреев и в придачу к духовному благу дававший им свою фамилию), не раз говорил мне: «Знаете что, написали бы вы, в виде biographie romancée[5], книжечку о нашем великом шестидесятнике, — да-да, не морщитесь, я все предвижу возраженья на предложение мое, но, поверьте, бывают же случаи, когда обаяние человеческого подвига совершенно искупает литературную ложь, а он был сущий подвижник, и если бы вы пожелали описать его жизнь, я б вам много мог порассказать любопытного». Мне совсем не хотелось писать о великом шестидесятнике, а еще того меньше о Яше, как со своей стороны настойчиво советовала мне Александра Яковлевна (так что в общем получался заказ на всю историю их рода). Но невзирая на то, что меня и смешило и раздражало это их стремление указывать путь моей музе, я чувствовал, что еще немного, и Александра Яковлевна загонит

[5] Примечания: 5
Романизированная биография *(фр.)*.

меня в такой угол, откуда я не вылезу, и что, подобно тому как мне приходилось являться к ней в Яшином галстуке (покуда я не придумал отговориться тем, что боюсь его затрепать), точно так же мне придется засесть за писание новеллы с изображением Яшиной судьбы. Одно время я даже имел слабость (или смелость, может быть) прикидывать в уме, как бы я за это взялся, если бы да кабы… Иной мыслящий пошляк, беллетрист в роговых очках, — домашний врач Европы и сейсмограф социальных потрясений, — нашел бы в этой истории, я не сомневаюсь, нечто в высшей степени характерное для «настроений молодежи в послевоенные годы», — одно это сочетание слов (не говоря про область идей) невыразимо меня бесило; я испытывал приторную тошноту, когда слышал или читал очередной вздор, вульгарный и мрачный вздор, о симптомах века и трагедиях юношества. А так как загореться Яшиной трагедией я не мог (хотя Александра Яковлевна и думала, что горю), я невольно бы увяз как раз в глубокомысленной с гнусным фрейдовским душком беллетристике. С замиранием сердца упражняя воображение, носком ноги как бы испытывая слюдяной ледок зажоры, я доходил до того, что видел себя переписывающим и при-

носящим Чернышевской свое произведение, садящимся так, чтобы лампа с левой стороны освещала мой роковой путь (спасибо, мне так отлично видно), и после короткого предисловия насчет того, как было трудно, как ответственно… но тут все заволакивалось багровым паром стыда. К счастью, я заказа не исполнил, — не знаю, что именно уберегло: и тянул я долго, и какие-то случайно выдались благотворные перерывы в наших встречах, и самой Александре Яковлевне я, может быть, чуть-чуть приелся в качестве слушателя; как бы то ни было, история осталась писателем неиспользованной, — а была она, в сущности, очень проста и грустна, эта история.

Мы почти в одно время попали в берлинский университет, но я не знал Яши, хотя не раз, должно быть, мы проходили друг мимо друга. Разность предметов, — он занимался философией, я — инфузориями, — уменьшала возможность общения. Если бы я теперь вернулся в это прошлое, и лишь с одним обогащением — с сознанием сегодняшнего дня — повторил бы в точности все тогдашние мои петли, то, уж конечно, я бы сразу приметил его лицо, столь теперь знакомое мне по снимкам. Забавно: если вообще представить себе возвращение в былое с контрабандой настоящего, как же

дико было бы там встретить в неожиданных местах, такие молодые и свежие, в каком-то ясном безумии не узнающие нас, прообразы сегодняшних знакомых; так, женщина, которую, скажем, со вчерашнего дня люблю, девочкой, оказывается, стояла почти рядом со мной в переполненном поезде, а прохожий, пятнадцать лет тому назад спросивший у меня дорогу, ныне служит в одной конторе со мной. В толпе минувшего с десяток лиц получило бы эту анахроническую значительность: малые карты, совершенно преображенные лучом козыря. И с какой уверенностью тогда… Но, увы, когда и случается, во сне, так пропутешествовать, то на границе прошлого обесценивается весь твой нынешний ум, и в обстановке класса, наскоро составленного аляповатым бутафором кошмара, опять не знаешь урока — со всею забытой тонкостью тех бывших школьных мук.

В университете Яша близко сдружился со студентом Рудольфом Бауманом и студенткой Олей Г., — русские газеты не печатали полностью ее фамилии. Это была барышня его лет, его круга, родом чуть ли не из того же города, как и он. Семьи, впрочем, друг друга не знали. Только раз, года два после Яшиной гибели, на литературном вечере мне довелось видеть ее, и я запомнил ее

необыкновенно широкий, чистый лоб, глаза морского оттенка и большой красный рот с черным пушком над верхней губой и толстой родинкой сбоку, а стояла она сложив на мягкой груди руки, что во мне сразу развернуло всю литературу предмета, где была и пыль ведряного вечера, и шинок у тракта, и женская наблюдательная скука. Рудольфа же я не видал никогда и только с чужих слов заключаю, что был он бледноволос, быстр в движениях и красив — жилистой, лягавой красотой. Таким образом, для каждого из помянутых трех лиц я пользуюсь другим способом изучения, что влияет и на плотность их, и на их окраску, покамест в последнюю минуту не ударяет по ним, озарением их уравнивая, какое-то мое, но мне самому непонятное солнце.

В дневниковых своих заметках Яша метко определил взаимоотношения его, Рудольфа и Оли как «треугольник, вписанный в круг». Кругом была та нормальная, ясная, «эвклидова», как он выразился, дружба, которая объединяла всех троих, так что с ней одной союз их остался бы счастливым, беспечным и нерасторгнутым. Треугольником же, вписанным в него, являлась та другая связь отношений, сложная, мучительная и долго образовывавшаяся, которая жила

своей жизнью, совершенно независимо от общей окружности одинаковой дружбы. Это был банальный треугольник трагедии, родившийся в идиллическом кольце, и одна уж наличность такой подозрительной ладности построения, не говоря о модной комбинационности его развития, — никогда бы мне не позволила сделать из всего этого рассказ, повесть, книгу.

«Я дико влюблен в душу Рудольфа, — писал Яша своим взволнованным, неоромантическим слогом. — Я влюблен в ее соразмерность, в ее здоровье, в жизнерадостность ее. Я дико влюблен в эту обнаженную, загорелую, гибкую душу, которая на все имеет ответ и идет через жизнь, как самоуверенная женщина через бальный зал. Я умею только представить себе в сложнейшем, абстрактнейшем порядке, по сравнению с которым Кант и Гегель игра, то дикое блаженство, которое я бы испытывал, если бы… Если бы что? Что я могу сделать с его душой? Вот это-то незнание, это отсутствие какого-то таинственнейшего орудия (вроде того как Альбрехт Кох тосковал о „золотой логике“ в мире безумных), вот это-то и есть моя смерть. Моя кровь кипит, мои руки холодеют, как у гимназистки, когда мы с ним вдвоем остаемся, и он знает это, и я становлюсь ему гадок, и он не

скрывает брезгливого чувства. Я дико влюблен в его душу, — и это так же бесплодно, как влюбиться в луну».

Можно понять брезгливость Рудольфа, — но, с другой стороны… мне иногда кажется, что не так уж ненормальна была Яшина страсть, — что его волнение было в конце концов весьма сходно с волнением не одного русского юноши середины прошлого века, трепетавшего от счастья, когда, вскинув шелковые ресницы, наставник с матовым челом, будущий вождь, будущий мученик, обращался к нему… и я бы совсем решительно отверг непоправимую природу отклонения («Месяц, полигон, виола заблудившегося пола…» — как кто-то в кончеевской поэме **перевел** «и степь, и ночь, и при луне…»), если бы только Рудольф был в малейшей мере учителем, мучеником и вождем, — ибо на самом деле это был, что называется, «бурш», — правда, бурш с легким заскоком, с тягой к темным стихам, хромой музыке, кривой живописи, — что не исключало в нем той коренной добротности, которой пленился, или думал, что пленился, Яша.

Сын почтенного дурака-профессора и чиновничьей дочки, он вырос в чудных буржуазных условиях, между храмообразным буфетом и спи-

нами спящих книг. Он был добродушен, хоть и недобр, общителен, а все же диковат, взбалмошен, но и расчетлив. В Олю он окончательно влюбился после велосипедной прогулки с ней и с Яшей по Шварцвальду, которая, как потом он показывал на следствии, «нам всем троим открыла глаза»; влюбился по последнему классу, просто и нетерпеливо, однако встретил в ней резкий отпор, еще усиленный тем, что бездельная, прожорливая, с угрюмым норовцом, Оля в свою очередь (в тех же еловых лесах, у того же круглого черного озера) «поняла, что увлеклась» Яшей, которого это так же угнетало, как его пыл — Рудольфа и как пыл Рудольфа — ее самое, так что геометрическая зависимость между их вписанными чувствами получилась тут полная, напоминая вместе с тем таинственную заданность определений в перечне лиц у старинных французских драматургов: такая-то — «amante»[6], с тогдашним оттенком действенного причастия такого-то.

Уже к зиме, ко второй зиме их союза, они отчетливо разобрались в положении; зима ушла на изучение его безнадежности. Извне все каза-

---

[6] Примечания: 6
Возлюбленная, любящая *(фр.)*.

лось благополучным: Яша беспробудно читал, Рудольф играл в хоккей, виртуозно мча по льду пак, Оля занималась искусствоведением (что в рассуждении эпохи звучит, как и весь тон данной драмы, нестерпимо типичной нотой); внутри же безостановочно развивалась глухая, болезненная работа, — ставшая стихийно разрушительной, когда наконец эти бедные молодые люди начали находить услаждение в своей тройственной пытке.

Долгое время по тайному соглашению (каждый о каждом бесстыдно и безнадежно все давно уже знал) они переживаний своих не касались вовсе, когда бывали втроем; но стоило любому из них отлучиться, как двое оставшихся неминуемо принимались обсуждать его страсть и страдания. Новый Год они почему-то встречали в буфете одного из берлинских вокзалов, — может быть потому, что на вокзалах вооружение времени особенно внушительно, — а потом пошли шляться в разноцветную слякоть по страшным праздничным улицам, и Рудольф предложил иронический тост за разоблачение дружбы, — и с той поры, сначала сдержанно, но вскоре в упоении откровенности, они уже совместно в полном составе обсуждали свои чувства. И тогда треугольник

стал окружность свою разъедать.

Чета Чернышевских, как и родители Рудольфа, как и Олина мать (скульпторша, жирная, черноглазая, еще красивая дама с низким голосом, похоронившая двух мужей и носившая всегда какие-то длинные бронзовые цепи вокруг шеи), не только не чуяла, какое нарастает событие, но с уверенностью ответила бы, найдись праздный вопрошатель среди ангелов, уже слетавшихся, уже кипевших с профессиональной хлопотливостью вокруг колыбели, где лежал темненький новорожденный револьвер, — ответила бы, что все хорошо, все совершенно счастливы. Зато потом, когда все уже случилось, обокраденная память прилагала все усилия, чтобы в былом ровном потоке одинаково окрашенных дней найти следы и улики будущего, — и представьте себе, находила, — так что госпожа Г., **нанося**, как она выражалась, визит соболезнования Александре Яковлевне, вполне верила в свои слова, когда рассказывала, что давно предчувствовала беду — с того самого дня, как вошла в полутемную залу, где на диване в неподвижных позах, в различных горестных преклонениях аллегорий на могильных барельефах, молчали Оля и ее двое приятелей; это было одно мгновение, одно мгно-

вение гармонии теней, но госпожа Г. будто бы это мгновение отметила, или, вернее, отложила его, чтобы через несколько месяцев к нему фуксом возвратиться.

К весне револьвер вырос. Он принадлежал Рудольфу, но долгое время незаметно переходил от одного к другому, как теплое на веревке кольцо или карта с негритяночкой. Как это ни странно, мысль исчезнуть всем троим, дабы восстановился — уже в неземном плане — некий идеальный и непорочный круг, всего страстнее разрабатывалась Олей, хотя теперь трудно установить, кто и когда впервые высказал ее; а в поэты предприятия вышел Яша, положение которого казалось наиболее безнадежным, так как все-таки было самым отвлеченным; но есть печали, которых смертью не лечат, оттого что они гораздо проще врачуются жизнью и ее меняющейся мечтой: вещественная пуля их не берет, отлично зато справляясь с вещественной страстью Рудольфовых и Олиных сердец.

Выход был теперь найден, и разговоры о нем стали особенно увлекательны. В середине апреля, на тогдашней квартире Чернышевских (родители мирно ушли в кино напротив), случилось кое-что, послужившее, по-видимому, окончатель-

ным толчком для развязки. Рудольф неожиданно подвыпил, разошелся, Яша силой отрывал его от Оли, и все это происходило в ванной комнате, и потом Рудольф, рыдая, подбирал высыпавшиеся каким-то образом из кармана штанов деньги, и как было тяжело, как стыдно всем, и каким заманчивым облегчением представлялся назначенный на завтра финал.

После обеда в четверг, восемнадцатого, в восемнадцатую же годовщину смерти Олиного отца, они запаслись ставшим уже совсем толстым и самостоятельным револьвером и в легкую дырявую погоду (с влажным западным ветром и фиолетовой ржавчиной анютиных глазок во всех скверах) отправились на пятьдесят седьмом номере трамвая в Груневальд, чтобы там, в глухом месте леса, один за другим застрелиться. Они стояли на задней площадке, все трое в макинтошах, с бледными, распухшими лицами, и Яшу как-то странно опрощала старая кепка с большим козырьком, которой года четыре он не носил, а сегодня надел почему-то; Рудольф был без шапки, ветер трепал его светлые, откинутые с висков волосы; а Оля, опершись спиной о задний борт и держась за черную штангу белой, крепкой рукой с большим перстнем на указательном пальце,

глядела прищуренными глазами на пробегавшие улицы и все наступала нечаянно на рычажок нежного звоночка в полу (предназначенного каменной ножище вагоновожатого, когда зад вагона становится передом). Эту группу увидел изнутри, сквозь дверцу, Юлий Филиппович Познер, бывший репетитор Яшиного двоюродного брата. Быстро высунувшись, — это был напористый и уверенный господин, — он поманил Яшу, и тот, узнав его, вошел к нему.

«Очень удачно, что я встретил вас», — сказал Познер и, обстоятельно пояснив, что едет с пятилетней дочкой (сидевшей отдельно у окна и прижимавшей мягкий, как резина, нос к стеклу) проведать жену в родильном приюте; вынул бумажник, а из бумажника визитную карточку и, воспользовавшись невольной остановкой вагона (соскочил на повороте контактный шест), вечным пером вычеркнул старый адрес и надписал новый. «Сие, — сказал он, — передайте вашему кузену, как только он вернется из Базеля, и напомните ему, пожалуйста, что у него осталось несколько моих книг, которые мне нужны, и даже очень нужны».

Трамвай летел по Гогенцоллерндам, Оля и Рудольф все так же строго и молча стояли на ветру,

но кое-что загадочным образом изменилось: тем, что Яша оставил их вдвоем на минуту (Познер с дочкой очень скоро сошел), союз как бы нарушился, и началось его, Яшино, отделение от них, так что когда он к ним вернулся на площадку, он, не зная этого, как и они не знали, уже был совсем сам по себе, причем незаметная трещина неудержимо, по закону всех трещин, продолжала ползти и шириться.

В пустом весеннем лесу, где мокрые коричневые березы, особенно которые поменьше, стояли безучастные, обращенные всем вниманием внутрь себя, — невдалеке от сизого озера (на всем громадном побережье которого не было никого, кроме маленького человека, закидывавшего по просьбе пса палку в воду) они без труда нашли удобную глушь и тотчас приступили к делу; вернее, приступил Яша: в нем жила та честность духа, которая придает самому безрассудному поступку почти будничную простоту. Сказав, что застрелится первым по праву старшинства (ему было на год больше Рудольфа и на месяц больше Оли), он этой пустой ссылкой сделал излишним удар грубого жребия, который все равно по слепоте своей пал бы, вероятно, на него; и, скинув макинтош и не простившись с

друзьями, что было только естественно ввиду одинаковости маршрута, безмолвно, с неловкой торопливостью, он спустился между сосен по скользкому скату в буерак, густо поросший дубком и терновыми кустами, которые, несмотря на апрельскую прозрачность, совершенно скрыли его от оставшихся.

Те двое долго ждали выстрела. Папирос у них не было, но Рудольф догадался ощупать карман Яшиного макинтоша, там оказалась нераспечатанная коробочка. Небо заволокло, сосны осторожно шумели, и снизу казалось, что их слепые ветви стараются нашарить что-то. Высоко и сказочно быстро, вытянув длинные шеи, пролетели две диких утки, одна чуть отстав от другой. Впоследствии Яшина мать показывала визитную карточку, Dipl. Ing.[7] Julius Posner, на обороте которой Яша карандашом написал: «Мамочка, папочка, я еще жив, мне очень страшно, простите меня». Наконец Рудольф не выдержал и спустился туда, чтоб посмотреть, что с ним. Яша сидел на коряге, среди прошлогодних, еще неотвеченных листьев, но не обернулся, а только сказал: «Я сейчас готов». В его спине было что-то

---

[7] Примечания: 7
Дипломированный инженер *(фр., сокр.)*.

напряженное, словно он превозмогал сильную боль. Рудольф вернулся к Оле, но не успел до нее добраться, как оба ясно услышали сухой хлопок выстрела, а в комнате у Яши еще несколько часов держалась, как ни в чем не бывало, жизнь, банановая выползина на тарелке, «Кипарисовый Ларец» и «Тяжелая Лира» на стуле около кровати, пингпонговая лопатка на кушетке; он был убит наповал, однако, чтобы его оживить, Рудольф и Оля еще протащили его сквозь кусты к тростникам и там отчаянно кропили и терли, так что он был весь измазан землей, кровью, илом, когда полиция нашла труп. Затем они стали звать, но никто не откликнулся: архитектор Фердинанд Штокшмайсер давно ушел со своим мокрым сеттером.

Они вернулись к тому месту, где ждали выстрела, и тут история начинает смеркаться. Ясно только то, что у Рудольфа, потому ли, что для него открылась кое-какая земная вакансия, потому ли, что он просто был трус, пропала всякая охота стреляться, а что Оля если и упорствовала в своем намерении, то все равно ничего сделать не могла, так как он немедленно револьвер спрятал. В лесу, где было холодно, темно, где моросил, шелестя, слепой дождь, они оставались почему-то долго, до

бессмысленно позднего часа. Молва утверждала, что тогда-то началась между ними связь, но это уж было бы чересчур плоско. Около полуночи, на углу улицы с лирическим названием Сиреневой, вахмистр недоверчиво выслушал их ужасный, но бойкий рассказ. Есть такое истерическое состояние, которое принимает вид ребячливой развязности.

Если б Александра Яковлевна непосредственно после случившегося свиделась с Олей, то, может быть, и вышел бы из этого для обеих какой-нибудь сентиментальный толк. К несчастью, это случилось несколькими месяцами позже, во-первых, потому, что Оля отсутствовала, а во-вторых, потому, что горе Александры Яковлевны не сразу приняло ту деятельную и даже восторженную форму, какую застал Федор Константинович. Оле в некотором смысле не повезло: была как раз помолвка ее сводного брата, дом был полон гостей, и когда без предупреждения, под тяжелой траурной вуалью и с лучшей частью своего скорбного архива (фотографиями, письмами) в сумке, и вся готовая к блаженству обоюдных рыданий, явилась Чернышевская, то к ней вышла хмуро вежливая, хмуро нетерпеливая барышня в полупрозрачном платье, с кровавыми губами и

толстым белым носом, и рядом с боковой комнаткой, куда она ввела гостью, подвывал граммофон, и, конечно, никакого разговора не получилось… «Я только долго на нее посмотрела», — рассказывала Чернышевская и после этого тщательно отрезала на многих маленьких снимках и Олю, и Рудольфа, — хотя этот-то посетил ее сразу, и валялся у нее в ногах, и головой бился о мягкий угол кушетки, и потом ушел своей чудной легкой походкой по синему после весеннего ливня Курфюрстендам.

Болезненнее всего смерть Яши отразилась на его отце. Целое лето пришлось ему провести в лечебнице, но он так и не выздоровел: загородка, отделявшая комнатную температуру рассудка от безбрежно безобразного, студеного, призрачного мира, куда перешел Яша, вдруг рассыпалась, и восстановить ее было невозможно, так что приходилось пробоину как-нибудь занавешивать да стараться на шевелившиеся складки не смотреть. Отныне его жизнь пропускала неземное; но ничем не разрешалось это постоянное общение с Яшиной душой, о котором он наконец рассказал жене, в напрасной надежде этим обезвредить питающееся тайной привидение: тайна наросла, вероятно, опять, так как вскоре ему снова при-

шлось обратиться к скучной, сугубо бренной, стеклянно-резиновой помощи врачей. Таким образом, он только наполовину жил в нашем мире, но тем жаднее и отчаяннее цеплялся за него, и, слушая его щелкающую речь и глядя на его аккуратные черты, трудно было представить себе внежизненный опыт этого здорового с виду, кругленького, лысого с волосиками по бокам, человека, но тем страннее была судорога, вдруг искажавшая его; да еще то, что он время от времени по неделям не снимал с правой руки серой фильдекосовой перчатки (страдал экземой), страшновато намекало на тайну, словно он, гнушаясь нечистого прикосновения жизни или опаленный жизнью другой, берег голое рукопожатие для каких-то нечеловеческих, едва вообразимых свиданий. Меж тем ничто не остановилось после Яшиной смерти, и происходило много интересного, в России наблюдалось распространение абортов и возрождение дачников, в Англии были какие-то забастовки, кое-как скончался Ленин, умерли Дузе, Пуччини, Франс, на вершине Эвереста погибли Ирвинг и Маллори, а старик Долгорукий, в кожаных лаптях, ходил в Россию смотреть на белую гречу, между тем как в Берлине появились, чтобы вскоре ис-

чезнуть опять, наемные циклонетки, и первый дирижабль медленно перешагнул океан, и много писалось о Куэ, Чан-Солине, Тутанкамоне, а как-то в воскресенье молодой берлинский купец со своим приятелем слесарем предпринял загородную прогулку на большой, крепкой, кровью почти не пахнувшей, телеге, взятой напрокат у соседа-мясника: в плюшевых креслах, на нее поставленных, сидели две толстых горничных и двое малых детей купца, горничные пели, дети плакали, купец с приятелем дули пиво и гнали лошадей, погода стояла чудная, так что на радостях они нарочно наехали на ловко затравленного велосипедиста, сильно избили его в канаве, искромсали его папку (он был художник) и покатили дальше, очень веселые, а придя в себя, художник догнал их в трактирном саду, но полицейских, попытавшихся установить их личность, они избили тоже, после чего, очень веселые, покатили по шоссе дальше, а увидев, что их настигают полицейские мотоциклетки, стали палить из револьверов, и в завязавшейся перестрелке был убит трехлетний мальчик немецкого ухаря-купца.

«Послушайте, надо бы как-нибудь переменить разговор, — тихо сказала Чернышевская, — я этих штук для него боюсь. У вас, верно, есть

новые стихи, правда? Федор Константинович прочтет стихи», — закричала она, — но Васильев, полулежа, в одной руке держа монументальный мундштук с безникотиновой папиросой, а другой рассеянно теребя куклу, производившую какие-то эмоциональные эволюции у него на колене, продолжал еще с полминуты рассказывать о том, как вчера разбиралась в суде эта веселая история.

«Ничего у меня с собой нет, и я ничего не помню», — несколько раз повторил Федор Константинович.

Чернышевский быстро к нему обернулся и положил ему на рукав свою маленькую волосатую руку. «Я чувствую, вы все еще на меня дуетесь. Честное слово, нет? Я потом сообразил, как это было жестоко. У вас скверный вид. Что у вас слышно? Вы мне так и не объяснили толком, почему вы переехали».

Он объяснил: в пансионе, где он прожил полтора года, поселились вдруг знакомые, — очень милые, бескорыстно навязчивые люди, которые «заглядывали поболтать». Их комната оказалась рядом, и вскоре Федор Константинович почувствовал, что между ними и им стена как бы рассыпалась и он беззащитен. Но Яшиному отцу,

конечно, никакой переезд не помог бы.

Посвистывая, согнув слегка спину, громадный Васильев рассматривал корешки книг на полках; вынул одну и, раскрыв ее, перестал свистать, но зато, шумно дыша, начал про себя читать первую страницу. Его место на диване заняла Любовь Марковна с сумкой: обнажив усталые глаза, она обмякла и теперь приглаживала неизбалованной рукой Тамарин золотой затылок.

«Да! — резко сказал Васильев, захлопнув книгу и вдавив ее в первую попавшуюся щель. — Все на свете кончается, товарищи. Мне лично нужно завтра вставать в семь».

Инженер Керн посмотрел себе на кисть.

«Ах, посидите еще», — проговорила Чернышевская, пристально сияя синевой глаз, и, обратившись к инженеру, вставшему и зашедшему за свой стул и убравшему его на вершок в сторону (как иной, напившись, перевернул бы на блюдце стакан), она заговорила о докладе, который тот согласился прочитать в следующую субботу, — доклад назывался «Блок на войне».

«Я на повестках по ошибке написала „Блок и война“, — говорила Александра Яковлевна, — но ведь это не играет значения?»

«Нет, напротив, очень даже играет, — с улыбкой

на тонких губах, но с убийством за увеличительными стеклами, отвечал инженер, не разнимая сцепленных на животе рук. — „Блок на войне“ выражает то, что нужно, — персональность собственных наблюдений докладчика, — а „Блок и война“ — это, извините, философия».

И тут все они стали понемногу бледнеть, зыбли́ться непроизвольным волнением тумана — и совсем исчезать; очертания, извиваясь восьмерками, пропадали в воздухе, но еще поблескивали там и сям освещенные точки, — приветливая искра в глазу, блик на браслете; на мгновение еще вернулся напряженно сморщенный лоб Васильева, пожимающего чью-то уже тающую руку, а совсем уже напоследок проплыла фисташковая солома в шелковых розочках (шляпа Любовь Марковны), и вот исчезло все, и в полную дыма гостиную, без всякого шума, в ночных туфлях, вошел Яша, думая, что отец уже в спальне, и с волшебным звоном, при свете красных фонарей, невидимки чинили черную мостовую на углу площади, и Федор Константинович, у которого не было на трамвай, шел пешком восвояси. Он забыл занять у Чернышевских те две-три марки, с которыми дотянул бы до следующей получки: сама по себе мысль об этом не беспокоила бы

его, если бы не сочеталась, укрепляя горечь всего сочетания, с отвратительным разочарованием (уж слишком ярко он было вообразил успех своей книги), и с холодной течью в левом башмаке, и с боязнью предстоящей ночи на новом месте. Его томила усталость, недовольство собой — потерял зря нежное начало ночи; его томило чувство, что он чего-то не додумал за день, и теперь не додумает никогда.

Он шел по улицам, которые давно успели втереться ему в знакомство, — мало того, рассчитывали на любовь; и даже наперед купили в его грядущем воспоминании место рядом с Петербургом, смежную могилку; он шел по этим темно-блестящим улицам, и погасшие дома уходили, не глядя, кто пятясь, кто боком, в бурое небо берлинской ночи, где все-таки были там и сям топкие места, тающие под взглядом, который таким образом выручал несколько звезд. Вот, наконец, сквер, где мы ужинали, высокая кирпичная кирка и еще совсем прозрачный тополь, похожий на нервную систему великана, и тут же общественная уборная, похожая на пряничный домик Бабы-Яги. Во мраке сквера, едва задетого веером уличного света, красавица, которая вот уже лет восемь все отказывалась воплотиться

снова (настолько жива была память о первой любви), сидела на пепельной скамейке, но когда он прошел вблизи, то увидел, что это сидит тень ствола. Он свернул на свою улицу и погрузился в нее, как в холодную воду, — так не хотелось, такую тоску обещала та комната, недоброжелательный шкап, кушетка. Отыскав свой подъезд (видоизмененный темнотой), он достал ключи. Ни один из них двери не отпер.

«Что такое…» — сердито пробормотал он, глядя на бородку, — и снова, стервенея, принялся совать. «Что за чорт!» — воскликнул он и отступил, чтобы задрать голову и посмотреть на номер дома. Нет, — правильно. Он опять было нагнулся к замку, — и вдруг его осенило: это были, конечно, ключи пансионские, которые при сегодняшнем переезде он с собой нечаянно в макинтоше увез, а новые остались, должно быть, в комнате, в которую ему теперь хотелось попасть гораздо сильнее, чем только что.

В те годы берлинские швейцары были по преимуществу зажиточные, с жирными женами, грубияны, принадлежавшие из мещанских соображений к коммунистической партии. Русские жильцы перед ними робели: привыкши к подвластности, мы всюду себе назначаем тень

надзора. Федор Константинович вполне понимал, как глупо бояться старого дурака с кадыком, а все-таки разбудить его за полночь, вызвать из-под исполинской перины, сделать вот это движение, чтобы нажать кнопку (хотя весьма вероятно, что не откликнулся бы никто, сколько ни жми), никак не решался, тем более что не было того гривенника, без которого немыслимо было пройти мимо ладони, на уровне бедра раскрытой мрачным ковшом: не сомневающейся в дани.

«Вот так штука, вот так штука», — шептал он, отходя и чувствуя, как сзади, от затылка до пят, наваливается на него бремя бессонной ночи, железный двойник, которого надо куда-то нести. «Как это глупо», — сказал он еще, произнося «глупо» с французским «l», как это делывал — рассеянно и привычно-шутливо — его отец, когда бывал чем-нибудь озадачен.

Не зная, что предпринять, ждать ли, что кто-нибудь впустит, пойти ли на розыски ночного сторожа в черном плаще, который блюдет замки на некоторых улицах, или все-таки заставить себя звонком взорвать дом, Федор Константинович начал шагать по панели до угла и обратно. Улица была отзывчива и совершенно пуста. Высоко над ней, на поперечных проволоках, висело по

млечно-белому фонарю; под ближайшим из них колебался от ветра призрачный круг на сыром асфальте. И это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отношения к Федору Константиновичу, оно-то, однако, со звенящим тамбуринным звуком, что-то столкнуло с края души, где это что-то покоилось и уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось «Благодарю тебя, отчизна…», и тотчас, обратной волной: «за злую даль благодарю…». И снова полетело за ответом: «…тобой не признан…». Он сам с собою говорил, шагая по несуществующей панели; ногами управляло местное сознание, а главный, и, в сущности, единственно важный, Федор Константинович уже заглядывал во вторую качавшуюся, за несколько саженей, строфу, которая должна была разрешиться еще неизвестной, но вместе с тем в точности обещанной гармонией. «Благодарю тебя…» — начал он опять вслух, набирая новый разгон, но вдруг панель под ногами окаменела, все кругом заговорили сразу, и он кинулся, мигом отрезвясь, к двери своего дома, ибо за нею был теперь свет.

Скуластая, немолодая дама, в накинутом, сползавшем с плеча, каракулевом жакете, кого-то

выпуская, задержалась вместе с выпускаемым в дверях. «Так вы не забудьте, золотце», — просила она вялым житейским голосом, когда подоспел, осклабясь, Федор Константинович, тотчас ее узнавший: нынче утром встречала с мужем свою мебель. Но и выпускаемого он тоже узнал — это был молодой живописец Романов: раза два сталкивался с ним в редакции. С удивленным выражением на изящном лице, эллинскую чистоту коего бесповоротно портили темные, кривые зубы, он поздоровался с Федором Константиновичем, который затем, неловко поклонившись даме, державшей самое себя за ключицы, огромными шагами кинулся вверх по лестнице, отвратительно споткнулся на загибе ее и дальше полез, трогая перила. Заспанная, в халате, Стобой была страшна, но это продолжалось не долго. У себя в комнате он с трудом нащупал свет. На столе блестели ключи и белелась книга. «Уже кончилась», — подумал он. Так недавно он раздаривал знакомым экземпляры, со строгим приветом, на искренний суд, а теперь было стыдно вспомнить и эти надписи, и то, как все последние дни он жил счастьем книги. А ведь ничего особенного не произошло: нынешний обман не исключал завтрашней или послезавтрашней награды,

но каким-то образом он пресытился мечтой, и теперь книга лежала на столе, вся в себе заключенная, собою ограниченная и законченная, и уже не изливалась могучими, радостными лучами, как прежде.

Когда же он лег в постель, только начали мысли укладываться на ночь и сердце погружаться в снег сна (он всегда испытывал перебои, засыпая), Федор Константинович рискнул повторить про себя недосочиненные стихи — просто чтобы еще раз порадоваться им перед сонной разлукой; но он был слаб, а они дергались жадной жизнью, так что через минуту завладели им, мурашками побежали по коже, заполнили голову божественным жужжанием, и тогда он опять зажег свет, закурил и, лежа навзничь, — натянув до подбородка простыню, а ступни выпростав, как Сократ Антокольского, — предался всем требованиям вдохновения. Это был разговор с тысячью собеседников, из которых лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха. Как мне трудно, и как хорошо… И в разговоре татой ночи сама душа нетататот… безу безумие безочит, тому тамузыка татот…

Спустя три часа опасного для жизни воодушевления и вслушивания он наконец выяснил всё,

до последнего слова, завтра можно будет записать. На прощание попробовал вполголоса эти хорошие, теплые, парные стихи.

Благодарю тебя, отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
и сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
сама душа не разберет,
мое ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растет… —

и только теперь поняв, что в них есть какой-то смысл, с интересом его проследил — и одобрил. Изнеможенный, счастливый, с ледяными пятками, еще веря в благо и важность совершённого, он встал, чтобы потушить свет. В рваной рубашке, с открытой худой грудью и длинными, мохнатыми, в бирюзовых жилах ногами, он помешкал у зеркала, все с тем же серьезным любопытством рассматривая и не совсем узнавая себя, эти широкие брови, лоб с мыском коротко остриженных волос. В левом глазу лопнул сосудец, и скользнувший с угла рудой отлив придавал что-то цыганское темному блеску зрачка. Господи, как

за эти ночные часы обросли впалые щеки — словно влажный жар стихотворчества поощрял и рост волос! Он повернул выключатель, но в комнате нечему было сгуститься, и, как встречающие на дымном дебаркадере, стояли бледные и озябшие предметы.

Он долго не мог уснуть: оставшаяся шелуха слов засоряла и мучила мозг, колола в висках, никак нельзя было от нее избавиться. А тем временем комната совсем просветлела, и где-то — должно быть, в плюще — шалые воробьи, все вместе, вперебивку, до одури звонко: большая перемена у маленьких.

Так началось его жительство в новом углу. Хозяйка не могла привыкнуть к тому, что он спит до часу дня, неизвестно, где и как обедает, а ужинает на промасленных бумажках. О его сборничке так никто и не написал, — он почему-то полагал, что это само собою сделается, и даже не потрудился разослать редакциям, — если не считать краткой заметки (экономического сотрудника васильевской «Газеты»), где высказывался оптимистический взгляд на его литературную будущность и приводилась одна из его строф с бельмом опечатки. Танненбергскую улицу он узнал ближе, и она выдала ему все свои лучшие

тайны: так, в следующем доме внизу жил старичок сапожник по фамилии Канариенфогель, и действительно у него стояла клетка, хоть и без палевой пленницы, в окне, среди образцов починенной обуви, но башмаки Федора Константиновича он, посмотрев на него поверх железных очков своего цеха, чинить отказался, и пришлось подумать о том, как купить новые. Узнал он и фамилию верхних жильцов: по ошибке взлетев однажды на верхнюю площадку, он прочел на дощечке: Carl Lorentz, Geschichtsmaler[8], — а как-то встреченный на углу Романов, который снимал пополам с гешихтсмалером мастерскую в другой части города, кое-что рассказал о нем: труженик, мизантроп и консерватор, всю жизнь писавший парады, битвы, призрак со звездой и лентой в садах Сан-Суси, — и теперь, в безмундирной республике, обедневший и помрачневший вконец, — он пользовался до войны 1914—18 года почетной известностью, ездил в Россию писать встречу кайзера с царем и там, проводя зиму в Петербурге, познакомился с еще молодой тогда и обаятельной, рисующей, пишущей, музицирующей Маргаритой Львовной. Его союз с русским

[8] Примечания: 8
Карл Лоренц, исторический живописец *(нем.)*.

художником заключен был случайно, по объявлению в газете: Романов, тот был совсем другого пошиба. Лоренц угрюмо привязался к нему, но с первой же его выставки (это было время его портрета графини д'Икс: абсолютно голая графиня, с отпечатками корсета на животе, стояла, держа на руках себя же самое, уменьшенную втрое) считал и сумасшедшим и мошенником. Многих же обольстил его резкий и своеобразный дар; ему предсказывали успехи необыкновенные, а кое-кто даже видел в нем зачинателя новонатуралистической школы: пройдя все искусы модернизма (как выражались), он будто бы пришел к обновленной — интересной, холодноватой — фабульности. Еще сквозила некоторая карикатурность в его ранних вещах — в этой его «Coïncidence»[9], например, где, на рекламном столбе, в ярких, удивительно между собой согласованных красках афиш, можно было прочесть среди астральных названий кинематографов и прочей прозрачной пестроты объявление о пропаже (с вознаграждением нашедшему) алмазного ожерелья, которое тут же на панели, у самого подножья столба, и лежало, сверкая невинным огнем.

---

[9] Примечания: 9
«Совпадение» *(фр.)*.

Зато в его «Осени», — сваленная в канаву среди великолепных кленовых листьев черная портняжная болванка с прорванным боком, — была уже выразительность более чистого качества; знатоки находили тут бездну грусти. Но лучшей его вещью до сих пор оставалась приобретенная разборчивым богачом и уже многократно воспроизводившаяся: «Четверо горожан, ловящих канарейку», все четверо в черном, плечистые, в котелках (но один почему-то босой), расставленные в каких-то восторженно-осторожных позах под необыкновенно солнечной зеленью прямоугольно остриженной липы, в которой скрывалась птица, улетевшая, может быть, из клетки моего сапожника. Меня неопределенно волновала эта странная, прекрасная, а все же ядовитая живопись, я чувствовал в ней некое **предупреждение**, в обоих смыслах слова: далеко опередив мое собственное искусство, оно освещало ему и опасности пути. Сам же художник мне был до противности скучен, — что-то было невозможное для меня в его чрезвычайно поспешной, чрезвычайно шепелявой речи, сопровождавшейся никак с нею не связанным, машинальным маячением лучистых глаз. «Послушайте, — сказал он, плюнув мне в подбородок, — давайте я

познакомлю вас с Маргаритой Львовной, она заказала мне вас как-нибудь привести, приходите, мы устраиваем такие, знаете, вечеринки в мастерской, с музыкой, бутербродами, красными абажурчиками, бывает много молодежи, Полонская, братья Шидловские, Зина Мерц…»

Имена эти были мне неведомы, желания проводить вечера в обществе Всеволода Романова я не испытывал никакого, плосколицая жена Лоренца меня тоже не занимала никак, — так что я не только не принял приглашения, но с тех пор стал художника избегать.

Со двора по утрам раздавалось — тонко и сдержанно-певуче: «Prima Kartoffel»[10], — как трепещет сердце молодого овоща! — или же замогильный бас возглашал: «Blumen Erde»[11]. В стук выколачиваемых ковров иногда вмешивалась шарманка, коричневая на бедных тележковых колесах, с круглым рисунком на стенке, изображавшим идиллический ручей, и вращая то правой, то левой рукой, зоркий шарманщик выкачивал густое «O sole mio». Оно уже приглашало в сквер. Там каштановое деревцо, подпертое ко-

---

[10] Примечания: 10
Великолепный картофель *(нем.)*.

[11] Примечания: 11
Садовая земля *(нем.)*.

лом (ибо, как младенец не умеет ходить, оно еще не умело расти без помощи), вдруг выступило с цветком больше него самого. Сирень же долго не распускалась; когда же решилась, то в одну ночь, немало окурков оставившую под скамейками, рыхлой роскошью окружила сад. На тихой улочке за церковью, в пасмурный июньский день, осыпались акации, и темный асфальт вдоль панели казался запачканным в манной каше. На клумбах, вокруг статуи бронзового бегуна, роза «слава Голландии» высвободила углы красных лепестков, и за ней последовал «генерал Арнольд Янссен». В июле, в веселый и безоблачный день, состоялся очень удачный муравьиный лет: самки взлетали, их пожирали воробьи, взлетая тоже; а там, где им никто не мешал, они долго потом ползали по гравию, теряя свои слабые бутафорские крылья. Из Дании сообщали, что вследствие необычайной жары там наблюдаются многочисленные случаи помешательства: люди срывают с себя одежды и бросаются в каналы. Бешеными зигзагами метались самцы непарного шелкопряда. Липы проделали все свои сложные, сорные, душистые, неряшливые метаморфозы.

Федор Константинович проводил большую часть дня на темно-синей скамейке в сквере,

без пиджака, в старых парусиновых туфлях на босу ногу, с книгой в длинных загорелых пальцах; а когда солнце слишком наваливалось, он закидывал голову на горячий край спинки и долго жмурился; призрачные колеса городского дня вращались сквозь внутреннюю бездонную алость, и пробегали искры детских голосов, и книга, раскрытая на коленях, становилась все тяжелее, все бескнижнее; но вот алость темнела наплывом, и, приподняв вспотевший затылок, он раскрывал глаза и опять видел сад, газон с маргаритками, свежеполитый гравий, девочку, самое с собой игравшую в классы, младенца в коляске, состоявшего из двух глаз и розовой трещотки, путешествие слепнувшего, дышащего, лучащегося диска сквозь облако, — и снова все разгоралось, и с грохотом проезжал вдоль сада по пятнистой, обсаженной волнующимися деревьями улице угольный грузовик, с черным угольщиком на высоком, тряском сиденье, державшим в зубах за стебель изумрудно-яркий лист.

Под вечер он шел на урок — к дельцу с бледными ресницами, смотревшему на него с недобрым недоумением в тусклом взгляде, когда он ему беспечно читал Шекспира; или к гимназистке в черном джампере, которую ему иногда хотелось

поцеловать в склоненную желтоватую шею; или к развеселому коренастому морскому офицеру, который говорил «есть» и «обмозговать» и готовился «дать драпу» в Мексику, тайно от своей сожительницы, шестипудовой, страстной и скорбной старухи, случайно в одних розвальнях с ним бежавшей в Финляндию и с тех пор в вечном отчаянии ревности кормившей его кулебяками, варенцом, грибками… Кроме того, бывали прибыльные переводы, какая-нибудь докладная записка о низкой звукопроводности плиточных полов или трактат о подшипниках; и наконец, небольшой, но особенно драгоценный доход приносили стихи, которые он сочинял запоем и все с тем же отечественно лирическим подъемом, причем одни не дотягивали до полного воплощения и рассеивались, оплодотворяя тайную глубину, а другие, до конца подчищенные и снабженные всеми запятыми, увозились в редакцию — сперва подземным поездом с бликами отражений, быстро поднимавшихся по медным вертикалям, затем — огромным и странно пустым лифтом на восьмой этаж, где в конце серого, как пластилин, коридора, в узкой комнатке, пахнувшей «разлагавшимся трупом злободневности» (как острил первый комик редакции), сидел секретарь, лу-

нообразный флегматик, без возраста и словно без пола, не раз спасавший положение, когда граживали разгромом недовольные той или другой заметкой — какие-нибудь местные платные якобинцы или свой брат, шуан, здоровенный прохвост из мистиков.

Гремел телефон, промахивал, развеваясь, метранпаж, театральный рецензент все читал в углу приблудную из Вильны газетку. «Разве вам что-нибудь причитается? Ничего подобного», — говорил секретарь. Из комнаты справа, когда раскрывалась дверь, слышался сдобно диктующий голос Геца или покашливание Ступишина, и среди стука нескольких машинок можно было различить мелкую дробь Тамары.

Слева находился кабинет Васильева; люстриновый пиджак натягивался на его жирных плечах, когда, стоя за конторкой и как мощная машина сопя, он писал своим неопрятным почерком со школьными кляксами передовую статью: «Час от Часу не Легче» или «Положение в Китае». Вдруг задумавшись, он со звуком железного скребка чесал одним пальцем большую бородатую щеку, приподнятую к сощуренному глазу, над которым нависла характерная, до сих пор еще в России не забытая, черная, без сединки, разбойничья

бровь. Около окна (за которым был такой же высокий, многоконторный дом, с ремонтом, шедшим так высоко в небе, что казалось, можно было заодно починить серую, с рваным отверстием, тучу) стояла ваза с полутора апельсинами и аппетитная крыночка болгарской простокваши, а в книжном шкапу, в нижнем, закрытом отделении, хранились запретные сигары и большое сине-красное сердце. Старый хлам советских журналов, книжонки с лающими обложками, письма — просительные, напоминательные, поносительные, — выжатая половинка апельсина, лист газеты с вырезанным в Европу окном, зажимчики, карандаши, — все это занимало письменный стол, а над этим непоколебимо стоял, слепо отражая свет окна, фотографический портрет дочки Васильева, жившей в Париже, молодой женщины с очаровательным плечом и дымчатыми волосами, фильмовой неудачницы, — о которой, впрочем, часто упоминалось в кинохронике «Газеты»: «…наша талантливая соотечественница Сильвина Ли…» — хотя никто не знал соотечественницы.

Добродушно принимая стихи Федора Константиновича, Васильев помещал их не потому, что они ему нравились (он обыкновенно даже их не

прочитывал), а потому, что ему было решительно все равно, чем украшается неполитическая часть «Газеты». Выяснив раз навсегда тот уровень грамотности, ниже которого данный сотрудник не может спуститься по натуре, Васильев предоставлял ему полную волю, даже если данный уровень едва возвышался над нулем. Стихи же, будучи мелочью, вообще проходили почти без контроля, просачиваясь там, где задержалась бы дрянь большего веса и объема. Зато какой стоял счастливый, взволнованный писк во всех наших поэтических павлятниках, от Латвии до Ривьеры, когда появлялся номер! Мои напечатаны! И мои! Сам Федор Константинович, считавший, что у него только один соперник — Кончеев (в «Газете», кстати, не участвовавший), соседями не тяготился, а радовался своим стихам не меньше других. Бывали случаи, когда он не мог дождаться вечерней почты, с которой номер приходил, а покупал его за полчаса на улице и, бесстыдно, едва отойдя от киоска, ловя красноватый свет около лотков, где горели горы апельсинов в синеве ранних сумерек, разворачивал газету — и, бывало, не находил: что-нибудь вытеснило; если же находил, то, собрав удобнее листы и тронувшись по панели, перечитывал свое несколько раз, на

разные внутренние лады, то есть поочередно представляя себе, как его стихотворение будут читать, может быть сейчас читают, все те, чье мнение было ему важно, — и он почти физически чувствовал, как при каждом таком перевоплощении у него меняется цвет глаз, и цвет заглазный, и вкус во рту, — и чем ему самому больше нравился дежурный шедевр, тем полнее и слаще ему удавалось перечесть его за других.

Проваландав таким образом лето, родив, воспитав и разлюбив навеки дюжины две стихотворений, в ясный и прохладный день, в субботу (вечером будет собрание), он отправился за важной покупкой. Опавшие листья лежали на панели не плоско, а коробясь, жухло, так что под каждым торчал синий уголок тени. Из своей пряничной, с леденцовыми оконцами, хибарки вышла старушка с метлой, в чистом переднике, с маленьким острым лицом и непомерно огромными ступнями. Да, осень! Он шел весело, все было отлично: утро принесло письмо от матери, собиравшейся на Рождество его посетить, и сквозь распадавшуюся летнюю обувь он необыкновенно живо осязал землю, когда проходил по немощеной части, вдоль пустынных, отзывающих гарью, огородных участков между домов, обращенных

к ним срезанной чернотой капитальных стен, и там, перед сквозными беседками, виднелась капуста, осыпанная стеклярусом крупных капель, и голубоватые стебли отцветших гвоздик, и подсолнухи, склонившие тяжелые морды. Он давно хотел как-нибудь выразить, что чувство России у него в ногах, что он мог бы пятками ощупать и узнать ее всю, как слепой ладонями. И жалко было, когда окончилась полоса жирноватой коричневой земли и пришлось опять шагать по звонким тротуарам.

Молодая женщина в черном платье, с блестящим лбом и быстрыми рассеянными глазами, в восьмой раз села у его ног, боком на табуретку, проворно вынула из шелестнувшей внутренности картонки узкий башмак, с легким скрипом размяла, сильно расправив локти, его края, быстро разобрала завязки, взглянув мельком в сторону, и затем, достав из лона рожок, обратилась к большой, застенчивой, плохо заштопанной ноге Федора Константиновича. Нога чудом вошла, но, войдя, совершенно ослепла: шевеление пальцев внутри никак не отражалось на внешней глади тесной черной кожи. Продавщица с феноменальной скоростью завязала концы шнурка — и тронула носок башмака двумя пальцами. «Как

раз! — сказала она. — Новые всегда немножко… — продолжала она поспешно, вскинув карие глаза. — Конечно, если хотите, можно подложить косок под пятку. Но они — как раз, убедитесь сами!» И она повела его к рентгеноскопу, показала, куда поставить ногу. Взглянув в оконце вниз, он увидел на светлом фоне свои собственные, темные, аккуратно-раздельно лежавшие суставчики. Вот этим я ступлю на брег с парома Харона. Обув и левый башмак, он прогулялся взад и вперед по ковру, косясь на щиколодное зеркало, где отражался его похорошевший шаг и на десять лет постаревшая штанина. «Да, — хорошо», — сказал он малодушно. В детстве царапали крючком блестящую черную подошву, чтобы не было скользко. Он унес их на урок под мышкой, вернулся домой, поужинал, надел их, опасливо ими любуясь, и пошел на собрание.

Как будто, пожалуй, и ничего, — для мучительного начала.

Собрание происходило в небольшой, трогательно роскошной квартире родственников Любови Марковны. Рыжая, в зеленом выше колен, барышня помогала (громким шепотом с ней говорившей) эстонской горничной разносить чай. Среди знакомой толпы, где новых лиц было

немного, Федор Константинович тотчас завидел Кончеева, впервые пришедшего в кружок. Глядя на сутулую, как будто даже горбатую фигуру этого неприятно тихого человека, таинственно разраставшийся талант которого только дар Изоры мог бы пресечь, — этого все понимающего человека, с которым еще никогда ему не довелось потолковать по-настоящему — а как хотелось — и в присутствии которого он, страдая, волнуясь и безнадежно скликая собственные на помощь стихи, чувствовал себя лишь его современником, — глядя на это молодое, рязанское, едва ли не простоватое, даже старомодно-простоватое лицо, сверху ограниченное кудрей, а снизу крахмальными отворотцами, Федор Константинович сначала было приуныл… Но три дамы с дивана ему улыбались, Чернышевский издали по-турецки кланялся ему, Гец как знамя поднимал принесенную для него книжку журнала с «Началом Поэмы» Кончеева и статьей Христофора Мортуса «Голос Мэри в современных стихах». Кто-то сзади произнес с ответной объясняющей интонацией: Годунов-Чердынцев. «Ничего, ничего, — быстро подумал Федор Константинович, усмехаясь, осматриваясь и стуча папиросой о деревянный с орлом портсигар, — ничего, мы еще

кокнемся, посмотрим, чье разобьется». Тамара указывала ему на свободный стул, и, пробираясь туда, он опять как будто услышал звон своего имени. Когда молодые люди его лет, любители стихов, провожали его, бывало, тем особенным взглядом, который ласточкой скользит по зеркальному сердцу поэта, он ощущал в себе холодок бодрой живительной гордости: это был предварительный проблеск его будущей славы, но была и слава другая, земная, — верный отблеск прошедшего: не менее, чем вниманием ровесников, он гордился любопытством старых людей, видящих в нем сына знаменитого землепроходца, отважного чудака, исследователя фауны Тибета, Памира и других синих стран.

«Вот, — сказала со своей росистой улыбкой Александра Яковлевна, — познакомьтесь».

Это был недавно выбывший из Москвы некто Скворцов, приветливый, с лучиками у глаз, с носом дулей и жидкой бородкой, с чистенькой, моложавой, певуче-говорливой женой в шелковой шали, — словом, чета того полупрофессорского типа, который так хорошо был знаком Федору Константиновичу по воспоминаниям о людях, мелькавших вокруг отца. Скворцов любезно и складно заговорил о том, как его пора-

жает полная неосведомленность за границей в отношении к обстоятельствам гибели Константина Кирилловича: «Мы думали, — вставила жена, — что если у нас не знают, так это в порядке вещей». — «Да, — продолжал Скворцов, — со страшной ясностью вспоминаю сейчас, как мне довелось однажды быть на обеде в честь вашего батюшки и как остроумно выразился Козлов, Петр Кузьмич, что Годунов-Чердынцев, дескать, почитает Центральную Азию своим отъезжим полем. Да… Я думаю, что вас еще тогда не было на свете».

Тут Федор Константинович вдруг заметил скорбно-проникновенный, обремененный сочувствием взгляд Чернышевской, направленный на него, — и, сухо перебив Скворцова, стал его без интереса расспрашивать о России. «Как вам сказать…» — отвечал тот.

«Здравствуйте, Федор Константинович, здравствуйте, дорогой», — крикнул поверх его головы, хотя уже пожимая ему руку, движущийся, протискивающийся, похожий на раскормленную черепаху адвокат — и уже приветствовал кого-то другого. Но вот поднялся со своего места Васильев и, на мгновение опершись о столешницу легким прикосновением пальцев, свойственным приказ-

чикам и ораторам, объявил собрание открытым. «Господин Буш, — добавил он, — прочтет нам свою новую, свою философскую трагедию».

Герман Иванович Буш, пожилой, застенчивый, крепкого сложения, симпатичный рижанин, похожий лицом на Бетховена, сел за столик ампир, гулко откашлялся, развернул рукопись; у него заметно дрожали руки и продолжали дрожать во все время чтения.

Уже в самом начале наметился путь беды. Курьезное произношение чтеца было несовместимо с темнотою смысла. Когда, еще в прологе, появился идущий по дороге Одинокий Спутник, Федор Константинович напрасно понадеялся, что это метафизический парадокс, а не предательский ляпсус. Начальник Городской Стражи, ходока не пропуская, несколько раз повторил, что он «наверное не пройдет». Городок был приморский (Спутник шел из Hinterland'а[12]), и в нем пьянствовал экипаж греческого судна. Происходил такого рода разговор на Улице Греха:

Первая Проститутка
Всё есть вода. Так говорит гость мой Фалес.

---

[12] Примечания: 12
Внутренняя территория или часть страны *(нем.)*.

Вторая Проститутка
Всё есть воздух, сказал мне юный Анаксимен.

Третья Проститутка
Всё есть число. Мой лысый Пифагор не может ошибиться.

Четвертая Проститутка
Гераклит ласкает меня, шептая: всё есть огонь.

Спутник (*входит*)
Всё есть судьба.

Кроме того, было два хора, из которых один каким-то образом представлял собой волну физика де Бройля и логику истории, а другой, хороший хор, с ним спорил. «Первый матрос, второй матрос, третий матрос», — нервным, с мокрыми краями, баском пересчитывал Буш беседующих лиц. Появились какие-то: Торговка Лилий, Торговка Фиалок и Торговка Разных Цветов. Вдруг что-то колыхнулось: в публике начались осыпи.

Вскоре установились силовые линии по разным направлениям через все просторное помещение, — связь между взглядами трех-четырех, потом пяти-шести, а там и десяти людей, что составляло почти четверть собрания. Кончеев медленно и осторожно взял с этажерки, у которой

сидел, большую книгу (Федор Константинович заметил, что это альбом персидских миниатюр) и, все так же медленно поворачивая ее то так, то сяк на коленях, начал ее тихо и близоруко рассматривать. У Чернышевской был удивленный и оскорбленный вид, но вследствие своей тайной этики, как-то связанной с памятью сына, она заставляла себя слушать. Буш читал быстро, его лоснящиеся скулы вращались, горела подковка в черном галстуке, а ноги под столиком стояли носками внутрь, — и чем глубже, сложнее и непонятнее становилась идиотская символика трагедии, тем ужаснее требовал выхода мучительно сдерживаемый, подземно-бьющийся клекот, и многие уже нагибались, боясь смотреть, и когда на площади начался Танец **Масков**, то вдруг кто-то — Гец — кашлянул, и вместе с кашлем вырвался какой-то добавочный вопль, и тогда Гец закрылся ладонями, а погодя из-за них опять появился, с бессмысленно-ясным лицом и мокрой лысиной, между тем как на диване, за спиной Любови Марковны, Тамара просто легла и каталась в родовых муках, а лишенный прикрытия Федор Константинович обливался слезами, изнемогая от вынужденной беззвучности происходившего в нем. Внезапно Васильев так тяжко

повернулся на стуле, что он неожиданно треснул, поддалась ножка, и Васильев рванулся, переменившись в лице, но не упал, — и это малосмешное происшествие явилось предлогом для какого-то звериного, ликующего взрыва, прервавшего чтение, и покуда Васильев переселялся на другой стул, Герман Иванович Буш, наморщив великолепный, но совершенно недоходный лоб, что-то в рукописи отмечал карандашиком, и среди облегченного затишья неизвестная дама еще отдельно простонала что-то, но уже Буш приступал к дальнейшему чтению:

Торговка Лилий
Ты сегодня чем-то огорчаешься, сестрица.

Торговка Разных Цветов
Да, мне гадалка сказала, что моя дочь выйдет замуж за вчерашнего прохожего.

Дочь
Ах, я даже его не заметила.

Торговка Лилий
И он не заметил ее.

«Слушайте, слушайте!» — вмешался хор, вроде как в английском парламенте.

Опять произошло небольшое движение: началось через всю комнату путешествие пустой папиросной коробочки, на которой толстый адвокат написал что-то, и все наблюдали за этапами ее пути, написано было, верно, что-то чрезвычайно смешное, но никто не читал, она честно шла из рук в руки, направляясь к Федору Константиновичу, и когда наконец добралась до него, то он прочел на ней: «Мне надо будет потом переговорить с вами о маленьком деле».

Последнее действие подходило к концу. Федора Константиновича незаметно покинул бог смеха, и он раздумчиво смотрел на блеск башмака. С парома на холодный брег. Правый жал больше левого. Кончеев, полуоткрыв рот, досматривал альбом. «Занавес», — воскликнул Буш с легким ударением на последнем слоге.

Васильев объявил перерыв. У большинства был помятый и размаянный вид, как после ночи в третьем классе. Буш, свернув трагедию в толстую трубку, стоял в дальнем углу, и ему казалось, что в гуле голосов все расходятся круги от только что слышанного; Любовь Марковна предложила ему чаю, и тогда его могучее лицо вдруг беспомощно подобрело, и он, блаженно облизнувшись, наклонился к поданному стакану. Федор Кон-

стантинович с каким-то испугом смотрел на это издали, а за собой различал:

«Скажите, что это такое?» (гневный голос Чернышевской).

«Ну что ж, бывает, ну, знаете…» (виновато-благодушный Васильев).

«Нет, я вас спрашиваю, что это такое?»

«Да что ж я, матушка, могу?»

«Но вы же читали раньше, он вам приносил в редакцию? Вы же говорили, что это серьезная, интересная вещь. Значительная вещь».

«Да, конечно, первое впечатление, пробежал, знаете, — не учел, как будет звучать… Попался! Я сам удивляюсь. Да вы пойдите к нему, Александра Яковлевна, скажите ему что-нибудь».

Федора Константиновича взял повыше локтя адвокат. «Вас-то мне и нужно. Мне вдруг пришла мысль, что это что-то для вас. Ко мне обратился клиент, ему требуется перевести на немецкий кое-какие свои бумаги для бракоразводного процесса, не правда ли. Там, у его немцев, которые дело ведут, служит одна русская барышня, но она, кажется, сумеет сделать только часть, надо еще помощника. Вы бы взялись за это? Дайте-ка я запишу ваш номер. Гемахт».

«Господа, прошу по местам, — раздался голос

Васильева. — Сейчас начнутся прения по поводу заслушанного. Прошу желающих записываться».

Федор Константинович вдруг увидел, что Кончеев, сутулясь и заложив руку за борт пиджака, извилисто пробирается к выходу. Он последовал за ним, едва не забыв своего журнала. В передней к ним присоединился старичок Ступишин, часто переезжавший с квартиры на квартиру, но живший всегда в таком отдалении от города, что эти важные, сложные для него перемены происходили, казалось, в эфире, за горизонтом забот. Накинув на шею серо-полосатый шарфик, он по-русски задержал его подбородком, по-русски же влезая толчками спины в пальто.

«Порадовал, нечего сказать», — проговорил он, пока они спускались в сопровождении горничной.

«Я, признаться, плохо слушал», — заметил Кончеев.

Ступишин пошел ждать какой-то редкий, почти легендарный номер трамвая, а Годунов-Чердынцев и Кончеев направились вместе в другую сторону, до угла.

«Какая скверная погода», — сказал Годунов-Чердынцев.

«Да, совсем холодно», — согласился Кончеев.

«Паршиво… Вы живете в каких же краях?»

«А в Шарлоттенбурге».

«Ну, это не особенно близко. Пешком?»

«Пешком, пешком. Кажется, мне тут нужно — —»

«Да, вам направо, мне — напрямик».

Они простились. Фу, какой ветер…

«…Но постойте, постойте, я вас провожу. Вы, поди, полунощник, и не мне, стать, учить вас черному очарованию каменных прогулок. Так вы не слушали бедного чтеца?»

«Вначале только — и то вполуха. Однако я вовсе не думаю, что это было так уж скверно».

«Вы рассматривали персидские миниатюры. Не заметили ли вы там одной — разительное сходство! — из коллекции петербургской публичной библиотеки — ее писал, кажется, Riza Abbasi, лет триста тому назад: на коленях, в борьбе с драконятами, носатый, усатый… Сталин».

«Да, это, кажется, самый крепкий. Кстати, мне сегодня попалось в „Газете“, — не знаю уж, чей грех: „На Тебе, **Боже**, что мне негоже“. Я в этом усматриваю обожествление калик».

«Или память о каиновых жертвоприношениях».

«Сойдемся на плутнях звательного падежа, —

и поговорим лучше „о Шиллере, о подвигах, о славе“, — если позволите маленькую амальгаму. Итак, я читал сборник ваших очень замечательных стихов. Собственно, это только модели ваших же будущих романов».

«Да, я мечтаю когда-нибудь произвести такую прозу, где бы „мысль и музыка сошлись, как во сне складки жизни“».

«Благодарю за учтивую цитату. Вы как — по-настоящему любите литературу?»

«Полагаю, что да. Видите ли, по-моему, есть только два рода книг: настольный и подстольный. Либо я люблю писателя истово, либо выбрасываю его целиком».

«Э, да вы строги. Не опасно ли это? Не забудьте, что как-никак вся русская литература, литература одного века, занимает — после самого снисходительного отбора — не более трех — трех с половиной тысяч печатных листов, а из этого числа едва ли половина достойна не только полки, но и стола. При такой количественной скудости нужно мириться с тем, что наш пегас пег, что не все в дурном писателе дурно, а в добром не все добро».

«Дайте мне, пожалуй, примеры, чтобы я мог опровергнуть их».

«Извольте: если раскрыть Гончарова или — —»

«Стойте! Неужто вы желаете помянуть добрым словом Обломова? „Россию погубили два Ильича“, — так, что ли? Или вы собираетесь поговорить о безобразной гигиене тогдашних любовных падений? Кринолин и сырая скамья? Или, может быть, — стиль? Помните, как у Райского в минуты задумчивости переливается в губах розовая влага? — точно так же, скажем, как герои Писемского в минуту сильного душевного волнения рукой растирают себе грудь?»

«Тут я вас уловлю. Разве вы не читали у того же Писемского, как лакеи в передней во время бала перекидываются страшно грязным, истоптанным плисовым женским сапогом? Ага! Вообще, коли уж мы попали в этот второй ряд — — Что вы скажете, например, о Лескове?»

«Да что ж… У него в слоге попадаются забавные англицизмы, вроде „это была дурная вещь“ вместо „плохо дело“. Но всякие там нарочитые „аболоны“… — нет, увольте, мне не смешно. А многословие… матушки! „Соборян“ без урона можно было бы сократить до двух газетных подвалов. И я не знаю, что хуже — его добродетельные британцы или добродетельные попы».

«Ну, а все-таки. Галилейский призрак, прохлад-

ный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы? Или пасть пса с синеватым, точно напомаженным, зевом? Или молния, ночью освещающая подробно комнату, — вплоть до магнезии, осевшей на серебряной ложке?»

«Отмечаю, что у него латинское чувство синевы: lividus[13]. Лев Толстой, тот был больше насчет лилового, — и какое блаженство пройтись с грачами по пашне босиком! Я, конечно, не должен был их покупать».

«Вы правы, жмут нестерпимо. Но мы перешли в первый ряд. Разве там вы не найдете слабостей? „Русалка“ — —»

«Не трогайте Пушкина: это золотой фонд нашей литературы. А вон там, в чеховской корзине, провиант на много лет вперед, да щенок, который делает „уюм, уюм, уюм“, да бутылка крымского».

«Погодите, вернемся к дедам. Гоголь? Я думаю, что мы весь состав его пропустим. Тургенев? Достоевский?»

«Обратное превращение Бедлама в Вифлеем, — вот вам Достоевский. „Оговорюсь“, как выражается Мортус. В Карамазовых есть круглый след от мокрой рюмки на садовом столе, это со-

---

[13] Примечания: 13
Синеватый, сине-серый *(лат.)*.

хранить стоит, — если принять ваш подход».

«Так неужели ж у Тургенева все благополучно? Вспомните эти дурацкие тэтатэты в акатниках? Рычание и трепет Базарова? Его совершенно неубедительная возня с лягушками? И вообще — не знаю, переносите ли вы особую интонацию тургеневского многоточия и жеманное окончание глав? Или всё простим ему за серый отлив черных шелков, за русачью полежку иной его фразы?»

«Мой отец находил вопиющие ошибки в его и толстовских описаниях природы, и уж про Аксакова нечего говорить, добавлял он, — это стыд и срам».

«Быть может, если мертвые тела убраны, мы примемся за поэтов? Как вы думаете? Кстати, о мертвых телах. Вам никогда не приходило в голову, что лермонтовский „знакомый труп“ — это безумно смешно, ибо он, собственно, хотел сказать „труп знакомого“, — иначе ведь непонятно: знакомство посмертное контекстом не оправдано».

«У меня все больше Тютчев последнее время ночует».

«Славный постоялец. А как вы насчет ямба Некрасова — нету на него позыва?»

«Как же. Давайте-ка мне это рыданьице в голосе: загородись двойною рамою, напрасно горниц не студи, простись с надеждою упрямою и на дорогу не гляди. Кажется, дактилическую рифму я сам ему выпел, от избытка чувств, — как есть особый растяжной перебор у гитаристов. Этого Фет лишен».

«Чувствую, что тайная слабость Фета — рассудочность и подчеркивание антитез — от вас не скрылась?»

«Наши общественно настроенные олухи понимали его иначе. Нет, я все ему прощаю за прозвенело в померкшем лугу, за росу счастья, за дышащую бабочку».

«Переходим в следующий век: осторожно, ступенька. Мы с вами начали бредить стихами рано, не правда ли? Напомните мне, как это все было? „Как дышат края облаков…“ Боже мой!»

«Или освещенные с другого бока „Облака небывалой услады“. О, тут разборчивость была бы преступлением. Мое тогдашнее сознание воспринимало восхищенно, благодарно, полностью, без критических затей, всех пятерых, начинающихся на „Б“, — пять чувств новой русской поэзии».

«Интересно, которому именно вы отводите вкус. Да-да, я знаю, есть афоризмы, которые, как

самолеты, держатся только пока находятся в движении. Но мы говорили о заре… С чего у вас началось?»

«С прозрения азбуки. Простите, это звучит изломом, но дело в том, что у меня с детства в сильнейшей и подробнейшей степени audition colorée[14]».

«Так что вы могли бы тоже — —»

«Да, но с оттенками, которые ему не снились, — и не сонет, а толстый том. К примеру: различные, многочисленные „а“ на тех четырех языках, которыми владею, вижу едва ли не в стольких же тонах — от лаково-черных до занозисто-серых — сколько представляю себе сортов поделочного дерева. Рекомендую вам мое розовое фланелевое „м“. Не знаю, обращали ли вы когда-либо внимание на вату, которую изымали из майковских рам? Такова буква „ы“, столь грязная, что словам стыдно начинаться с нее. Если бы у меня были под рукой краски, я бы вам так смешал sienne brûlée[15] и сепию, что получился бы цвет гуттаперчевого „ч“; и вы бы оценили мое сияющее „с“, если я мог бы вам насыпать в горсть тех светлых

---

[14] Примечания: 14
Цветной слух *(фр.)*

[15] Примечания: 15
Сиена жженая *(фр.)*.

сапфиров, которые я ребенком трогал, дрожа и не понимая, когда моя мать, в бальном платье, плача навзрыд, переливала свои совершенно небесные драгоценности из бездны в ладонь, из шкатулок на бархат, и вдруг всё запирала, и никуда не ехала, несмотря на бешеные уговоры ее брата, который шагал по комнатам, давая щелчки мебели и пожимая эполетами, и если отодвинуть в боковом окне фонаря штору, можно было видеть вдоль набережных фасадов в синей черноте ночи изумительно неподвижные, грозно-алмазные вензеля, цветные венцы…»

«Buchstaben von Feuer[16], одним словом… Да, я уже знаю наперед. Хотите, я вам доскажу эту банальную и щемящую душу повесть? Как вы упивались первыми попавшимися стихами. Как в десять лет писали драмы, а в пятнадцать элегии, — и всё о закатах, закатах… И медленно пройдя меж пьяными… Кстати, кто она была такая?»

«Молодая замужняя женщина. Продолжалось неполных два года, до бегства из России. Она была так хороша, так мила — знаете, большие глаза и немного костлявые руки, — что я как-то до сих

---

[16] Примечания: 16
Огненные буквы *(нем.)*.

пор остался ей верен. От стихов она требовала только ямщикнегонилошадейности, обожала играть в покер, а погибла от сыпного тифа — Бог знает где, Бог знает как…»

«А теперь что будет? Стоит, по-вашему, продолжать?»

«Еще бы! До самого конца. Вот и сейчас я счастлив, несмотря на позорную боль в ногах.

Признаться, у меня опять началось это движение, волнение… Я опять буду всю ночь…»

«Покажите. Посмотрим, как это получается: вот этим с черного парома сквозь (вечно?) тихо падающий снег (во тьме в незамерзающую воду отвесно падающий снег) (в обычную?) летейскую погоду вот этим я ступлю на брег. Не разбазарьте только волнения».

«Ничего… И вот посудите, как же тут не быть счастливым, когда лоб горит…»

«…как от излишка уксуса в винегрете. Знаете, о чем я сейчас подумал: ведь река-то, собственно, — Стикс. Ну да ладно. Дальше. И к пристающему парому сук тянется, и медленным багром (Харон) паромщик тянется к суку сырому (кривому)…»

«…и медленно вращается паром. Домой, домой. Мне нынче хочется сочинять с пером в пальцах. Какая луна, как черно пахнет листьями и землей

из-за этих решеток».

«Да, жалко, что никто не подслушал блестящей беседы, которую мне хотелось бы с вами вести».

«Ничего, не пропадет. Я даже рад, что так вышло. Кому какое дело, что мы расстались на первом же углу и что я веду сам с собою вымышленный диалог по самоучителю вдохновения».

Глава вторая

Еще летал дождь, а уже появилась, с неуловимой внезапностью ангела, радуга: сама себе томно дивясь, розово-зеленая, с лиловой поволокой по внутреннему краю, она повисла за скошенным полем, над и перед далеким леском, одна доля которого, дрожа, просвечивала сквозь нее. Редкие стрелы дождя, утратившего и строй, и вес, и способность шуметь, невпопад, так и сяк вспыхивали на солнце. В омытом небе, сияя всеми подробностями чудовищно сложной лепки, из-за вороного облака выпрастывалось облако упоительной белизны.

«Ну вот, прошло», — сказал он вполголоса и вышел из-под навеса осин, столпившихся там, где жирная, глинистая, «земская» (какой ухаб был в этом прозвании!) дорога спускалась в ложбинку, собрав в этом месте все свои колеи в продолговатую выбоину, до краев налитую густым кофе со сливками.

Милая моя! Образчик элизейских красок! Отец однажды, в Ордосе, поднимаясь после грозы на холм, ненароком вошел в основу радуги, — ред-

чайший случай! — и очутился в цветном воздухе, в играющем огне, будто в раю. Сделал еще шаг — и из рая вышел.

Она уже бледнела. Дождь совсем перестал, пекло, овод с шелковыми глазами сел на рукав. В роще закуковала кукушка, тупо, чуть вопросительно: звук вздувался куполком и опять — куполком, никак не разрешаясь. Бедная толстая птица, вероятно, перелетела дальше, ибо все повторялось сызнова, вроде уменьшенного отражения (искала, что ли, где получается лучше, грустнее?). Громадная, плоская на лету бабочка, иссиня-черная с белой перевязью, описав сверхъестественно-плавную дугу и опустившись на сырую землю, сложилась, тем самым исчезла. Такую иной раз приносит, зажав ее обеими руками в картуз, сопящий крестьянский мальчишка. Такая взмывает из-под семенящих копыт примерной докторской поньки, когда доктор, держа на коленях почти ненужные вожжи, а то просто прикрутив их к передку, задумчиво едет тенистой дорогой в больницу. А изредка четыре черно-белых крыла с кирпичной изнанкой находишь рассыпанными, как игральные карты, на лесной тропе: остальное съела неизвестная птица.

Он перепрыгнул лужу, где два навозных жу-

ка, мешая друг другу, цеплялись за соломинку, и отпечатал на краю дороги подошву: многозначительный след ноги, все глядящий вверх, все видящий исчезнувшего человека. Идя полем, один, под дивно несущимися облаками, он вспомнил, как с первыми папиросами в первом портсигаре подошел тут к старому косарю, попросил огня; мужик из-за тощей пазухи вынул коробок, дал его без улыбки, — но дул ветер, спичка за спичкой гасла, едва вспыхнув, — и после каждой становилось все совестнее, а тот смотрел с каким-то отвлеченным любопытством на торопливые пальцы расточительного барчука.

Он углубился в лесок; по тропе проложены были мостки, черные, склизкие, в рыжих сережках и приставших листках. Кто это выронил сыроежку, разбившую свой белый веерок? В ответ донеслось ауканье: девчонки собирали грибы, чернику — кажущуюся в корзине настолько темнее, чем на своих кустиках! Среди берез была одна издавна знакомая — с двойным стволом, береза-лира, и рядом старый столб с доской, на ней ничего нельзя было разобрать кроме следов пуль, — как-то в нее палил из браунинга гувернер-англичанин, тоже Браунинг, а потом отец взял у него пистолет, мгновенно-ловко вдавил в обойму пули и семью

выстрелами выбил ровное К.

Дальше, на болотце, запросто цвела ночная фиалка, за ним пришлось пересечь проезжую дорогу, — и справа забелелась калитка: вход в парк. Извне отороченный папоротником, снутри пышно подбитый жимолостью и жасмином, там омраченный хвоей елей, тут озаренный листвой берез, громадный, густой и многодорожный, он весь держался на равновесии солнца и тени, которые от ночи до ночи образовали переменную, но в своей переменности одному ему принадлежащую гармонию. Если на аллее, под ногами, колебались кольца горячего света, то вдалеке непременно протягивалась поперек толстая бархатная полоса, за ней опять — оранжевое решето, а уже дальше, в самой глуби, густела живая чернота, которая при передаче удовлетворяла глаз акварелиста лишь покуда краски были еще мокры, так что приходилось накладывать слой за слоем, чтобы удержать красоту — тут же умиравшую. К дому приводили все тропинки, — но, вопреки геометрии, ближайшим путем казалась не прямая аллея, стройная и холеная, с чуткой тенью (как слепая, поднимавшейся навстречу, чтобы ощупать тебе лицо) и со взрывом изумрудного солнца в самом конце, а любая из

соседних, извилистых и невыполотых. Он шел к еще невидимому дому по любимой из них, мимо скамьи, на которой по установившейся традиции сиживали родители накануне очередного отбытия отца в путешествие: отец — расставив колени, вертя в руках очки или гвоздику, опустив голову, с канотье, сдвинутым на затылок, и с молчаливой, чуть насмешливой улыбкой около прищуренных глаз и в мягких углах губ, где-то у самых корней бородки; а мать — говорящая ему что-то, сбоку, снизу, из-под большой дрожащей белой шляпы, или кончиком зонтика выдавливающая хрустящие ямки в безответном песке. Он шел мимо валуна со взлезшими на него рябинками (одна обернулась, чтобы подать руку меньшой), мимо заросшей травой площадки, бывшей в дедовские времена прудком, мимо низеньких елок, зимой становившихся совершенно круглыми под бременем снега: снег падал прямо и тихо, мог падать так три дня, пять месяцев, девять лет, — и вот уже впереди, в усеянном белыми мушками просвете, наметилось приближающееся мутное, желтое пятно, которое, вдруг попав в фокус, дрогнув и уплотнившись, превратилось в вагон трамвая, и мокрый снег полетел косо, залепляя левую грань стеклянного

столба остановки, но асфальт оставался черен и гол, точно по природе своей неспособен был принять ничего белого, и среди плывущих в глазах, сначала даже непонятных надписей над аптекарскими, писчебумажными, колониальными лавками только одна-единственная могла еще казаться написанной по-русски: **Какао**, — между тем как кругом все только что воображенное с такой картинной ясностью (которая сама по себе была подозрительна, как яркость снов в неурочное время дня или после снотворного) бледнело, разъедалось, рассыпалось, и если оглянуться, то — как в сказке исчезают ступени лестницы за спиной поднимающегося по ней — все проваливалось и пропадало, — прощальное сочетание деревьев, стоявших как провожающие и уже уносимых прочь, полинявший в стирке клочок радуги, дорожка, от которой остался только жест поворота, трехкрылая, без брюшка, бабочка на булавке, гвоздика на песке, около тени скамейки, — еще какие-то самые последние, самые стойкие мелочи, — и еще через миг все это без борьбы уступило Федора Константиновича его настоящему, и, прямо из воспоминания (быстрого и безумного, находившего на него как припадок смертельной болезни в любой час, на любом

углу), прямо из оранжерейного рая прошлого он пересел в берлинский трамвай.

Он ехал на урок, как всегда опаздывал, и, как всегда, в нем росла смутная, скверная, тяжелая ненависть и к неуклюжей медлительности этого бездарнейшего из всех способов передвижения, и к безнадежно знакомым, безнадежно некрасивым улицам, шедшим за мокрым окном, а главное — к ногам, бокам, затылкам туземных пассажиров. Он рассудком знал, что среди них могут быть и настоящие, вполне человеческие особи, с бескорыстными страстями, чистыми печалями, даже с воспоминаниями, просвечивающими сквозь жизнь, — но почему-то ему сдавалось, что все эти скользящие, холодные зрачки, посматривающие на него так, словно он провозил незаконное сокровище (как, в сущности, оно и было), принадлежат лишь гнусным кумушкам и гнилым торгашам. Русское убеждение, что в малом количестве немец пошл, а в большом — пошл нестерпимо, было, он знал это, убеждением, недостойным художника; а все-таки его пробирала дрожь, — и только угрюмый кондуктор с загнанными глазами и пластырем на пальце, вечно мучительно ищущий равновесия и прохода среди судорожных толчков вагона и

скотской тесноты стоящих, внешне казался если не человеком, то хоть бедным родственником человека. На второй остановке перед Федором Константиновичем сел сухощавый, в полупальто с лисьим воротником, в зеленой шляпе и потрепанных гетрах, мужчина, — севши, толкнул его коленом да углом толстого, с кожаной хваткой, портфеля — и тем самым обратил его раздражение в какое-то ясное бешенство, так что, взглянув пристально на сидящего, читая его черты, он мгновенно сосредоточил на нем всю свою грешную ненависть (к жалкой, бедной, вымирающей нации) и отчетливо знал, за что ненавидит его: за этот низкий лоб, за эти бледные глаза; за фольмильх и экстраштарк — подразумевающие законное существование разбавленного и поддельного; за полишинелевый строй движений, — угрозу пальцем детям — не как у нас стойком стоящее напоминание о небесном Суде, а символ колеблющейся палки, — палец, а не перст; за любовь к частоколу, ряду, заурядности; за культ конторы; за то, что если прислушаться, что у него говорится внутри (или к любому разговору на улице), неизбежно услышишь цифры, деньги; за дубовый юмор и пипифаксовый смех; за толщину задов у обоего пола, — даже если в

остальной своей части субъект и не толст; за отсутствие брезгливости; за видимость чистоты — блеск кастрюльных днищ на кухне и варварскую грязь ванных комнат; за склонность к мелким гадостям, за аккуратность в гадостях, за мерзкий предмет, аккуратно нацепленный на решетку сквера; за чужую живую кошку, насквозь проткнутую в отместку соседу проволокой, к тому же ловко закрученной с конца; за жестокость во всем, самодовольную, как-же-иначную; за неожиданную восторженную услужливость, с которой человек пять прохожих помогают тебе подбирать оброненные гроши; за… Так он нанизывал пункты пристрастного обвинения, глядя на сидящего против него — покуда тот не вынул из кармана номер васильевской «Газеты», равнодушно кашлянув с русской интонацией.

«Вот это славно», — подумал Федор Константинович, едва не улыбнувшись от восхищения. Как умна, изящно лукава и, в сущности, добра жизнь! Теперь в чертах читавшего газету он различал такую отечественную мягкость — морщины у глаз, большие ноздри, по-русски подстриженные усы, — что сразу стало и смешно, и непонятно, как это можно было обмануться. Его мысль ободрилась на этом нечаянном привале и уже потекла

иначе. Ученик, к которому он ехал, малообразованный, но любознательный старый еврей, еще в прошлом году вдруг захотел научиться «болтать по-французски», что казалось старику и выполнимее, и свойственнее его летам, характеру, жизненному опыту, чем сухое изучение грамматики языка: эти графы переплыли эти реки. Неизменно в начале урока, кряхтя и примешивая множество русских, немецких слов к щепотке французских, он описывал свое утомление после дня работы (заведовал крупной бумажной фабрикой), и от этих длительных жалоб переходил, сразу попадая с головой в безвыходные потемки, к обсуждению — по-французски! — международной политики, причем требовал чуда: чтобы все это дикое, вязкое, тяжкое, как перевозка камней по размытой дороге, обратилось вдруг в ажурную речь. Вовсе лишенный способности запоминать слова (и любящий говорить об этом не как о недостатке, а как об интересном свойстве своей натуры), он не только не делал никаких успехов, но даже успел за год учения позабыть те несколько французских фраз, которые застал у него Федор Константинович и на основе которых старик мнил построить за три-четыре вечера свой собственный, легкий, живой, переносный

Париж. Увы, бесплодно шло время, доказывая тщетность усилий, невозможность мечты, — да и преподаватель попался неопытный, совершенно терявшийся, когда бедному фабриканту вдруг требовалась точная справка (как по-французски «ровница»?), от которой, впрочем, спрашивающий тотчас из деликатности отказывался, и оба приходили в минутное смущение, как в старой идиллии невинные юноша и дева, невзначай коснувшиеся друг друга. Мало-помалу становилось невыносимо. Оттого что ученик все удрученнее ссылался на усталость мозгов и все чаще отменял уроки (небесный голос его секретарши по телефону, — мелодия счастья!), Федору Константиновичу казалось, что тот наконец убедился в неумелости учителя, но из жалости к его поношенным штанам длит и будет длить до гроба эту взаимную пытку.

И сейчас, сидя в трамвае, он так несбыточно ярко увидел, как через семь-восемь минут войдет в знакомый, с берлинской, животной роскошью обставленный кабинет, сядет в глубокое кожаное кресло подле низкого металлического столика с открытой для него стеклянной шкатулкой, полной папирос, и лампой в виде географического глобуса, закурит, дешево бодро закинет ногу на

ногу и встретится с изнемогающим, покорным взглядом безнадежного ученика, — так живо услышит его вздох и неискоренимое «ну, вуй», которым тот уснащал свои ответы, что вдруг неприятное чувство опаздывания заменилось в душе Федора Константиновича отчетливым и каким-то нагло-радостным решением не явиться на урок вовсе, а слезть на следующей остановке и вернуться домой, к недочитанной книге, к внежитейской заботе, к блаженному туману, в котором плыла его настоящая жизнь, к сложному, счастливому, набожному труду, занимавшему его вот уже около года. Он знал, что нынче получил бы за несколько уроков плату, знал, что иначе придется опять в долг курить и обедать, но совершенно мирился с этим ради той деятельной лени (все тут, в этом сочетании), ради возвышенного прогула, который он себе разрешал. И разрешал не впервые. Застенчивый и взыскательный, живя всегда в гору, тратя все свои силы на преследование бесчисленных существ, мелькавших в нем, словно на заре в мифологической роще, он уже не мог принуждать себя к общению с людьми для заработка или забавы, а потому был беден и одинок. И, как бы назло ходячей судьбе, было приятно вспоминать, как однажды летом он не

поехал на вечер в «загородной вилле» исключительно потому, что Чернышевские предупредили его, что там будет человек, который «может быть ему полезен», или как прошлой осенью не удосужился снестись с бракоразводной конторой, где требовался переводчик, — оттого что сочинял драму в стихах, оттого что адвокат, суливший ему этот заработок, был докучлив и глуп, оттого, наконец, что слишком откладывал, а потом уж не мог решиться.

Он выбрался на площадку вагона. Тотчас же ветер грубо его обыскал, после чего Федор Константинович потуже затянул поясок макинтоша, поправил шарф, — но небольшое количество трамвайного тепла было уже у него отнято. Снег валить перестал, а куда пропал — неизвестно; оставалась только вездесущая сырость, которая сказывалась и в шуршащем звуке автомобильных шин, и в каком-то по-свински резком, терзающем слух, рваном вопле рожков, и в темноте дня, дрожавшего от холода, от грусти, от омерзения к себе, и в особом желтом оттенке уже зажженных витрин, в отражениях, в отливах, в текучих огнях, — во всем этом болезненном недержании электрического света. Трамвай выехал на площадь и, мучительно затормозив, остановился,

но остановился лишь предварительно, так как впереди, у каменного островка, где теснились осаждающие, застряли два других номера, оба с прицепными вагонами, и в этом косном нагромождении тоже как-то сказывалось гибельное несовершенство мира, в котором Федор Константинович все еще пребывал. Он больше не мог, он выскочил и зашагал через скользкую площадь к другой трамвайной линии, по которой обманным образом мог вернуться в свой район с тем же билетом — годным на одну пересадку, а отнюдь не на обратный путь; но честный казенный расчет, что пассажир будет ехать только в одном направлении, подрывался в некоторых случаях тем, что, при знании маршрутов, можно было прямой путь незаметно обратить в дугу, загибающуюся к отправной точке. Этой остроумной системе (приятно доказывавшей некий чисто немецкий порок в планировке трамвайных линий) Федор Константинович следовал охотно, однако по рассеянности, по неспособности длительно ласкать мыслью выгоду и думая уже о другом, машинально платил наново за билет, который намеревался сэкономить. И все-таки процветал обман, все-таки не он, а ведомство городских путей сообщения оказывалось внакладе — и притом на гораздо,

гораздо большую сумму (норд-экспрессную!), чем можно было ожидать: перейдя площадь и свернув на боковую улицу, он пошел к трамвайной остановке сквозь маленькую, на первый взгляд, чащу елок, собранных тут для продажи по случаю приближавшегося Рождества; между ними образовалась как бы аллейка; размахивая на ходу рукой, он кончиком пальцев задевал мокрую хвою; но вскоре аллейка расширилась, ударило солнце, и он вышел на площадку сада, где, на мягком красном песке, можно было различить пометки летнего дня: отпечатки собачьих лап, бисерный след трясогузки, данлоповую полосу от Таниного велосипеда, волнисто раздвоившуюся при повороте, и впадинку от каблука там, где она легким, немым движением, в котором была какая-то четверть пируэта, вбок соскользнула с него и сразу пошла, все держась за руль. Старый, в елочном стиле, деревянный дом, выкрашенный в бледно-зеленый цвет, с зелеными же водосточными трубами, с узорными вырезами под крышей и высоким каменным основанием (где в серой замазке мерещились словно круглые, розовые крупы замурованных коней), большой, крепкий и необыкновенно выразительный дом, с балконами на уровне липовых веток и веран-

дами, украшенными драгоценными стеклами, плыл навстречу, облетаемый ласточками, идя на всех маркизах, чертя громоотводом по синеве, по ярким белым облакам, без конца раскрывавшим объятья. На каменных ступенях носовой веранды, в упор освещенные солнцем, сидят: отец, явно с купанья, в мохнатом полотенце чалмой, так что не видать — а хотелось бы! — его темного бобрика с проседью, низко, мыском, находящего на лоб; мать, вся в белом, глядящая прямо перед собой и как-то молодо обхватившая колени руками; рядом — Таня, в широкой блузке, с концом черной косы на ключице, опустившая гладкий пробор и держащая на руках фокстерьера, во весь рот улыбающегося от жары; повыше — невышедшая почему-то Ивонна Ивановна, черты смазаны, но ясно видна тонкая талия, кушачок, цепочка часов; боком, пониже, полулежа и опираясь головой на колени круглолицей барышни (бантики, бархатка), учившей Таню музыке, — брат отца, толстый военный врач, балагур и красавец; еще ниже — два кисленьких, исподлобья глядящих гимназиста, двоюродные братья Федора: один в фуражке, другой без, — тот, который без, убит спустя лет семь под Мелитополем; совсем низко, уже на песке, точь-в-точь в позе матери, — сам Федор,

каким он был тогда, — впрочем, мало с тех пор изменившийся, белозубый, чернобровый, коротко остриженный, в открытой рубашке. Кто снимал, забылось, но эта мгновенная, блеклая, негодная даже для переснятия и в общем незначительная (сколько было других, лучших) фотография одна чудом сберeглась и стала бесценной, доехав до Парижа в вещах матери, которая на прошлое Рождество ему и привезла ее в Берлин, — ибо теперь, выбирая сыну подарок, она руководилась уже не тем, что всего дороже приобрести, а тем, с чем всего труднее расстаться.

Она тогда приехала к нему на две недели после трехлетней разлуки, и в первое мгновение, когда, до смертельной бледности напудренная, в черных перчатках и черных чулках, в распахнутой старой котиковой шубке, она сошла по железным ступенькам вагона, посматривая одинаково быстро то себе под ноги, то на него, и вдруг, с лицом, искаженным мукой счастья, припала к нему, блаженно мыча, целуя его в ухо, в шею, ему показалось, что красота, которой он так гордился, выцвела, но по мере того, как его зрение приспособлялось к сумеркам настоящего, столь сначала отличным от далеко отставшего света памяти, он опять узнавал в ней все, что любил: чистый очерк

лица, суживающийся к подбородку, изменчивую игру зеленых, карих, желтых восхитительных глаз под бархатными бровями, легкую, длинную поступь, жадность, с которой она закурила в такси, внимание, с которым вдруг посмотрела — не ослепнув, значит, от волнения встречи, как ослепла бы всякая, — на обоими замеченный гротеск: невозмутимый мотоциклист провез в прицепной каретке бюст Вагнера; и уже когда приблизились к дому, прошлый свет догнал настоящее, пропитал его до насыщения, и все стало таким, каким бывало в этом же Берлине три года назад, как бывало когда-то в России, как бывало и будет всегда.

У фрау Стобой нашлась свободная комната, и там, в первый же вечер (раскрытый несессер, снятые кольца на мраморе умывальника), лежа на диване и быстро-быстро поедая изюм, без которого не могла прожить ни одного дня, она заговорила о том, к чему постоянно возвращалась вот уже скоро девятый год, снова повторяя — невнятно, угрюмо, стыдливо, отводя глаза, словно признаваясь в чем-то таинственном и ужасном, — что все больше верит в то, что отец Федора жив, что траур ее нелепость, что глухой вести о его гибели никто никогда не подтвердил, что он

где-то в Тибете, в Китае, в плену, в заключении, в каком-то отчаянном омуте затруднений и бед, что он поправляется после долгой-долгой болезни — и вдруг, с шумом распахнув дверь и притопнув на пороге, войдет. И в еще большей мере, чем прежде, Федору от этих слов становилось и хорошо, и страшно. Поневоле привыкнув за все эти годы считать отца мертвым, он уже чуял нечто уродливое в возможности его возвращения. Допустимо ли, что жизнь может совершить не просто чудо, а чудо, лишенное вовсе (непременно так, — иначе не вынести) малейшего оттенка сверхъестественности? Чудо этого возвращения состояло бы в его земной природе, в его уживчивости с рассудком, в немедленном введении невероятного случая в условно-понятную связь обыкновенных дней; но чем больше росло с годами требование такой естественности, тем становилось жизни труднее исполнить его, — и теперь не просто призрак было представить себе страшно, а призрак, который бы страшным не был. Бывали дни, когда Федору казалось, что внезапно на улице (есть в Берлине такие тупички, где в сумерки душа как бы расплывается) к нему подойдет, в сказочных отрепьях, нищий старик лет семидесяти, обросший до глаз бородой, и вдруг подмигнет, и

скажет, как говаривал некогда: здравствуй, сыне! Отец часто являлся ему во сне, будто только что вернувшийся с какой-то чудовищной каторги, перенесший телесные пытки, о которых упоминать заказано, уже переодевшийся в чистое белье, — о теле под ним нельзя думать, — и с никогда ему не свойственным выражением неприятной, многозначительной хмурости, потный и слегка как бы оскаленный, сидящий за столом, в кругу притихшей семьи. Когда же, превозмогая ощущение фальши в самом стиле, навязываемом судьбе, он все-таки заставлял себя вообразить приезд живого отца, постаревшего, но несомненно родного, и полнейшее, убедительнейшее объяснение немого отсутствия, его охватывал, вместо счастья, тошный страх, — который, однако, тотчас исчезал, уступая чувству удовлетворенной гармонии, когда он эту встречу отодвигал за предел земной жизни.

А с другой стороны… Бывает, что в течение долгого времени тебе обещается большая удача, в которую с самого начала не веришь, так она не похожа на прочие подношения судьбы, а если порой и думаешь о ней, то как бы со снисхождением к фантазии, — но когда наконец, в очень будничный день с западным ветром, приходит

известие, просто, мгновенно и окончательно уничтожающее всякую надежду на нее, то вдруг с удивлением понимаешь, что хоть и не верил, а все это время жил ею, не сознавая постоянного, домашнего присутствия мечты, давно ставшей упитанной и самостоятельной, так что теперь никак не вытолкнешь ее из жизни, не сделав в жизни дыры. Так и Федор Константинович, вопреки рассудку и не смея представить себе ее воплощения, жил привычной мечтой о возвращении отца, таинственно украшавшей жизнь и как бы поднимавшей ее выше уровня соседних жизней, так что было видно много далекого и необыкновенного, как когда его, маленького, отец поднимал под локотки, чтобы он мог увидеть интересное за забором.

После первого вечера, освежив надежду и убедившись, что в сыне та же надежда жива, Елизавета Павловна больше не упоминала о ней словесно, но, как всегда, она подразумевалась во всех их разговорах, особенно потому, что не так уж много они разговаривали вслух: часто случалось, что после нескольких минут оживленного молчания Федор вдруг замечал, что все время оба отлично знали, о чем эта двойная, как бы подтравная речь, вдруг выходившая наружу

одним ручьем, обоим понятным словом. И бывало, они играли так: сидя рядом и молча про себя воображая, что каждый совершает одну и ту же лешинскую прогулку, они выходили из парка, шли дорожкой вдоль поля (слева, за ольшаником, речка), через тенистое кладбище, где кресты в пятнах солнца показывали руками размер чего-то пребольшого и где было как-то неловко срывать малину, через речку, опять вверх, лесом, опять к речке, к Pont des Vaches[17], и дальше, сквозь сосняк, и по Chemin du Pendu[18], — родные, не режущие их русского слуха прозвания, придуманные еще тогда, когда деды были детьми. И вдруг, среди этой безгласной прогулки, которую две мысли проделывали, пользуясь по правилам игры мерой человеческого шага (хотя в один миг могли бы облететь свои владения), оба останавливались и говорили, где кто находится, и когда оказывалось, как это бывало часто, что ни один не обогнал другого, остановившись в том же перелеске, — у матери и сына вспыхивала одна и та же улыбка сквозь общую слезу.

Очень скоро они опять вошли в свой внутрен-

---

[17] Примечания: 17
Коровий мост *(фр.)*.

[18] Примечания: 18
Дорога повешенного *(фр.)*.

ний ритм общения, ибо мало было нового, чего бы они уже не знали из писем. Она дорассказала ему о недавней свадьбе Тани, которая теперь, с незнакомым Федору мужем, ладным, спокойным, очень вежливым и ничем не замечательным господином, «работающим в области радио», уехала до января в Бельгию, и что когда вернутся, то она поселится с ними на новой квартирке, в огромном доме у одной из парижских застав: рада была выехать из маленькой, с крутой темной лестницей, гостиницы, где до того жила с Таней в крохотной, но многоугольной комнате, целиком поглощаемой зеркалом и посещаемой разнокалиберными клопами — от прозрачно-розовых малюток до коричневых, дубленых толстяков, — жившими семьей то за стенным календарем с левитановским видом, то поближе к делу, за пазухой рваных обоев, прямо над двуспальной кроватью; но, радуясь новоселью, она и опасалась его: зять не пришелся ей по душе, и было что-то притворное в Танином бодром, показном счастье, — «ну, понимаешь, он не совсем нашего круга», — как-то, сжав челюсти и глядя вниз, выговорила она, — но это было не все, да, впрочем, Федор уже знал о том другом человеке, которого любила Таня, который не любил ее.

Они довольно много выходили, Елизавета Павловна, как всегда, будто искала чего-то, быстро обводя мир летучим взглядом переливчатых глаз. Немецкий праздничек выдался дождливым, панели от луж казались дырявыми, в окнах тупо горели огни елок, кое-где на углах рекламный рождественский дед в красном зипуне, с голодными глазами, раздавал объявления. В витринах универсального магазина какой-то мерзавец придумал выставить истуканы лыжников, на бертолетовом снегу, под Вифлеемской звездой. Как-то видели скромное коммунистическое шествие, — по слякоти, с мокрыми флагами, — все больше подбитые жизнью, горбатые, да хромые, да кволые, много некрасивых женщин и несколько солидных мещан. Отправились посмотреть на дом, на квартиру, где втроем два года прожили, но швейцар уже был другой, прежний хозяин умер, в знакомых окнах были чужие занавески, и как-то ничего нельзя было сердцем узнать. Побывали в кинематографе, где давалась русская фильма, причем с особым шиком были поданы виноградины пота, катящиеся по блестящим лицам фабричных, — а фабрикант все курил сигару. И конечно, он ее повел к Александре Яковлевне.

Знакомство не совсем удалось. Чернышевская

встретила гостью со скорбной ласковостью, явно показывая, что опыт горя давно и крепко связывает их; а Елизавету Павловну больше всего интересовало, как та относится к стихам Федора и почему никто не пишет о них. «Можно вас поцеловать?» — спросила Чернышевская на прощание, уже привставая на цыпочки, — была на голову ниже Елизаветы Павловны, которая и склонилась к ней с какой-то невинной и радостной улыбкой, совершенно уничтожавшей смысл объятья. «Ничего, надо терпеть, — сказала Александра Яковлевна, выпуская их на лестницу и прикрывая подбородок краем пухового платка, в который куталась. — Надо терпеть, — я так научилась терпеть, что могла бы давать уроки терпения, но я думаю, вы тоже хорошо прошли эту школу».

«Знаешь, — сказала Елизавета Павловна, осторожно-легко сходя с лестницы и не оборачивая опущенной головы к сыну, — я, кажется, просто куплю гильзы и табак, а то так выходит дороговатенько», — и тотчас добавила тем же голосом: «Господи, как ее жалко». И точно, нельзя было Александру Яковлевну не пожалеть. Ее муж вот уже четвертый месяц содержался в приюте для ослабевших душой, в «желтоватом доме», как он

сам игриво выражался в минуты просвета. Еще в октябре Федор Константинович как-то и посетил его там. В разумно обставленной палате сидел пополневший, розовый, отлично выбритый и совершенно сумасшедший Александр Яковлевич, в резиновых туфлях и непромокаемом плаще с куколем. «Как, разве вы умерли?» — было первое, что он спросил — скорее недовольно, чем удивленно. Состоя «председателем общества борьбы с потусторонним», он все изобретал различные средства для непропускания призраков (врач, применяя новую систему «логического потворства», не препятствовал этому) и теперь, исходя, вероятно, из другой ее непроводности, испытывал резину, но, по-видимому, результаты до сих пор получались скорее отрицательные, потому что когда Федор Константинович хотел было взять для себя стул, стоявший в сторонке, Чернышевский раздраженно сказал: «Оставьте, вы же отлично видите, что там уже сидят двое», — и это «двое», и шуршащий, всплескивающий при каждом его движении плащ, и бессловесное присутствие служителя, точно это было свидание в тюрьме, и весь разговор больного показались Федору Константиновичу невыносимо карикатурным огрублением того

сложного, прозрачного, еще благородного, хотя и полубезумного, состояния души, в котором так недавно Александр Яковлевич общался с утраченным сыном. Тем ядрено-балагурным тоном, который он прежде приберегал для шуток — а теперь говорил всерьез, — он стал пространно сетовать, все почему-то по-немецки, на то, что люди-де тратятся на выдумывание зенитных орудий и воздушных отрав, а не заботятся вовсе о ведении другой, в миллион раз более важной борьбы. У Федора Константиновича была на окате виска запекшаяся ссадина — утром стукнулся о ребро парового отопления, второпях доставая из-под него закатившийся колпачок от пасты. Вдруг оборвав речь, Александр Яковлевич брезгливо и беспокойно указал пальцем на его висок. «Was haben Sie da?»[19] — спросил он, болезненно сморщась, — а затем нехорошо усмехнулся и, все больше сердясь и волнуясь, начал говорить, что его не проведешь, — сразу признал, мол, свежего самоубийцу. Служитель подошел к Федору Константиновичу и попросил его удалиться. И, идя через могильно-роскошный сад, мимо жирных клумб, где в блаженном успении цвели басисто-

---

[19] Примечания: 19
Что у вас там? *(нем.)*

багряные георгины, по направлению к скамейке, на которой его ждала Чернышевская, никогда не входившая к мужу, но целые дни проводившая в непосредственной близости от его жилья, озабоченная, бодрая, всегда с пакетами, — идя по этому пестрому гравию между миртовых, похожих на мебель, кустов и принимая встречных посетителей за параноиков, Федор Константинович тревожно думал о том, что несчастье Чернышевских является как бы издевательской вариацией на тему его собственного, пронзенного надеждой горя, — и лишь гораздо позднее он понял все изящество короллария и всю безупречную композиционную стройность, с которой включалось в его жизнь это побочное звучание.

За три дня до отъезда матери, в большом, хорошо знакомом русским берлинцам зале, принадлежащем обществу зубных врачей, судя по портретам маститых дантистов, глядящих со стен, состоялся открытый литературный вечер, в котором участвовал и Федор Константинович. Народу набралось мало, было холодно, у дверей покуривали всё те же примелькавшиеся представители местной русской интеллигенции, — и, как всегда, Федор Константинович, увидев то или иное знакомое, симпатичное лицо, устремлялся

к нему с искренним удовольствием, сменявшимся скукой после первого разгона беседы. К Елизавете Павловне присоединилась в первом ряду Чернышевская; и по тому, как мать изредка поворачивала то туда, то сюда голову, поправляя сзади прическу, Федор, витавший по залу, заключил, что ей малоинтересно общество соседки. Наконец начали. Сперва читал писатель с именем, в свое время печатавшийся во всех русских журналах, седой, бритый, чем-то похожий на удода старик, со слишком добрыми для литературы глазами; он прочел толково-бытовым говорком повесть из петербургской жизни накануне революции, с героиней, нюхавшей эфир, шикарными шпионами, шампанским, Распутиным и апокалиптически-апоплексическими закатами над Невой. После него некто Крон, пишущий под псевдонимом Ростислав Странный, порадовал нас длинным рассказом о романтическом приключении в городе стооком, под небесами чуждыми: ради красоты, эпитеты были поставлены позади существительных, глаголы тоже куда-то улетели, и почему-то раз десять повторялось слово «сторожко» («она сторожко улыбку роняла», «зацветали каштаны сторожко»). После перерыва густо пошел поэт: высокий юноша

с пуговичным лицом, другой, низенький, но с большим носом, барышня, пожилой в пенснэ, еще барышня, еще молодой, наконец — Кончеев, в отличие от победоносной чеканности прочих тихо и вяло пробормотавший свои стихи, но в них сама по себе жила такая музыка, в темном как будто стихе такая бездна смысла раскрывалась у ног, так верилось в звуки и так изумительно было, что вот, из тех же слов, которые нанизывались всеми, вдруг возникало, лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое-то непохожее на слова, не нуждающееся в словах, своеродное совершенство, что впервые за вечер рукоплескания были непритворны. Последним выступил Годунов-Чердынцев. Он прочел из сочиненных за лето стихотворений те, которые Елизавета Павловна так любила, — русское:

Березы желтые немеют в небе синем…
—

и берлинское, начинающееся строфой:

Здесь все так плоско, так непрочно,
так плохо сделана луна,
хотя из Гамбурга нарочно
она сюда привезена… —

и то, которое больше всего ее трогало, хотя она как-то не связывала его с памятью молодой женщины, давно умершей, которую Федор в шестнадцать лет любил:

Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
запомнишь – вон ласточку ту?

И ты отвечала: еще бы!
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь на лету…
До завтра, навеки, до гроба, —
однажды, на старом мосту…

Но было уже поздно, многие продвигались к выходу, какая-то дама одевалась спиной к эстраде, ему аплодировали жидко… Чернела на улице сырая ночь, с бешеным ветром: никогда, никогда не доберемся домой. Но все-таки трамвай пришел, и, повисая в проходе на ремне, над молчаливо сидящей у окна матерью, Федор Константинович с тяжелым отвращением думал о стихах, по сей день им написанных, о словах-щелях, об утечке поэзии, и в то же время с какой-то радостной,

гордой энергией, со страстным нетерпением уже искал создания чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе.

Накануне ее отъезда они вдвоем поздно засиделись в его комнате, она в кресле, легко и ловко (а ведь прежде вовсе не умела) штопала и подшивала его бедные вещи, а он, на диване, грызя ногти, читал толстую, потрепанную книгу; раньше, в юности, пропускал некоторые страницы, — «Анджело», «Путешествие в Арзрум», — но последнее время именно в них находил особенное наслаждение: только что попались слова: «Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой», как вдруг его что-то сильно и сладко кольнуло. Еще не понимая, он отложил книгу и слепыми пальцами полез в картонку с набитыми папиросами. В ту же минуту мать, не поднимая головы, сказала: «Что я сейчас вспомнила! Смешные двустишия о бабочках, которые ты с ним вместе сочинял, когда гуляли, — помнишь: „Надет у fraxini под шубой фрак синий“». — «Да, — ответил Федор, — некоторые были прямо эпические: „То не лист, дар Борея, то сидит arborea“». (Что это было! Самый первый экземпляр отец только

что привез из путешествия, найдя его во время переднего пути по Сибири, — еще даже не успел описать, — а в первый же день по приезде, в лешинском парке, в двух шагах от дома, вовсе не думая о бабочках, гуляя с женой, с детьми, бросая теннисный мяч фокстерьерам, наслаждаясь возвращением, нежной погодой, здоровьем и веселостью семьи, но бессознательно, опытным взглядом ловца замечая всякое попадавшееся на пути насекомое, он внезапно указал Федору концом трости на пухленького, рыжеватого, с волнистым вырезом крыльев, шелкопряда из рода листоподобных, спавшего на стебельке, под кустом; хотел было пройти мимо, — в этом роде виды друг на друга похожи, — но вдруг сам присел, наморщил лоб, осмотрел находку и вдруг сказал ярким голосом: «Well, I'm damned![20] Стоило так далеко таскаться». — «Я тебе всегда говорила», — смеясь вставила мать. Мохнатое, крошечное чудовище в его руке было как раз привезенная им новинка, — и где, в Петербургской губернии, фауна которой так хорошо исследована! Но, как часто бывает, разыгравшаяся сила совпадения на этом не остановилась, ее хватило

---

[20] Примечания: 20
Будь я проклят! *(англ.)*

еще на один перегон, — ибо через несколько дней выяснилось, что эта новая бабочка только что описана, по петербургским же экземплярам, одним из коллег отца, — и Федор всю ночь проплакал: опередили!)

И вот она собралась обратно в Париж. В ожидании поезда они долго стояли на узком дебаркадере, у подъемной машины для багажа, а на других линиях задерживались на минуту, торопливо хлопая дверьми, грустные городские поезда. Влетел парижский скорый. Мать села и тотчас высунулась из окна, улыбаясь. У соседнего добротного спального вагона, провожая какую-то простенькую старушку, стояла бледная, красноротая красавица, в черном шелковом пальто с высоким меховым воротом, и знаменитый летчик-акробат: все смотрели на него, на его кашнэ, на его спину, словно искали на ней крыльев.

«Хочу тебе кое-что предложить, — весело сказала мать на прощание. — У меня осталось около семидесяти марок, они мне совершенно не нужны, а тебе необходимо лучше питаться, не могу видеть, какой ты худенький. На, возьми». — «Avec joie»[21], — ответил он, зараз вообразив

---

[21] Примечания: 21
С радостью *(фр.)*.

годовой билет на посещение государственной библиотеки, молочный шоколад и корыстную молоденькую немку, которую иногда, в грубую минутку, все собирался себе подыскать.

Задумчивый, рассеянный, смутно мучимый мыслью, что матери он как бы не сказал самого главного, Федор Константинович вернулся к себе, разулся, отломил с обрывком серебра угол плитки, придвинул к себе раскрытую на диване книгу… «Жатва струилась, ожидая серпа». Опять этот божественный укол! А как звала, как **подсказывала** строка о Тереке («то-то был он ужасен!») или — еще точнее, еще ближе — о татарских женщинах: «Они сидели верхами, окутанные в чадры: видны были у них только глаза да каблуки».

Так он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона — и уже знал, чего именно этот звук от него требует. Спустя недели две после отъезда матери он ей написал про то, что замыслил, что замыслить ему помог прозрачный ритм «Арзрума», и она отвечала так, будто уже знала об этом. «Давно я не бывала так счастлива, как с тобой в Берлине, — писала она, — но смотри, это предприятие не из легких, я чувствую всей душой, что ты его осуществишь замечательно, но помни, что нужно много точных сведений и

очень мало семейной сентиментальности. Если тебе что нужно, я сообщу тебе все, что могу, но о специальных сведениях сам позаботься, ведь это главное, возьми все его книги, и книги Григория Ефимовича, и книги великого князя, и еще, и еще, ты, конечно, разберешься в этом, и непременно обратись к Крюгеру, Василию Германовичу, разыщи его, если он еще в Берлине, он с ним раз вместе ездил, помнится, а также к другим, ты лучше меня знаешь к кому, напиши к Авинову, к Верити, напиши к немцу, который до войны приезжал к нам, Бенгас? Бонгас? напиши в Штутгарт, в Лондон, в Тринг, всюду, débrouille-toi[22], ведь сама я ничего в этом не смыслю, и только звучат в ушах эти имена, а как я уверена, что ты справишься, мой милый». Но он еще ждал, — от задуманного труда веяло счастьем, он спешкой боялся это счастье испортить, да и сложная ответственность труда пугала его, он к нему не был еще готов. В течение всей весны продолжая тренировочный режим, он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, — у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме. Учась меткости слов и предельной чистоте их сочетания, он

[22] Примечания: 22
Поступай как считаешь нужным *(фр.)*.

доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его, — живым примером служило:

«Не приведи Бог видеть русский бунт,
бессмысленный и беспощадный».

Закаляя мускулы музы, он, как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами «Пугачева», выученными наизусть. Навстречу шла Каролина Шмидт, девушка сильно нарумяненная, вида скромного и смиренного, купившая кровать, на которой умер Шонинг. За груневальдским лесом курил трубку у своего окна похожий на Симеона Вырина смотритель, и так же стояли горшки с бальзамином. Лазоревый сарафан барышни-крестьянки мелькал среди ольховых кустов. Он находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосонья.

Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца. Он целовал горячую маленькую руку, принимая ее за другую, крупную руку, пахнувшую утренним калачом. Он помнил, что няню к ним взяли оттуда же, откуда была Арина Родионовна, — из-за Гатчины, с Суйды: это было в часе езды от их мест — и она тоже говорила

«эдак певком». Он слышал, как свежим летним утром, когда спускались к купальне, на дощатой стенке которой золотом переливалось отражение воды, отец с классическим пафосом повторял то, что считал прекраснейшим из всех когда-либо в мире написанных стихов: «Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль», и рыжим крылом да перламутром ниобея мелькала над скабиозами прибрежной лужайки, где в первых числах июня попадался изредка маленький «черный» аполлон.

Без отдыха, с упоением, он теперь (в Берлине с поправкой на тринадцать дней уже тоже было начало июня) по-настоящему готовился к работе, собирал материалы, читал до рассвета, изучал карты, писал письма, видался с нужными людьми. От прозы Пушкина он перешел к его жизни, так что вначале ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца. Ученые книги (со штемпелем берлинской библиотеки всегда на девяносто девятой странице), знакомые тома «Путешествия Натуралиста» в незнакомых черно-зеленых обложках лежали рядом со старыми русскими журналами, где он искал пушкинский отблеск. Там он однажды наткнулся на замечательные «Очерки прошлого» А. Н. Сухощокова,

в которых были, между прочим, две-три страницы, относящиеся к деду, Кириллу Ильичу (отец как-то говорил о них — с неудовольствием), и то, что мемуарист касался его в случайной связи с мыслями о Пушкине, теперь показалось как-то особенно значительным, даром что тот вывел Кирилла Ильича хватом и шелопаем.

«Говорят, — писал Сухощоков, — что человек, которому отрубили по бедро ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующие мышцы. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина. Есть нечто соблазнительное, как пропасть, в его роковой участи, да и сам он чувствовал, что с роком у него были и будут особые счеты. В дополнение к поэту, извлекающему поэзию из своего прошедшего, он еще находил ее в трагической мысли о будущем. Тройная формула человеческого бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность — была ему хорошо знакома. А как же ему хотелось жить! В уже упомянутом альбоме моей „академической“ тетки им было собственноручно записано стихотворение, которое до сих пор помню умом и глазами, так что вижу даже положение его на странице:

О, нет, мне жизнь не надоела,

Я жить хочу, я жить люблю.
Душа не вовсе охладела,
Утратя молодость свою.

Еще судьба меня согреет,
Романом гения упьюсь,
Мицкевич пусть еще созреет,
Кой-чем я сам еще займусь.

Ни один поэт, кажется, так часто, то шутя, то суеверно, то вдохновенно-серьезно, не вглядывался в грядущее. До сих пор у нас в Курской губернии живет, перевалив за сто лет, старик, которого помню уже пожилым человеком, придурковатым и недобрым, — а Пушкина с нами нет. Между тем, в течение долгой жизни моей встречаясь с замечательными талантами и переживая замечательные события, я часто задумывался над тем, как отнесся бы он к тому, к этому: ведь он мог бы увидеть освобождение крестьян, мог бы прочитать „Анну Каренину“!.. Возвращаясь теперь к этим моим мечтаниям, вспоминаю, что в юности однажды мне даже было нечто вроде видения. Этот психологический эпизод сопряжен с воспоминанием о лице, здравствующем поныне, которое назову Ч., — да не

посетует оно на меня за это оживление далекого прошлого. Мы были знакомы домами, дед мой с его отцом водили некогда дружбу. Будучи в 36 году за границей, этот Ч., тогда совсем юноша (ему и семнадцати не было), повздорил с семьей, тем ускорив, говорят, кончину своего батюшки, героя Отечественной войны, и в компании с какими-то гамбургскими купцами преспокойно уплыл в Бостон, а оттуда попал в Техас, где успешно занимался скотоводством. Так прошло лет двадцать. Нажитое состояние он проиграл в экартэ на миссисипском кильботе, отыгрался в притонах Нового Орлеана, снова все просадил и после одной из тех безобразно продолжительных, громких, дымных дуэлей в закрытом помещении, бывших тогда фешенебельными в Луизиане, — да и многих других приключений он заскучал по России, где его, кстати, ждала вотчина, и с той же беспечной легкостью, с какой уезжал, вернулся в Европу. Как-то в зимний день, в 1858 году, он нагрянул к нам на Мойку; отец был в отъезде, гостя принимала молодежь. Глядя на этого заморского щеголя в черной мягкой шляпе и черной одежде, среди романтического мрака коей особенно ослепительно выделялись шелковая, с пышными сборками, рубашка и сине-сиренево-розовый жи-

лет с алмазными пуговицами, мы с братом едва могли сдержать смех и тут же решили воспользоваться тем, что за все эти годы он ровно ничего не слыхал о родине, точно она куда-то провалилась, так что теперь, сорокалетним Рип-ван-Винкелем проснувшись в изменившемся Петербурге, Ч. был жаден до всяческих сведений, которыми мы и принялись обильно снабжать его, причем врали безбожно. На вопрос, например, жив ли Пушкин и что пишет, я кощунственно отвечал, что „как же, на днях тиснул новую поэму“. В тот же вечер мы повели нашего гостя в театр. Вышло, впрочем, не совсем удачно. Вместо того чтобы его попотчевать новой русской комедией, мы показали ему „Отелло“ со знаменитым чернокожим трагиком Ольдриджем в главной роли. Нашего плантатора сперва как бы рассмешило появление настоящего негра на сцене. К дивной мощи его игры он остался равнодушен и больше занимался разглядыванием публики, особливо наших петербургских дам (на одной из которых вскоре после того женился), поглощенных в ту минуту завистью к Дездемоне.

„Посмотрите, кто с нами рядом, — вдруг обратился вполголоса мой братец к Ч. — Да вот, справа от нас“.

В соседней ложе сидел старик… Небольшого роста, в поношенном фраке, желтовато-смуглый, с растрепанными пепельными баками и проседью в жидких, взъерошенных волосах, он преоригинально наслаждался игрою африканца: толстые губы вздрагивали, ноздри были раздуты, при иных пассажах он даже подскакивал и стучал от удовольствия по барьеру, сверкая перстнями.

„Кто же это?“ — спросил Ч.

„Как, не узнаете? Вглядитесь хорошенько“.

„Не узнаю“.

Тогда мой брат сделал большие глаза и шепнул:

„Да ведь это Пушкин!“

Ч. поглядел… и через минуту заинтересовался чем-то другим. Мне теперь смешно вспомнить, какое тогда на меня нашло странное настроение: шалость, как это иной раз случается, обернулась не тем боком, и легкомысленно вызванный дух не хотел исчезнуть; я не в силах был оторваться от соседней ложи, я смотрел на эти резкие морщины, на широкий нос, на большие уши… по спине пробегали мурашки, вся Отеллова ревность не могла меня отвлечь. Что если это и впрямь Пушкин, грезилось мне, Пушкин в шестьдесят лет, Пушкин, пощаженный пулей рокового хлыща,

Пушкин, вступивший в роскошную осень своего гения… Вот это он, вот эта желтая рука, сжимающая маленький дамский бинокль, написала „Анчар“, „Графа Нулина“, „Египетские Ночи“… Действие кончилось; грянули рукоплескания. Седой Пушкин порывисто встал и, все еще улыбаясь, со светлым блеском в молодых глазах, быстро вышел из ложи».

Сухощоков напрасно рисует моего деда пустоголовым удальцом. Интересы последнего находились просто в другой плоскости, чем мысленный быт молодого петербургского литератора-дилетанта, каким был тогда наш мемуарист. Если Кирилл Ильич и кудесил в молодости, то, женившись, не только остепенился, но поступил на государственную службу, заодно удвоил удачными операциями унаследованное состояние, затем, удалясь в свою деревню, выказал необыкновенное умение в хозяйстве, изобрел мимоходом новый сорт яблок, оставил любопытную «Записку» (плод зимних досугов) о «Равенстве перед законом в царстве животных» да предложение остроумной реформы под модным тогда замысловатым заглавием «Сновидения Египетского Бюрократа», а уже стариком принял важный торгово-дипломатический пост в Лон-

доне. Он был добр, смел, правдив, с причудами и страстями, — чего еще надобно? В семье осталось предание, что, заклявшись играть, он физически не мог пребывать в комнате, где лежала колода карт. Старинный кольт, хорошо послуживший ему, и медальон с портретом таинственной женщины притягивали неизъяснимо мечты моего отрочества. Он мирно завершил жизнь, сохранившую до конца свежесть своего грозового начала. В 1883 году, воротясь в Россию, уже не луизианским бретером, а российским сановником, он, в июльский день на кожаном диване, в маленькой, синей угловой комнате, где потом я держал собрание моих бабочек, без мучений скончался, в предсмертном бреду все говоря о каких-то огнях и музыке на какой-то большой реке.

Мой отец родился в 1860 году. Любовь к бабочкам ему привил немец-гувернер (кстати: куда девались нынче эти учившие русских детей природе чудаки, — зеленый сачок, жестянка на перевязи, уколотая бабочками шляпа, длинный ученый нос, невинные глаза за очками, — где они все, где их скелетики, — или это была особая порода немцев, на русский вывод, или я плохо смотрю?). Рано, в 1876 году, окончив в Петербурге гимназию, он университетское образование

получил в Англии, в Кембридже, где занимался биологией под руководством профессора Брайта. Первое свое путешествие, кругосветное, он совершил еще до смерти своего отца, и с тех пор до 1918 года вся его жизнь состоит из странствий и писания ученых трудов. Главные эти труды суть: «Lepidoptera Asiatica»[23] (8 томов, выпусками с 1890 года по 1917 год), «Чешуекрылые Российской Империи» (вышли первые 4 тома из предполагавшихся 6-ти, 1912—1916 гг.) и, наиболее известные широкой публике, «Путешествия Натуралиста» (7 томов, 1892—1912 гг.). Эти труды были единогласно признаны классическими, и еще в молодые годы имя его заняло одно из первых мест в изучении состава русско-азиатской фауны, наряду с именами зачинателей, Фишера-фон-Вальдгейма, Менетриэ, Эверсмана.

Он работал в тесной связи со своими замечательными русскими современниками. Холодковский называет его «конквистадором русской энтомологии». Он был сотрудником Шарля Обертюра, вел. кн. Николая Михайловича, Лича, Зайтца. В специальных журналах рассеяны сотни его статей, из коих первая — «Об особенностях

---

[23] Примечания: 23
«Чешуекрылые Азии» *(лат.)*.

появления некоторых бабочек в Петербургской губернии» (Horae Soc. Ent. Ross.[24]) относится к 1877 году, а последняя — «Austautia simonoides n. sp., a Geometrid moth mimicking a small Parnassius» (Trans. Ent. Soc. London) — к 1916-му. Он едко и веско полемизировал со Штаудингером, автором пресловутого «Katalog». Он был вице-президентом Русского Энтомологического Общества, действительным членом Московского Об-ва Испытателей Природы, членом Императорского Русского Географического О-ва, почетным членом множества ученых обществ за границей.

Между 1885-ым годом и 1918-ым он обошел пространство невероятное, производя съемки пути в пятиверстном масштабе на протяжении многих тысяч верст и собирая поразительные коллекции. За эти годы он совершил восемь крупных экспедиций, длившихся в общей сложности восемнадцать лет; но между ними было еще множество мелких путешествий, «диверсий», как он их называл, причем этой мелочью почитал не только поездки в наименее исследованные европейские страны, но и то кругосветное путешествие, которое проделал в молодости. Взявшись серьез-

---

[24] Примечания: 24

«Временник Российского энтомологического общества» *(лат., сокр.).*

но за Азию, он исследовал Восточную Сибирь, Алтай, Фергану, Памир, Западный Китай, «острова Гобийского моря и его берега», Монголию, «неисправимый материк» Тибета — и в точных, полновесных словах описал свои странствия.

Такова общая схема жизни моего отца, выписанная из энциклопедии. Она еще не поет, но живой голос я в ней уже слышу. Остается сказать, что в 1898 году, имея 38 лет от роду, он женился на Елизавете Павловне Вежиной, двадцатилетней дочке известного государственного деятеля, что у него было от нее двое детей, что в промежутках между его путешествиями — —

Мучительный, едва выразимый словами, чем-то кощунственный вопрос: хорошо ли ей жилось с ним, врозь и вместе? Затронуть ли этот внутренний мир, или ограничиться лишь описанием дорог — arida quaedam viarum descripto?[25] «Дорогая мама, у меня уже есть к тебе большая просьба. Сегодня 8-ое июля, его день рождения. В другой день я бы не решился об этом обращаться к тебе. Напиши мне что-нибудь о нем и себе. Не такое, что могу найти в нашей общей памяти, а такое, что ты одна перечувствовала и сохранила». И вот

---

[25] Примечания: 25
Сухое описание неких путей *(искаж. лат.).*

ответный отрывок: «…представь себе — свадебное путешествие, Пиренеи, дивное блаженство от всего, от солнца, от ручьев, от цветов, от снежных вершин, даже от мух в отелях, — и оттого что мы каждое мгновение вместе. И вот, как-то утром, у меня разболелась, что ли, голова, или было уж чересчур для меня жарко, он сказал, что до завтрака выйдет на полчаса прогуляться. Почему-то запомнилось, что я сидела на балконе отеля (кругом тишина, горы, чудные скалы Гаварни) и в первый раз читала книгу не для девиц, «Une Vie»[26] Мопассана, мне тогда она очень понравилась, помню. Смотрю на часики, вижу, уже пора завтракать, прошло больше часа с тех пор, как он ушел. Жду. Сперва немножко сержусь, потом начинаю тревожиться. Подают на террасе завтрак, не могу ничего съесть. Выхожу на лужайку перед отелем, возвращаюсь к себе, опять выхожу. Еще через час я уже была в неописуемом состоянии ужаса, волнения, Бог знает чего. Я путешествовала впервые, была неопытна и пуглива, а тут еще «Une Vie»… Я решила, что он бросил меня, самые глупые и страшные мысли лезли в голову, день проходил, мне казалось, что служащие смотрят на меня с

[26] Примечания: 26
«Жизнь» *(фр.)*.

каким-то злорадством, — ах, не могу тебе описать, что это было! Я даже начала совать платья в чемоданы, чтобы уехать немедленно в Россию, а потом решила вдруг, что он умер, выбежала, начала что-то безумное лепетать людям, посылать в полицию. Вдруг вижу, он идет по лужайке, лицо веселое, каким я его еще не видала, хотя все время был весел, идет, машет мне как ни в чем не бывало, светлые штаны в мокрых зеленых пятнах, панама исчезла, пиджак на боку порван… Я думаю, ты уже понимаешь, что случилось. Слава Богу, по крайней мере, что он ее наконец все-таки поймал, — в платок, на отвесной скале, — а то заночевал бы в горах, как он мне и объяснил преспокойно… Но теперь я хочу тебе рассказать другое, из немного более позднего времени, когда я уже знала, что такое всамделишная разлука. Вы были тогда совсем маленькими, тебе шел третий годок, ты не можешь этого помнить. Он весной уехал в Ташкент. Оттуда первого июня должен был отправиться в путешествие и отсутствовать не меньше двух лет. Это уже был второй большой отъезд за наше с ним время. Я теперь часто думаю, что если сложить все те годы, которые он со дня нашей свадьбы провел без меня, то выйдет в общем не больше его теперешнего отсутствия.

И еще я думаю о том, что мне тогда казалось иногда, что я несчастна, но теперь я знаю, что я была всегда счастлива, что это несчастие было одной из красок счастья. Словом, я не знаю, что со мной случилось в ту весну, я всегда была как шалая, когда он уезжал, но тогда нашло что-то прямо неприличное. Я вдруг решила, что догоню его и поеду с ним хоть до осени. Я тайком от всех накупила тысячу вещей, я абсолютно не знала, что нужно, но мне казалось, что закупаю все очень хорошо и правильно. Я помню бинокль, и альпеншток, и походную койку, и шлем от солнца, и заячий тулупчик из „Капитанской Дочки“, и перламутровый револьверчик, и какую-то брезентовую махину, которой я боялась, и какую-то сложную фляжку, которую не могла развинтить. Одним словом, вспомни снаряжение Tartarin de Tarascon! Как я могла вас маленьких оставить, как я прощалась с вами, — это в каком-то тумане, и я уж не помню, как выскользнула из-под надзора дяди Олега, как добралась до вокзала. Но мне было и страшно и весело, я себя чувствовала молодцом, и на станциях все смотрели на мой английский дорожный костюм с короткой

(entendons-nous[27]: по щиколотку) клетчатой юбкой, с биноклем через одно плечо и сакошкой через другое. Такой я выскочила из тарантаса в поселке за Ташкентом, когда увидела, при ярком солнце, никогда не забуду, в ста шагах от дороги, твоего отца: он стоял, поставив ногу на белый камень, а локоть на изгородь, и разговаривал с двумя казаками. Я побежала по щебню, крича и смеясь, он медленно обернулся, и когда я вдруг как дура остановилась перед ним, то всю меня осмотрел, прищурился и сказал ужасным неожиданным голосом всего два слова: марш домой. И я сразу повернулась и пошла к своей повозке, и села, и видела, как он совершенно так же опять поставил ногу и облокотился, продолжая разговор с казаками. И вот я ехала назад, в оцепенении, каменная, и только где-то далеко внутри меня шли уже приготовления к буре слез. Ну а через версты три (и тут в строке письма вдруг пробивалась улыбка) он меня догнал, в облаке пыли на белом коне, и уж простились мы с ним совсем иначе, так что потом я ехала обратно в Петербург почти такая же бодрая, как уезжала, только все волновалась, что с вами, как вы, но ничего, были

---

[27] Примечания: 27
Отметим *(фр.)*.

здоровеньки».

Нет, мне почему-то кажется, что я все-таки помню все это, может быть потому, что впоследствии о нем часто говорилось. Вообще весь наш быт был проникнут рассказами об отце, тревогой о нем, ожиданием его возвращения, скрытой грустью проводов и дикой радостью встреч. Отсвет его страсти лежал на всех нас, по-разному окрашенный, по-разному воспринимаемый, но постоянный и привычный. Его домовый музей, где стояли рядами узкие дубовые шкапы с выдвижными стеклянными ящиками, полными распятых бабочек (остальное — растения, жуков, птиц, грызунов и змей — он отдавал на изучение коллегам), где пахло так, как пахнет, должно быть, в раю, и где у столов вдоль цельных окон работали препараторы, был как бы таинственным срединным очагом, освещавшим снутри весь наш петербургский дом, — и только гул Петропавловской пушки мог вторгаться в его тишину. Наши родственники, не энтомологические друзья, прислуга, смиренно-обидчивая Ивонна Ивановна говорили о бабочках не как о чем-то действительно существующем, а как о некоем атрибуте моего отца, существующем, только поскольку он сам существует, или как о недуге,

с которым все давно привыкли считаться, так что энтомология у нас превращалась в какую-то обиходную галлюцинацию, вроде домашнего, безвредного привидения, которое, никого уже не удивляя, каждый вечер садится у камелька. И вместе с тем никто среди наших несметных дядьев и теток не только не интересовался его наукой, но вряд ли даже прочел тот его общедоступный труд, который десятки тысяч интеллигентных русских людей читали и перечитывали. Я-то сам и Таня с самого раннего детства оценили отца, и он нам казался еще волшебнее, чем, скажем, Гаральд, о котором он же рассказывал нам, Гаральд, который дрался со львами на Цареградской арене, преследовал разбойников в Сирии, купался в Иордане, брал штурмом восемьдесят крепостей в Африке, «Синей Стране», спасал исландцев от голода, — и был славен от Норвегии до Сицилии, от Йоркшира до Новгорода. Затем, когда и я подпал под обаяние бабочек, в душе у меня что-то раскрылось, и я переживал все путешествия отца, точно их сам совершал, видел во сне вьющуюся дорогу, караван, разноцветные горы, завидовал отцу безумно, мучительно, до слез — горячих и бурных, которые вдруг вырывались у меня за столом, при обсуждении писем от него с дороги

или даже при простом упоминании далекой-далекой местности. Каждый год с приближением весны, перед переездом в деревню я чувствовал в себе бедную частицу того, что испытал бы перед отбытием в Тибет. На Невском проспекте, в последних числах марта, когда разлив торцов синел от сырости и солнца, высоко пролетала над экипажами вдоль фасадов домов, мимо городской думы, липок сквера, статуи Екатерины, первая желтая бабочка. В классе было отворено большое окно, воробьи садились на подоконник, учителя пропускали уроки, оставляя вместо них как бы квадраты голубого неба, с футбольным мячом, падавшим из голубизны. Почему-то по географии у меня был всегда дурной балл, а ведь с каким выражением наш географ, случалось, упоминал имя моего отца, как при этом обращались ко мне любопытные глаза моих товарищей, как у меня самого от стесненного восторга и боязни восторг выказать приливала и отливала кровь, — и ныне, когда я думаю о том, как мало знаю, как легко могу совершить где-нибудь дурацкий промах, описывая исследования отца, я вспоминаю себе на пользу и утешение его смешнейший смешок, когда, посмотрев мимоходом книжонку, рекомендованную нам в школе тем же геогра-

фом, нашел очаровательный ляпсус, сделанный компиляторшей (некой госпожой Лялиной), которая, невинно обрабатывая Пржевальского для среднеучебных заведений, приняла, видимо, солдатскую прямоту слога в одном из его писем за орнитологическую деталь: «Жители Пекина льют все помои на улицу, и здесь постоянно можно видеть, идя по улице, сидящих орлов, то справа, то слева».

В начале апреля, открывая охоту, члены Русского Энтомологического Общества по традиции отправлялись за Черную Речку, где, в березовой роще, еще голой и мокрой, еще в проплешинах ноздреватого снега, водилась на стволах, плашмя прижимаясь к бересте прозрачными слабыми крыльцами, излюбленная нами редкость, специальность губернии. Раза два они брали с собой и меня. Среди этих пожилых, семейных людей, сосредоточенно и осторожно колдующих в апрельском лесочке, был и старый театральный критик, и врач-гинеколог, и профессор международного права, и генерал, — я почему-то особенно ясно запомнил фигуру этого генерала (Х. В. Барановского — в нем было что-то пасхальное), низко согнувшего толстую спину, одну руку за нее заложившего, рядом с фигурой отца, как-то легко,

по-восточному, присевшего на корточки, — оба со вниманием рассматривают вырытую совком горсточку рыжей земли, — и до сих пор меня занимает мысль, что думали обо всем этом ожидавшие на дороге кучера.

Случалось, летним утром вплывала в нашу классную бабушка, Ольга Ивановна Вежина, полная, свежая, в митенках и кружевах: «Bonjour, les enfants», — выпевала она звучно, и затем, делая сильное ударение на предлогах, сообщала: «Je viens de voir *dans* le jardin, *près* du cèdre, *sur* une rose un papillon toute beauté: il était bleu, vert, pourpre, doré, — et grand comme ça»[28]. «Живо бери рампетку, — продолжала она, обращаясь ко мне, — и ступай в сад. Может, еще застанешь», — и уплывала, совершенно не поняв, что попадись мне такое сказочное насекомое (даже не стоило гадать, какую садовую банальность так украсило ее воображение), то я бы умер от разрыва сердца. Случалось, француженка наша, желая мне сделать особое удовольствие, выбирала мне для выучивания наизусть басню Флориана о столь же неестественно нарядном пти-метре мотыль-

[28] Примечания: 28

Доброе утро, дети... Я только что видела в саду, возле кедра, на розе необычайно красивую бабочку: синюю, зеленую, золотистую — и вот такую огромную *(фр.)*.

ке. Случалось, какая-нибудь тетка мне дарила книгу Фабра, к популярным трудам которого, полным болтовни, неточных наблюдений и прямых ошибок, отец относился с пренебрежением. Помню еще: хватился я однажды сачка, вышел искать его на веранду и встретил откуда-то возвращавшегося с ним на плече, раскрасневшегося, с ласковой и лукавой усмешкой на малиновых губах, денщика моего дяди: «Ну уж и наловил я вам», — сообщил он довольным голосом, как-то свалив на пол сачок, сетка которого была поближе к обручу перехвачена какой-то веревочкой, так что получился мешок, в котором кишела и шуршала всякая живность, — и Боже мой, что тут была за дрянь: штук тридцать кузнечиков, головка ромашки, две стрекозы, колосья, песок, обитая до неузнаваемости капустница да еще подосиновый гриб, замеченный по пути и на всякий случай прибавленный. Русский простолюдин знает и любит родную природу. Сколько насмешек, сколько предположений и вопросов мне доводилось слышать, когда, превозмогая неловкость, я шел через деревню со своей сеткой! «Ну это что, — говорил отец, — видел бы ты физиономии китайцев, когда я однажды коллекционировал на какой-то священной горе, или

как на меня посмотрела передовая учительница в городе Верном, когда я объяснил ей, чем занят в овраге».

Как описать блаженство наших прогулок с отцом по лесам, полям, торфяным болотам, или постоянную летнюю мысль о нем, если был в отъезде, вечное мечтание сделать какое-нибудь открытие, встретить его этим открытием, — как описать чувство, испытываемое мной, когда он мне показывал все те места, где сам в детстве ловил то-то и то-то, — бревно полусгнившего мостика, где в 71-ом поймал павлиний глаз, спуск дороги к реке, на котором однажды упал на колени, плача и молясь: промахнулся, и навсегда улетела! А что за прелесть была в его речи, в какой-то особой плавности и стройности слога, когда он говорил о своем предмете, какая ласковая точность в движении пальцев, вертящих винт расправилки или микроскопа, какой поистине волшебный мир открывался в его уроках! Да, я знаю, что так не следует писать, — на этих возгласах вглубь не уедешь, — но мое перо еще не привыкло следовать очертаниям его образа, мне самому противны эти вспомогательные завитки. О, не смотри на меня, мое детство, этими большими, испуганными глазами.

Сладость уроков! В теплый вечер он водил меня на прудок, наблюдать, как осиновый бражник маячит над самой водой, окунает в нее кончик тела. Он показывал мне препарирование генитальной арматуры для определения видов, по внешности неразличимых. Он с особенной улыбкой обращал внимание мое на черных бабочек в нашем парке, с таинственной и грациозной неожиданностью появлявшихся только в четные года. Он мешал для меня патоку с пивом, чтобы в страшно холодную, страшно дождливую осеннюю ночь ловить у смазанных стволов, блестевших при свете керосиновой лампы, множество больших, нырявших, безмолвно спешивших на приманку ночниц. Он то согревал, то охлаждал золотые куколки моих крапивниц, чтобы я мог получать из них корсиканских, полярных и вовсе необыкновенных, точно испачканных в смоле, с приставшим шелковым пушком. Он учил меня, как разобрать муравейник, чтобы найти гусеницу голубянки, там заключившую с жителями варварский союз, и я видел, как, жадно щекоча сяжками один из сегментов ее неповоротливого, слизнеподобного тельца, муравей заставлял ее выделить каплю пьяного сока, тут же поглощаемую им, — а за то предоставлял ей в пищу свои же личинки, так,

как если б коровы нам давали шартрез, а мы — им на съедение младенцев. Но сильная гусеница одного экзотического вида до этого обмена не снисходит, запросто пожирая муравьиных детей и затем обращаясь в непроницаемую куколку, — которую наконец, к сроку вылупления, муравьи (эти недоучки опыта) окружают, выжидая появления беспомощно сморщенной бабочки, чтобы броситься на нее; бросаются, — а все-таки она не гибнет: «Никогда я так не смеялся, — говорил отец, — как когда убедился, что ее снабдила природа клейким составом, от которого слипались усики и лапки рьяных муравьев, теперь уже валявшихся и корчившихся вокруг нее, пока у нее самой, равнодушной и неуязвимой, крепли и сохли крылья».

Он рассказывал о запахах бабочек — мускусных, ванильных; о голосах бабочек: о пронзительном звуке, издаваемом чудовищной гусеницей малайского сумеречника, усовершенствовавшей мышиный писк нашей адамовой головы; о маленьком звучном тимпане некоторых арктид; о хитрой бабочке в бразильском лесу, подражающей свиристу одной тамошней птички. Он рассказывал о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая не объяснима

борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), излишне изысканна для обмана случайных врагов, пернатых, чешуйчатых и прочих (малоразборчивых, да и не столь уж до бабочек лакомых), и словно придумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека (догадка, которая могла бы далеко увести эволюциониста, наблюдавшего питающихся бабочками обезьян); он рассказывал об этих магических масках мимикрии: о громадной ночнице, в состоянии покоя принимающей образ глядящей на вас змеи; об одной тропической пяденице, окрашенной в точное подобие определенного вида денницы, бесконечно от нее отдаленной в системе природы, причем ради смеха иллюзия оранжевого брюшка, имеющегося у одной, складывается у другой из оранжевых пахов нижних крыльев; и о своеобразном гареме знаменитого африканского кавалера, самка которого летает в нескольких мимических разновидностях, цветом, формой и даже полетом подражающих бабочкам других пород (будто бы несъедобным), являющимся моделью и для множества других подражательниц. Он рассказывал о миграции, о том, как движется по синеве длинное облако, состоящее из миллионов белянок, равнодушное

к направлению ветра, всегда на одном и том же уровне над землей, мягко и плавно поднимаясь через холмы и опять погружаясь в долины, случайно встречаясь, быть может, с облаком других бабочек, желтых, просачиваясь сквозь него без задержки, не замарав белизны, — и дальше плывя, а к ночи садясь на деревья, которые до утра стоят как осыпанные снегом, — и снова снимаясь, чтобы продолжить путь, — куда? зачем? природой еще не досказано — или уже забыто. «Наша репейница, — рассказывал он, — „крашеная дама“ англичан, „красавица“ французов, в отличие от родственных ей видов, не зимует в Европе, а рождается в африканской степи; там, на заре, удачливый путник может услышать, как вся степь, блистая в первых лучах, трещит и хрустит от несчетного количества лопающихся хризалид». Оттуда без промедления она пускается в северный путь, ранней весной достигая берегов Европы, вдруг на день, на два оживляя крымские сады и террасы Ривьеры; не задерживаясь, но всюду оставляя особей на летний развод, поднимается дальше на север и к концу мая, уже одиночками, достигает Шотландии, Гельголанда, наших мест, а там и крайнего севера земли: ее ловили в Исландии! Странным, ни на что не

похожим полетом, бледная, едва узнаваемая, обезумелая бабочка, избрав сухую прогалину, «колесит» между лешинских елок, а к концу лета, на чертополохе, на астрах, уже наслаждается жизнью ее прелестное, розоватое потомство. «Самое трогательное, — добавлял отец, — это то, что в первые холодные дни наблюдается обратное явление, отлив: бабочка стремится на юг, на зимовку, но, разумеется, гибнет, не долетев до тепла».

Одновременно с англичанином Tutt, в швейцарских горах наблюдавшим то же, что и он на Памире, мой отец открыл истинную природу роговистого образования, появляющегося под концом брюшка у оплодотворенных самок аполлонов, выяснив, что это супруг, работая парой шпадлевидных отростков, налагает на супругу лепной пояс верности собственной выделки, получающийся другим у каждого из видов этого рода, то лодочкой, то улиткой, то — как у редчайшего темно-пепельного orpheus Godunov — наподобие маленькой лиры. И как frontispiece к моему теперешнему труду мне почему-то хотелось бы выставить именно эту бабочку, — ах, как он говорил о ней, как вынимал из шести плотных треугольных конвертов шесть привезенных эк-

земпляров, приближал к брюшку единственной самочки лупу, вставленную в глаз, — и как набожно его препаратор размачивал сухие, лоснистые, тесно сложенные крылья, чтобы потом гладко пронзить булавкой грудку бабочки, воткнуть ее в пробковую щель и широкими полосками полупрозрачной бумаги плоско закрепить на дощечках как-то откровенно-беззащитно-изящно распахнутую красоту, да подложить под брюшко ватку, да выправить черные сяжки, — чтобы она так высохла навеки. Навеки? В берлинском музее многочисленные бабочки отцовского улова так же свежи сегодня, как были в восьмидесятых, девяностых годах. Бабочки из собрания Линнея хранятся в Лондоне с восемнадцатого века. В пражском музее есть тот самый экземпляр популярной бабочки-атлас, которым любовалась Екатерина Великая. Отчего же мне стало так грустно?

Его поимки, наблюдения, звук голоса в ученых словах, все это, думается мне, я сберегу. Но это так еще мало. Мне хотелось бы с такой же относительной вечностью удержать то, что, быть может, я всего более любил в нем: его живую мужественность, непреклонность и независимость его, холод и жар его личности, власть над всем,

за что он ни брался. Точно играючи, точно желая мимоходом запечатлеть свою силу на всем, он, там и сям выбирая предмет из области вне энтомологии, оставил след почти во всех отраслях естествоведения: есть только одно растение, описанное им, из всех им собранных, но это зато — замечательный вид березы; одна птица — дивнейший фазан; одна летучая мышь — но самая крупная в мире. И во всех концах природы бесконечное число раз отзывается наша фамилия, ибо другие натуралисты именем его называли кто паука, кто рододендрон, кто горный хребет, — последнее, кстати сказать, его сердило: «Выяснить и сохранить давнее туземное название перевала, — писал он, — всегда и научнее и благороднее, чем нахлобучить на него имя доброго знакомого».

Мне нравилась, — я только теперь понимаю, как это нравилось мне, — та особая вольная сноровка, которая появлялась у него при обращении с лошадью, с собакой, с ружьем, птицей или крестьянским мальчиком с вершковой занозой в спине, — к нему вечно водили раненых, покалеченных, даже немощных, даже беременных баб, воспринимая, должно быть, его таинственное занятие как знахарство. Мне нравилось то, что в отличие от большинства нерусских путеше-

ственников, например Свен Гедина, он никогда не менял своей одежды на китайскую, когда странствовал; вообще держался независимо; был до крайности суров и решителен в своих отношениях с туземцами, никаких не давая поблажек мандаринам и ламам; на стоянках упражнялся в стрельбе, что служило превосходным средством против всяких приставаний. Этнография не интересовала его вовсе, что некоторых географов весьма почему-то раздражало, а большой приятель его, ориенталист Кривцов, чуть ли не плача укорял его: «Хоть бы ты одну свадебную песенку привез, Константин Кириллович, хоть бы одежку какую изобразил». Был один казанский профессор, который особенно нападал на него, исходя из каких-то гуманитарно-либеральных предпосылок, обличая его в научном аристократизме, в надменном презрении к Человеку, в невнимании к интересам читателя, в опасном чудачестве, — и еще во многом другом. А как-то, на международном банкете в Лондоне (и этот эпизод мне нравится всего больше), Свен Гедин, сидевший с моим отцом рядом, спросил его, как это так случилось, что неслыханно свободно путешествуя по запретным местам Тибета, в непосредственной близости Лхассы, он не осмотрел ее, на что отец

отвечал, что ему не хотелось пожертвовать ни одним часом охоты ради посещения еще одного вонючего городка (one more filthy little town), — и я так ясно вижу, как он, должно быть, прищурился при этом.

Он был наделен ровным характером, выдержкой, сильной волей, ярким юмором; когда же он сердился, гнев его был как внезапно ударивший мороз (бабушка, за его спиной, говорила, что: «Все часы в доме остановились»), и я хорошо помню эти внезапные молчания за столом, и сразу появлявшееся какое-то рассеянное выражение на лице у матери (недоброжелательницы из нашей родни уверяли, что она «трепещет перед Костей»), и как в конце стола иная из гувернанток поспешно прикрывала ладошкой зазвеневший было стакан. Причиной его гнева мог быть чей-нибудь промах, просчет управляющего (отец хорошо разбирался в хозяйстве), легкомысленное суждение о близком ему человеке, политическая пошлость в базарно-патриотическом духе, развиваемая незадачливым гостем, и наконец — какой-нибудь мой проступок. Он, перебивший на своем веку тьму-тьмущую птиц, он, привезший однажды только что женившемуся ботанику Бергу целиком **весь** растительный покров горной

разноцветной лужайки величиною с площадь комнаты (я его и представил себе так — свернутым в ящике, как персидский ковер), найденный где-то на страшной высоте, среди голых скал и снегов, — он не мог мне простить лешинского воробья, зря подстреленного из монте-кристо, или шашкой изрубленную мною осинку на берегу пруда. Он не терпел мешканья, неуверенности, мигающих глаз лжи, не терпел ничего приторного и притворного, — и я уверен, что уличи он меня в физической трусости, то меня бы он проклял.

Я еще не все сказал; я подхожу к самому, может быть, главному. В моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы было что-то, трудно передаваемое словами, дымка, тайна, загадочная недоговоренность, которая чувствовалась мной то больше, то меньше. Это было так, словно этот настоящий, очень настоящий человек, был овеян чем-то, еще неизвестным, но что, может быть, было в нем самым-самым настоящим. Оно не имело прямого отношения ни к нам, ни к моей матери, ни к внешности жизни, ни даже к бабочкам (ближе всего к ним, пожалуй); это была и не задумчивость, и не печаль, — и нет у меня способа объяснить то впечатление, которое производило на меня его лицо, когда я извне подсматривал,

сквозь окно кабинета, как, забыв вдруг работу (я в себе чувствовал, как он ее забыл, — словно провалилось или затихло что-то), слегка отвернув большую, умную голову от письменного стола и подперев ее кулаком, так что от щеки к виску поднималась широкая складка, он сидел с минуту неподвижно. Мне иногда кажется теперь, что, как знать, может быть, удаляясь в свои путешествия, он не столько чего-то искал, сколько бежал от чего-то, а затем, возвратившись, понимал, что оно все еще с ним, в нем, неизбывное, неисчерпаемое. Тайне его я не могу подыскать имени, но только знаю, что оттого-то и получалось то особое — и не радостное, и не угрюмое, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств — одиночество, в которое ни мать моя, ни все энтомологи мира не были вхожи. И странно: может быть, наш усадебный сторож, корявый старик, дважды опаленный ночной молнией, единственный из людей нашего деревенского окружения научившийся без помощи отца (научившего этому целый полк азиатских охотников) поймать и убить бабочку, не обратив ее в кашу (что, конечно, не мешало ему деловито советовать мне не торопиться весной ловить мелких бабочек, «малявок», как он выражался, а дожидаться лета,

когда они подрастут), именно он искренне и без всякого страха и удивления считавший, что мой отец знает кое-что такое, чего не знает никто, был по-своему прав.

Как бы то ни было, но я убежден ныне, что тогда наша жизнь была действительно проникнута каким-то волшебством, неизвестным в других семьях. От бесед с отцом, от мечтаний в его отсутствие, от соседства тысячи книг, полных рисунков животных, от драгоценных отливов коллекций, от карт, от всей этой геральдики природы и каббалистики латинских имен, жизнь приобретала такую колдовскую легкость, что казалось — вот сейчас тронусь в путь. Оттуда я и теперь занимаю крылья. В кабинете отца между старыми, смирными семейными фотографиями в бархатных рамках висела копия с картины: Марко Поло покидает Венецию. Она была румяна, эта Венеция, а вода ее лагун — лазорева, с лебедями вдвое крупнее лодок, в одну из коих спускались по доске маленькие фиолетовые люди, чтобы сесть на корабль, ждущий поодаль со свернутыми парусами, — и я не могу отделаться от этой таинственной красоты, от этих древних красок, плывущих перед глазами как бы в поисках новых очертаний, когда теперь воображаю снаряжение

отцовского каравана в Пржевальске, куда обычно сам он прибывал из Ташкента на почтовых, вперед отправив на протяжных груз запасов на три года. Его казаки по соседним аулам закупали лошадей, ишаков, верблюдов; готовились вьючные ящики и сумы (чего только не было в этих веками испытанных сартских ягтанах и кожаных мешках, от коньяка до дробленого гороха, от серебра в слитках до гвоздей для подков); и после панихиды на берегу озера у могильной скалы Пржевальского, увенчанной бронзовым орлом — вокруг которого безбоязненно располагались местные фазаны, — караван трогался в путь.

Я вижу затем, как, прежде чем втянуться в горы, он вьется между холмами райски-зеленой окраски, столько же зависящей от их травяного покрова, кипца, сколько от яблочно-яркой породы, эпидотового сланца, слагающей их. Идут гуськом, эшелонами, плотные, сбитые калмыцкие лошади: парные, ровного веса вьюки охвачены арканом дважды, так, чтобы не ерзало ничто, и каждый эшелон ведет за повод казак. Впереди каравана, с берданкой за плечом и сеткой для бабочек наготове, в очках, в коломянковой блузе, верхом на белом своем тропотуне едет отец в сопровождении джигита. Позади же отряда

— геодезист Куницын (так я это вижу), величавый старик, невозмутимо пространствовавший полвека, со своими инструментами в футлярах — хронометрами, буссолями, искусственным горизонтом, — и когда он останавливается, чтобы делать засечки да записывать азимуты в журнал, его лошадь держит препаратор, маленький, анемичный немец, Иван Иванович Вискотт, бывший гатчинский аптекарь, которого мой отец когда-то научил приготовлению птичьих шкурок и который с тех пор участвовал во всех его экспедициях, покамест не помер от гангрены летом 1903 года в Дын-Коу.

Далее я вижу горы: хребет Тянь-Шань. В поисках перевалов (нанесенных на карты по расспросным данным, но впервые исследованных отцом) караван поднимался по кручам, по узким карнизам, соскальзывал на север, в степь, кишевшую сайгачатами, и поднимался опять на юг, тут переходя вброд потоки, там стараясь пройти в полную воду, — и вверх, вверх по едва проходимым тропам. Как играло солнце! От сухости воздуха была поразительно резка разница между светом и тенью: на свету такие вспышки, такое обилие блеска, что порой невозможно смотреть на скалу, на ручей; в тени же — мрак, поглощающий по-

дробности: так что всякая краска жила волшебно умноженной жизнью и менялась масть лошадей, входивших в тополевую прохладу.

От гула воды в ущелье человек обалдевал; каким-то электрическим волнением наполнялась грудь и голова; вода мчалась со страшной силой, гладкая, однако, как раскаленный свинец, но вдруг чудовищно надувалась, достигнув порога, громоздя разноцветные волны, с бешеным ревом падая через блестящие лбы камней, и с трех саженей высоты, из-под радуг рухнув во мрак, бежала дальше уже по-другому: клокоча, вся сизая и снежная от пены, и так ударялась то в одну, то в другую сторону конгломератового каньона, что казалось, не выдержит гудящая крепь горы, по скатам которой меж тем в блаженной тишине цвели ирисы, — и вдруг из еловой черни на ослепительную альпийскую поляну вылетало стадо маралов, останавливалось, трепеща… нет, это лишь воздух трепетал, — они уже скрылись.

Особенно ясно я себе представляю — среди всей этой прозрачной и переменчивой обстановки, — главное и постоянное занятие моего отца, занятие, ради которого он только и предпринимал эти огромные путешествия. Я вижу, как, наклоняясь с седла, среди грохота скользя-

щих каменьев, он сачком на длинном древке зацепляет с размаху и быстрым поворотом кисти закручивает (так, чтобы полный шуршащего биения конец кисейного мешка перелег через обруч) какого-нибудь царственного родственника наших аполлонов, рыщущим полетом несущегося над опасными осыпями; и не только он сам, но и другие наездники (младший урядник Семен Жаркой, например, или бурят Буянтуев, или еще тот представитель мой, которого в течение всего моего отрочества я посылал вдогонку отцу), бесстрашно лепясь по скалам, преследуют белую, многоочитую бабочку, ловят ее наконец; — и вот она в пальцах отца, мертвая, с загнутым книзу, желтовато-волосистым, похожим на вербную сережку, телом и с кровавым крапом у корней сложенных крыльев, глянцевито-хрустких с исподу.

Он избегал мешкать, особенно для ночевок, на китайских постоялых дворах, не любя их за «суету, лишенную души», т. е. состоящую из одних криков, без малейшего намека на смех; но странно — потом в его памяти запах этих таней, этот особый воздух всякого места китайской оседлости — прогорклая смесь кухонного чада, дыма от сжигаемого назема, опия и конюшни —

говорил ему больше о его любимой охоте, нежели вспоминаемое благовоние нагорных лугов.

Передвигаясь с караваном по Тянь-Шаню, я вижу теперь, как близится вечер, натягивая тень на горные скаты. Отложив на утро трудную переправу (через бурную реку переброшен ветхий мост с каменными плитами поверх хвороста, а на той стороне подъем крутенек, а главное — гладок, как стекло), караван расположился на ночлег. Пока еще держатся закатные краски на воздушных ярусах неба и готовится ужин, казаки, сняв с животных сперва потники и войлочные подкидки, промывают им раны, набитые вьюками. В потухающем воздухе стоит чистый звон ковки поверх широкого шума воды. Совсем стемнело. Отец поднялся на скалу, ища места, где приладить калильную лампу для ловли ночниц. Оттуда, в китайской перспективе (сверху) виднеется в глубоком ущелье прозрачная среди мрака краснота костра; сквозь края его дышащего пламени как бы плавают плечистые тени людей, меняющие без конца очертания, и красный отблеск дрожит, но не трогается с места, на клокочущей воде реки. А наверху тихо и темно, только изредка позванивает колокольчик: это меж гранитных осколков бродят лошади, уже выстоявшиеся и

получившие свою дачу сухого фуража. Над головой, в какой-то страшной и восхитительной близости, вызвездило, да так, что каждая звезда выделяется, как живое ядрышко, ясно обнаруживая свою шарообразную сущность. Начинается лет ночных бабочек, привлеченных лампой: они описывают бешеные круги вокруг нее, ударяясь со звоном в рефлектор, падают, ползают в кругу света по разложенному полотну, седенькие, с горящими угольками глаз, трепеща, снимаясь и падая снова, — и неторопливо-ловкая, большая, яркая рука с миндалевидными ногтями совку за совкой загребает в морилку.

Иногда он бывал совершенно один, — не было даже и этого соседства спящих людей в походных шатрах, на войлоках, вокруг верблюда, уложенного на кострище. Пользуясь продолжительными стоянками в местах, богатых кормом для караванных животных, отец на несколько суток уезжал на разведки и при этом, увлекаясь какой-нибудь новой пьеридой, не раз пренебрегал правилом горной охоты: никогда не двигаться по пути, по которому нет возврата. И ныне я все спрашиваю себя, о чем он, бывало, думал среди одинокой ночи: я страстно стараюсь учуять во мраке течение его мыслей и гораздо меньше успеваю в этом,

чем в мысленном посещении мест, никогда не виданных мной. О чем, о чем он думал? О недавней поимке? О моей матери, о нас? О врожденной странности человеческой жизни, ощущение которой он таинственно мне передал? Или, может быть, я напрасно навязываю ему задним числом тайну, которую он теперь носит с собой, когда, по-новому угрюмый, озабоченный, скрывающий боль неведомой раны, смерть скрывающий, как некий стыд, он появляется в моих снах, но которой тогда не было в нем, — а просто он был счастлив среди еще недоназванного мира, в котором он при каждом шаге безымянное именовал.

Проведя все лето в горах (не одно, а несколько, в разные годы, которые накладываются друг на друга просвечивающими пластами), наш караван направился на восток и вышел по сквозному ущелью в каменистую пустыню. Там мало-помалу исчезли и русло ручья, разбиваясь на веер, и до последней крайности верная путнику растительность: чахлый саксаул, чий, хвойник. Завьючив верблюдов водою, мы углубились в эти призрачные дебри, где крупная галька кое-где сплошь покрывала вязкую, красно-бурую глину пустыни, испещренной там и сям налетами грязного снега да выцветами соли, которые мы принимали изда-

ли за стены искомого города. Дорога была опасна вследствие страшных бурь, когда в полдень все застилала соленая коричневая мгла, гремел ветер, по лицу хлестала мелкая галька, верблюды лежали, а нашу брезентовую палатку рвало в клочки. Из-за этих бурь поверхность земли изменилась невероятно, представляя диковинные очертания каких-то замков, колоннад, лестниц; или же ураган выдувал котловину, — словно тут, в этой пустыне, еще действовали сгоряча стихийные силы, лепившие мир. Но бывали и дни чудного затишья, когда мимическими трелями заливались рогатые жаворонки (отец метко звал их «смешливыми») и сопровождали наших похудевших животных стаи обыкновенных воробьев. Бывало, мы дневали в одиноких селениях, состоявших из двух-трех дворов и развалившейся кумирни. Нападали, бывало, тангуты — в бараньих шубах и красно-синих, шерстяных сапогах: мгновенный пестрый эпизод среди пути. Бывали и миражи, причем природа, эта дивная обманщица, доходила до сущих чудес: видения воды стояли столь ясные, что в них отражались соседние, **настоящие скалы**!

Далее шли тихие гобийские пески, проходил бархан за барханом, как волны, открывая корот-

кие охряные горизонты, и только слышалось среди бархатистого воздуха тяжелое, учащенное дыхание верблюдов да шорох их широких лап. То поднимаясь на гребень барханов, то погружаясь, шел караван, и к вечеру тень его принимала огромные размеры. Пятикаратный алмаз Венеры на западе исчезал вместе с вечерней зарей, которая все искажала бланжевым, оранжевым, фиолетовым светом. И отец любил рассказывать, как однажды на таком закате, в 1893 году, в мертвом сердце Гобийской пустыни он повстречал, — сначала приняв их за призраки, занесенные игрою лучей, — двух велосипедистов в китайских сандалиях и круглых фетрах, американцев Сахтлебена и Аллена, невозмутимо совершавших спортивную поездку через всю Азию в Пекин.

Весна ждала нас в горах Нань-Шаня. Все предвещало ее: журчание воды в ручейках, далекий гром реки, свист пищух, живущих в норках на скользком, мокром косогоре, и прелестное пение местного жаворонка, и «масса звуков, происхождение которых трудно себе объяснить» (фраза из записок друга моего отца, Григория Ефимовича Грум-Гржимайло, запомнившаяся мне навеки, полная удивительной музыки правды, имен-

но потому, что это говорит не невежда-поэт, а гениальный естествоиспытатель). На южных склонах уже попадалась первая интересная бабочка — потанинская разновидность бутлеровой белянки, — а в долине, куда мы спустились ключевым логом, мы застали уже настоящее лето. Все склоны были затканы анемонами, примулой. Газель Пржевальского и фазан Штрауха соблазняли стрелков. И какие бывали рассветы! Только в Китае ранний туман так обаятелен, все дрожит, — фантастические очерки фанз, светающие скалы… Точно в пучину, уходит река во мглу предутренних сумерек, которые еще держатся в ущельях; а повыше, вдоль бегущей воды, все играет, все мреет, и уже проснулось на ивах у мельницы целое общество голубых сорок.

В сопровождении человек пятнадцати пеших китайских солдат, вооруженных алебардами и несущих громадные, дурацки-яркие знамена, мы пересекли множество раз хребет по перевалам. Несмотря на середину лета, там ночью стоят такие морозы, что утром цветы подернуты инеем и становятся столь хрупкими, что ломаются под ногами с неожиданным, нежным звоном, а через два часа, лишь только обогреет солнце, вновь сияет, вновь дышит смолою и медом замечательная

альпийская флора. Лепясь по крутоярам, продвигались мы под жаркой синевой; прыскали из-под ног кузнечики, собаки бежали, высунув языки, ища защиты от зноя в короткой тени, бросаемой лошадьми. Вода в колодцах пахла порохом. Деревья казались ботаническим бредом: белая с алебастровыми ягодами рябина или береза с красной корой!

Поставя ногу на обломок скалы и слегка опираясь на древко сетки, отец смотрит с высокого отрога, с гольцов Танегмы, на озеро Куку-Нор — огромную площадь темно-синей воды. Там, внизу, в золотистых степях, проносится косяк киангов, а по скалам мелькает тень орла; наверху же — совершенный покой, тишина, прозрачность… и снова я спрашиваю себя, о чем думает отец, когда не занят охотой, а вот так, замерев, стоит… появляясь как бы на гребне моего воспоминания, муча меня, восхищая меня — до боли, до какого-то безумия умиления, зависти и любви, раздражая мне душу своим неуязвимым одиночеством.

Поднимаясь, бывало, по Желтой реке и ее притокам, роскошным сентябрьским утром, в прибрежных лощинах, в зарослях лилий, я с ним ловил кавалера Эльвеза — черное чудо, с хвостами в виде копыт. Перед сном, в ненастные вечера,

он читал Горация, Монтеня, Пушкина — три книги, взятых с собой. Как-то зимой, переходя по льду через реку, я издали приметил расположенную поперек нее шеренгу темных предметов, большие рога двадцати диких яков, застигнутых при переправе внезапно образовавшимся льдом; сквозь его толстый хрусталь было ясно видно оцепенение тел в плывущей позе; поднявшиеся надо льдом прекрасные головы казались бы живыми, если бы уже птицы не выклевали им глаз; и почему-то я вспомнил о тиране Шеусине, который вскрывал из любопытства беременных, а однажды, увидев, как в холодное утро носильщики переходят вброд ручей, приказал отрезать им голени, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится мозг в костях.

В Чанге, во время пожара (горел лес, заготовленный для постройки католической миссии), я видел, как пожилой китаец на безопасном от огня расстоянии, деловито, прилежно, без устали, обливал водой *отблеск* пламени на стенах своего жилища; убедившись в невозможности доказать ему, что дом его не горит, мы предоставили его этому бесплодному занятию.

Нередко приходилось идти напролом, не слушая китайских застращиваний и запрещений:

умение метко стрелять — лучший паспорт. В Татцьен-лу по кривым и узким улицам бродили бритоголовые ламы, распространяя слух, что ловлю детей, дабы из глаз их варить зелье для утробы моего «кодака». Там, на склонах снеговых гор, залитых пышной розовой пеной громадных рододендронов (их ветки служили нам по ночам для костра), я в мае разыскал темно-сизую, в оранжевых пятнах, ларву императорского аполлона и его куколку, шелковинкой прицепленную к исподу камня. В тот же день, помнится, был убит белый тибетский медведь и открыта новая змея, питающаяся мышами, причем та мышь, которую я извлек из ее брюха, тоже оказалась неописанным видом. От рододендронов и от увешанных узорным лишаем сосен тянуло дурманом смолы. Невдалеке от меня какие-то знахари с опасливым и хитрым видом конкурентов собирали для своих корыстных нужд китайский ревень, корень которого необыкновенно напоминает гусеницу, вплоть до ее ножек и дыхалец, — а я между тем, переворачивая каменья, любовался гусеницей неизвестной ночницы, являющейся уже не в идее, а с полной конкретностью копией этого корня, так что было не совсем ясно, кто кому подражает — и зачем.

Все врут в Тибете: дьявольски трудно было добиться точных названий мест и указания правильных дорог; невольно и я их обманывал: не умея отличить светловолосого европейца от седого, они меня, молодого человека с выгоревшими от солнца волосами, принимали за глубокого старика. Всюду на гранитных глыбах можно было прочесть «мистическую формулу» — шаманский набор слов, который иные поэтические путники «красиво» толкуют как: о, жемчужина в лотосе, о! Ко мне высылались из Лхассы какие-то чиновники, заклинавшие меня о чем-то, грозившие чем-то, — я на них мало обращал внимания; впрочем, помню одного дурака, особенно надоедливого, в желтом шелку, под красным зонтиком; он сидел верхом на муле, природная унылость которого усугублялась присутствием крупных ледяных сосулек под глазами, образовавшихся из замерзших слез.

Я видел с большой высоты темную болотную котловину, всю дрожащую от игры бесчисленных родников, что напоминало ночной небосклон с рассыпанными по нему звездами, — да так и называлась она: Звездная Степь. Перевалы поднимались за облака, переходы были тяжелые. Мы раны вьючных животных смазывали смесью

иодоформа и вазелина. Случалось, проночевав в совершенно пустынном месте, вдруг утром видим: широким кольцом вокруг нас выросли за ночь, как черные грибы, юрты разбойников — очень скоро, однако, исчезавшие.

Исследовав тибетские нагорья, я пошел на Лоб-Нор, чтобы уже оттуда возвратиться в Россию. Тарым, одолеваемый пустыней, изнемогая, из самых последних вод образует обширное тростниковое болото, нынешний Кара-Кошук-Куль, Лоб-Нор Пржевальского, — и Лоб-Нор ханских времен, — что бы ни говорил Ритгофен. Оно окаймлено солончаками, но вода солена только у самых берегов, — да и не рос бы камыш вокруг соленого озера. Как-то весной я в пять дней объехал его. Там, в трехсаженных тростниках, мне удалось открыть замечательную полуводяную бабочку с первобытной системой жилок. Кочковатый солончак был усеян раковинами моллюсков. Вечерами, при полном безмолвии, доносились стройные мелодичные звуки лебяжьего полета; желтизна камыша особенно отчетливо выделяла матовую белизну птиц. В сих местах в 1862 году полгода прожило человек шестьдесят староверов с женами и детьми, после чего ушли в Турфан, а куда девались затем — неизвестно.

Далее — пустыня Лоб: каменистая равнина, ярусы глинистых обрывов, стеклянисто-соленые лужи; белое пятнышко в сером воздухе: одинокая пьерида Роборовского, уносимая ветром. В этой пустыне сохранились следы древней дороги, по которой за шесть веков до меня проходил Марко Поло: указатели ее, сложенные из камней. Как в тибетском ущелье я слышал интересный гул вроде барабанного боя, пугавший наших первых пилигримов, так и в пустыне, во время песчаных бурь, я видел и слышал то же, что Марко Поло: «шепот духов, отзывающих в сторону» и среди странного мерцания воздуха без конца проходящие навстречу вихри, караваны и войска призраков, тысячи призрачных лиц, как-то бесплотно прущих на тебя, насквозь тебя, и вдруг рассеивающихся. В двадцатых годах 14-го века, когда великий землепроходец умирал, его друзья, собравшись у его ложа, умоляли его отказаться от того, что казалось им невероятным в его книге, — сбавить ее чудеса путем разумных выпусков; он же ответствовал, что не поведал и половины виденного на самом деле.

Все это волшебно держалось, полное красок и воздуха, с живым движением вблизи и убедительной далью; затем, как дым от дуновения, оно

подалось куда-то и расплылось, — и опять Федор Константинович увидел мертвые и невозможные тюльпаны обоев, рыхлый холмик окурков в пепельнице, отражение лампы в черном оконном стекле. Он распахнул окно. Исписанные листы на столе вздрогнули, один завернулся, другой плавно скользнул на пол. В комнате сразу стало сыро и холодно. Внизу, по пустой, темной улице, медленно проехал автомобиль, — и странно, почему-то как раз эта медленность напомнила Федору Константиновичу множество мелких неприятных вещей — только что минувший день, пропущенный урок, — и когда он представил себе, что утром придется звонить обманутому старику, у него сразу стеснилось сердце каким-то отвратительным унынием. Но лишь снова он окно затворил и, уже ощущая пустоту между согнутыми пальцами, повернулся к терпеливо ожидавшей лампе, к рассыпанным черновикам, к еще теплому перу, незаметно скользнувшему в руку (объяснив пустоту и ее восполнив), он сразу попал опять в тот мир, который был столь же ему свойственен, как снег — беляку, как вода — Офелии.

Он помнил с живостью невероятной, словно сохранил тот солнечный день в бархатном фу-

тляре, последнее возвращение отца, в июле 1912 года. Елизавета Павловна уже давно поехала встречать мужа за десять верст на станцию: она всегда встречала его одна, и всегда случалось так, что никто толком не знал, с какой стороны они вернутся, справа ли или слева от дома, так как дорог было две, одна — подлиннее и поглаже — по шоссе и через село, другая — покороче и поухабистей — через Песчанку. Федор на всякий случай надел галифе и приказал оседлать лошадь, — но все равно не мог решиться выехать отцу навстречу, боясь его пропустить. Он тщетно старался справиться с раздувшимся, преувеличенным временем. Редкая бабочка, на днях пойманная среди гонобобля торфяного болота, еще не высохла на расправилке: он все трогал кончиком булавки ее брюшко, — увы, оно было еще мягкое, значит, нельзя было снять бумажных полос, сплошь закрывающих крылья, которые ему так хотелось показать отцу в полной их красоте. Он слонялся по усадьбе в каком-то тяжелом болезненном волнении, завидуя тому, как другие переживают эти крупные, пустые минуты. С речки доносились отчаянно-страстные вопли купавшихся деревенских ребят, и этот гомон, всегда игравший в глубине летнего дня, теперь

звучал вроде дальних оваций. Таня восторженно и мощно качалась на качелях в саду, стоя на доске; по летящей белой юбке так мчалась фиолетовая тень листвы, что рябило в глазах, блузка сзади то отставала, то прилипала к спине, обозначая впадину между сведенных лопаток, один фокстерьер лаял снизу на нее, другой гонялся за трясогузкой, радостно скрипели канаты, и казалось, что Таня взмывает так, чтобы увидеть за деревьями дорогу. Француженка под муаровым зонтиком с давно неслыханной любезностью делилась своими опасениями (поезд опоздает часа на два, а то и совсем не придет) с Браунингом, которого ненавидела, а тот бил себя стеком по краге — он не был полиглотом. Ивонна Ивановна выходила то на одну, то на другую веранду с тем недовольным выражением на маленьком лице, которое у нее всегда появлялось при радостных событиях. Около служб было особое оживление: качали воду, кололи дрова, огородник нес в двух продолговатых, запачканных красным корзинах землянику. Жаксыбай, пожилой киргиз, коренастый, толстолицый, со сложными морщинами у глаз, спасший в 92-ом году Константину Кирилловичу жизнь (застрелил навалившуюся на него медведицу) и живший теперь на покое, больной

грыжей, в лешинском доме, надел свой синий бешмет с карманами в виде полумесяцев, лакированные сапоги, красную в блестках тюбетейку, подпоясался шелковым кушаком с кисточками, уселся у кухонного крыльца и долго уже так сидел на угреве, с горящей на груди серебряной цепочкой часов, в тихом и праздничном ожидании.

Вдруг, тяжело взбегая по закругленной тропе, ведущей вниз, к речке, из теневой глубины появился с диким блеском в глазах, с уже кричавшим, но еще беззвучным ртом старый, в седых подусниках, слуга Казимир: прибежал с вестью, что из-за ближней излучины, с моста, послышался топот (быстрая деревянная дробь копыт, сразу осекавшаяся) — залог того, что сейчас промчится коляска мягкой дорогой вдоль парка. Федор бросился к ней — между стволами, по мху и чернике, — а там, за крайней тропинкой, уже неслись, скользя над уровнем низеньких елок, со стремительностью некоего видения, голова кучера и его васильковые рукава. Он кинулся назад, — и в саду содрогались покинутые качели, а у подъезда стояла порожняя коляска со смятым пледом, поднималась по ступеням мать, волоча за собой дымчатый шарф, — и Таня висела на шее у отца, который, свободной рукой вынув

часы, смотрел на них, ибо всегда любил знать, за сколько минут доехал от станции до дому.

В следующем году, занятый научными трудами, он никуда не ездил, а уже весною 1914 года начал подготовлять новую экспедицию в Тибет, вместе с орнитологом Петровым и английским ботаником Россом. Внезапно война с немцами оборвала все это.

Войну он воспринял как досадную помеху, становившуюся со временем все досаднее. Родня была почему-то уверена, что Константин Кириллович тотчас отправится добровольцем, во главе дружины: его почитали чудаком, но чудаком мужественным. На самом же деле Константин Кириллович, который вступил в свой шестой десяток все с тем же запасом здоровья, легкости, свежести, неразменных сил — и, пожалуй, еще охотнее, чем прежде, готов был одолевать горы, тангутов, непогоду и тысячу других опасностей, не снившихся домоседам, — теперь не только засел дома, но старался не замечать войны, а если и говорил о ней, то лишь со злобным презрением. «Мой отец, — писал Федор Константинович, вспоминая то время, — не только многому меня научил, но еще поставил самую мою мысль по правилам своей школы, как ставится голос

или рука. Таким образом, к жестокости войны я был довольно равнодушен; я допускал даже, что можно находить известную прелесть в меткости выстрела, в опасности разведки, в тонкости маневра; но этими маленькими удовольствиями (к тому же лучше представленными в других специальных отраслях спорта, как то: охота на тигра, игра в крестики, профессиональный бокс) ничуть не искупался оттенок мрачного идиотизма, присущий всякой войне».

Между тем, несмотря на «непатриотическую позицию Кости», как выражалась тетя Ксения (прочно и умело, через «большие связи», укрывшая мужа-офицера в тыловую тень), суетность войны проникала в дом. Елизавету Павловну втянули в лазаретную работу, причем это освещалось так, что она, дескать, своей энергией возмещает праздность мужа, «больше занятого азиатскими козявками, чем славой русского оружия», как и было указано, между прочим, в одной бодрой газете. Завертелись граммофонные пластинки с романсом «Чайка», переодетым в защитную форму (…Вот прапорщик юный со взводом пехоты…); появились в доме какие-то сестрички с кудряшками из-под косынки, ловко стучавшие папироской о портсигар, прежде

чем закурить; бежал на фронт сын швейцара, ровесник Федора, и Константина Кирилловича просили содействовать его возвращению; Таня хаживала в материнский лазарет учить русской грамоте мирного восточного бородача, которому резали ногу все выше и выше, обгоняя гангрену; Ивонна Ивановна вязала напульсники; по праздникам артист Феона развлекал солдат фарсовыми песенками; на любительских спектаклях играли «Вова приспособился»; в журналах печатались стишки, посвященные войне:

Теперь ты бич судьбы над родиною милой,

Но светлой радостью заблещет русский взор,

Когда постигнет он германского Аттилы

Бесстрастным временем отмеченный позор!

Весной 1915 года, вместо того чтобы собраться в Лешино, что всегда казалось столь же естественным и незыблемым, как чередование месяцев в календаре, поехали на лето в крымское имение — на берегу моря, между Ялтой и Алупкой. На покатых полянках райски-зеленого сада Федор,

страдальчески скалясь (тряслись от счастья руки), ловил южных бабочек; но не там, среди миртов, мушмулы и магнолий, и гораздо выше, в горах, между скал Ай-Петри и на волнистой Яйле, водились настоящие крымские редкости: не раз за это лето с ним поднимался боровыми тропками отец, чтобы с улыбкой снисхождения к европейскому пустяку показывать ему сатира, недавно описанного Кузнецовым, перелетавшего с камня на камень у самого того места, где какой-то скверный смельчак на крутой скале вырезал свое имя. Одни эти прогулки и развлекали Константина Кирилловича. Он не то чтоб был мрачен или раздражителен (эти ограниченные эпитеты не вязались с его духовной осанкой), а попросту выражаясь, он не находил себе места, — и Елизавета Павловна, да и дети отлично понимали, чего именно хотелось ему. Вдруг в августе он ненадолго уехал, никто не знал куда, кроме самых близких: поездку свою он так законспирировал, что ему мог бы позавидовать любой путешествующий террорист; было смешно и страшно представить себе, как всплеснуло бы ручками русское общественное мнение, если бы узналось, что в разгар войны Годунов-Чердынцев ездил в Женеву, на свидание с толстым, лысым, необык-

новенно жовиальным немецким профессором (туда же прибыл и третий заговорщик, старик англичанин, в легоньких очках и просторном сером костюме), что сошлись они там в маленьком номере скромного отеля для ученого совещания и, столковавшись о чем надобно было (речь шла о многотомном труде, упорно продолжавшем издаваться в Штутгарте, при давнем участии иностранных специалистов по отдельным группам бабочек), мирно разъехались — каждый восвояси. Но эта поездка его не развеселила, напротив — постоянная мечта, тяготевшая над ним, еще усилила свое тайное давление. Осенью вернулись в Петербург; он усиленно работал над пятым томом «Чешуекрылых Российской Империи», мало выходил, играл в шахматы — более сердясь на промахи противника, чем на свои, — с недавно овдовевшим ботаником Бергом; просматривал, усмехаясь, газеты; брал Таню к себе на колени, вдруг задумывался, и его рука на ее круглом плече задумывалась тоже. Как-то в ноябре ему подали за столом телеграмму, он распечатал ее, прочел про себя, перечел, судя по вторичному пробегу глаз, отложил, отпил портвейна из ковшика и невозмутимо продолжал разговор с бедным родственником, старичком с веснушками по всему

черепу, приходившим обедать дважды в месяц и неизменно приносившим Тане тянучки. Когда гости ушли, он опустился в кресло, снял очки, провел ладонью сверху вниз по лицу и сообщил ровным голосом, что дядя Олег опасно ранен осколком гранаты в живот (работая под огнем на перевязочном пункте), — и сразу в душе Федора выделился, краями разрывая душу, один из тех бесчисленных нарочито глупых диалогов, которые братья еще так недавно вели за столом:

Дядя Олег (*заигрывающим тоном*)
А скажи-ка, Костя, не приходилось тебе видеть в урочище Ви птичку Зо-вас?

Отец (*сухо*)
Не приходилось.

Дядя Олег (*воодушевляясь*)
А не видывал ли ты, Костя, как муха Попова кусает лошадь Поповского?

Отец (*еще суше*)
Не видывал.

Дядя Олег (*в полном экстазе*)
А не случалось тебе, например, наблюдать диагональное передвижение энтоптических стаек?

Отец (*в упор глядя на него*)
Случалось.

В ту же ночь он поехал за ним в Галицию, необыкновенно скоро и удобно привез, добыл лучших из лучших врачей, Гершензона, Ежова, Миллер-Мельницкого, сам присутствовал на двух длительных операциях… К Рождеству брат был здоров. И затем что-то вдруг изменилось в настроении Константина Кирилловича: ожили и подобрели глаза, послышалось вновь музыкальное мурлыкание, которое он на ходу издавал, будучи чем-нибудь особенно доволен, куда-то он ездил, прибывали и отбывали какие-то ящики, а в доме вокруг таинственной веселости хозяина чувствовалось нарастание смутного, выжидательного недоумения, — и однажды Федор, случайно проходя по золотистой, залитой весенним солнцем зале, вдруг заметил, как содрогнулась, но не сразу поддалась латуневая ручка белой двери, ведущей в отцовский кабинет, словно кто-то ее снутри вяло теребил, не отворяя; но вот она тихо раскрылась, вышла мать с рассеянно-кроткой улыбкой на заплаканном лице, странно махнула рукой, проходя мимо Федора… Он постучался к отцу и вошел в кабинет. «Что тебе?» — спросил Константин Кириллович, не

оглядываясь, продолжая писать. «Возьми меня с собой», — сказал Федор.

То, что Константин Кириллович, в тревожнейшее время, когда крошились границы России и разъедалась ее внутренняя плоть, вдруг собрался покинуть семью года на два ради далекой научной экспедиции, большинству показалось дикой прихотью, чудовищной беззаботностью. Поговаривали даже о том, что правительство «не допустит закупок», что не будет у безумца ни спутников, ни вьючного скота. Но уже в Туркестане запашок эпохи почти не чувствовался: волостными управителями устраиваемый **той**, на который являлись гости с подарками в пользу войны (немного позже вспыхнуло восстание среди киргизов и казаков в связи с призывом на военные работы), был едва ли не единственным ее напоминанием. Перед самым отбытием, в июне 1916 года, Годунов-Чердынцев приехал в Лешино проститься с семьей. До крайней минуты Федору мечталось, что отец все-таки возьмет его с собой, — некогда говорил, что так сделает, как только сыну исполнится пятнадцать. «В другое время взял бы», — сказал он теперь, — точно забыв, что для него-то время было всегда **другим**.

Само по себе это последнее прощание ничем

не отличалось от предыдущих. После стройной, выработанной семейным обычаем череды объятий родители, надев одинаковые желтые очки с замшевыми шорами, уселись в красный открытый автомобиль; кругом стояли слуги; старик сторож, опираясь на дубинку, держался поодаль, у расщепленного молнией тополя; маленький толстый шофер с рыжим затылком и топазом на пухлой белой руке, весь круглый, в вельветиновой ливрее и оранжевых крагах, страшно напрягаясь, дернул, дернул и завел машину (отец и мать, сидя, задрожали), быстро сел за руль, переставил на нем рычажок, натянул перчатки с раструбами, оглянулся. Константин Кириллович ему задумчиво кивнул, автомобиль тронулся, захлебнулся лаем фокс, дико извиваясь у Тани на руках, переворачиваясь на спину, перегибая голову через ее плечо; красный кузов исчез за поворотом, и уже из-за елок донесся на восходящем взвое резкий перебор скоростей, и затем — облегченно удалявшийся рокот; все стихло, но через четверть минуты, с села за рекой, опять послышался победоносный гром мотора, постепенно смолкавший — навсегда. Ивонна Ивановна, обливаясь слезами, пошла за молоком для кота. Таня, притворно напевая, вернулась в

прохладный, звонко-пустой дом. Тень Жаксыбая, умершего прошлой осенью, скользнула прочь с завалинки, обратно в свой тихий, нарядный, розами и баранами богатый рай.

Федор пошел через парк, отворил запевшую калитку, пересек дорогу, где виднелись только что выдавленные следы толстых шин. Плавно поднялась с земли и описала широкий круг знакомая черно-белая красавица, тоже участвуя в проводах. Он завернул в лес и тенистой дорогой, где в поперечных лучах висели **на трепете** золотые мухи, дошел до любимой лужайки — кочковатой, цветущей, влажно сверкающей на жарком солнце. Божественный смысл этой лужайки выражался в ее бабочках. Всякий нашел бы тут что-нибудь. Дачник бы отдохнул на пеньке. Прищурился бы живописец. Но несколько глубже проникала в ее истину знанием умноженная любовь: отверстые зеницы.

Свежие, от свежести кажущиеся смеющимися, почти апельсиновые селены с изумительной тихостью плыли на вытянутых крыльях, редко-редко вспыхивая, как плавником — золотая рыбка. Уже несколько потрепанный, без одной шпоры, но еще мощный махаон, хлопая доспехами, опустился на ромашку, снялся, словно пятясь,

а цветок, покинутый им, выпрямился и закачался. Лениво летали боярышницы, иная закапанная кукольной кровкой (пятна коей на белых стенах городов предсказывали нашим предкам гибель Трои, мор, трус). Подпрыгивающим валким аллюром первые шоколадные гипераспы уже порхали над травой; из нее вылетали, тотчас падая вновь, бледные моли. На скабиозе, в компании с мошкой, поместилась красно-синяя, с синими сяжками, цыганка, похожая на ряженого жука. Торопливо покинув лужайку и сев на лист ольхи, капустная самка странным задратием брюшка и плоским положением крыльев (чем-то напоминавшим приложенные уши) дала знать своему потертому преследователю, что она уже оплодотворена. Два медных с лиловинкой мотылька (их-то самки еще не вылепились) встретились на молниеносном лету, взвились, вертясь друг вокруг друга, бешено дерясь, поднимаясь все выше и выше, — и вдруг стрельнули врозь, обратно к цветам. Лазоревый амандус мимолетом пристал к пчелке. Смуглая фрея мелькнула среди селен. Маленький бражник с телом шмеля и стеклянистыми, невидимыми от быстроты биения крыльцами, с воздуха попытал длинным хоботком цветок, кинулся к другому, к третьему. Всю эту обая-

тельную жизнь, по сегодняшнему сочетанию которой можно было безошибочно определить и возраст лета (с точностью чуть ли не до одного дня), и географическое положение местности, и растительный состав лужайки, — все это живое, истинное, бесконечно милое Федор воспринял как бы мгновенно, одним привычным, глубоким взглядом. Вдруг он приложил кулак к березовому стволу и, к нему наклонясь, разрыдался.

Хотя отец фольклора недолюбливал, он, бывало, приводил одну замечательную киргизскую сказку. Единственный сын великого хана, заблудившись во время охоты (чем начинаются лучшие сказки и кончаются лучшие жизни), заприметил между деревьями какое-то сверкание. Приблизившись, он увидел, что это собирает хворост девушка в платье из рыбьей чешуи; однако не мог решить, что именно сверкало так, лицо ее или одежда. Пойдя с ней к ее старухе матери, царевич предложил дать в калым кусок золота с конскую голову. «Нет, — сказала невеста, — а вот возьми этот мешочек — он, видишь, едва больше наперстка, да и наполни его». Царевич, рассмеявшись («И одна, — говорит, — не войдет»), бросил туда монету, бросил другую, третью, а там и все бывшие при нем. Весьма озадаченный, пошел

он к своему отцу. Все сокровища собрав, всё в мешочек побросав, хан опустошил казну, ухо приложил ко дну, накидал еще вдвойне, — только звякает на дне. Призвали старуху: «Это, — говорит, — человеческий глаз, хотящий вместить всё на свете», — взяла щепотку земли да и разом мешочек наполнила.

Последнее достоверное сведение о моем отце (не считая его собственных писем) я отыскал в заметках французского миссионера (и ученого-ботаника) Баро, случайно встретившего его в горах Тибета (летом 1917 года) около деревни Чэту. «Я с удивлением увидел, — пишет Баро („Exploration catholique“[29], за 1923 год), — пасущуюся среди горного луга белую лошадь под седлом, а затем появился, спускаясь со скал, человек в европейском платье, приветствовавший меня по-французски и оказавшийся знаменитым русским путешественником Годуновым. Я не видал европейца уже свыше восьми лет. Мы провели несколько прелестных минут, на мураве, в тени скалы, обсуждая номенклатурную тонкость в связи с научным названием крохотного голубого ириса, росшего по соседству. После чего, друже-

---

[29] Примечания: 29
«Католические исследования» *(фр.)*.

ски простившись, мы разошлись, он — к своим спутникам, звавшим его из ущелья, я — к отцу Мартэну, умиравшему в дальней харчевне».

За этим начинается туман. Судя по последнему письму отца, как всегда краткому, но по-новому тревожному, чудом доставленному нам в начале 1918 года, он, вскоре после того, как встретил его Баро, собрался в обратный путь. Прослышав о революции, он в нем просил нас переехать в Финляндию, где у тетки была дача, и писал, что, по его расчету, он, «максимально спеша», к лету будет дома. Мы прождали его два лета, до зимы 19-го года. Жили то в Финляндии, то в Петербурге. Дом наш давно был разграблен, но отцовский музеум, душа дома, словно сохранив неуязвимость, присущую святыням, уцелел (перейдя затем в ведение Академии Наук), и этой радостью совершенно искупалась гибель знакомых с детства стульев и столов. Мы жили в Петербурге в двух комнатах на квартире у бабушки, которую почему-то дважды водили на допрос. Она простудилась и умерла. Через несколько дней после ее кончины, в один из тех страшных зимних вечеров, голодных и безнадежных, которые принимали такое зловеще близкое участие в гражданской смуте, ко мне прибежал неизвестный юноша в

пенснэ, невзрачный и малообщительный, прося меня немедленно зайти к его дяде, географу Березовскому. Он не знал или не хотел сказать — по какому делу, но у меня вдруг все как-то обвалилось внутри, и я уже жил машинально. Теперь, спустя несколько лет, я этого Мишу иногда встречаю в Берлине, в русском книжном магазине, где он служит, — и всякий раз, как вижу его, хотя мало с ним разговариваю, я чувствую проходящую по всему становому столбу горячую дрожь и всем существом переживаю вновь наш с ним короткий путь. Матери моей не было, когда зашел этот Миша (имя его я тоже запомнил навеки), но мы ее встретили, спускаясь по лестнице; не зная моего спутника, она с волнением спросила, куда я иду. Я ответил, что — за машинкой для стрижки волос, о добывании которой случайно на днях была речь. Она потом мне часто снилась, эта несуществующая машинка, принимая самые неожиданные образы — горы, пристани, гроба, шарманки, — но всегда я знал, чутьем сновидения, что это она. «Постой», — крикнула мать, но мы уже были внизу. По улице мы шли скоро и молча, он чуть впереди меня. Я смотрел на маски домов, на горбы сугробов, я старался перехитрить судьбу, представляя себе (и этим наперед уничтожая

его возможность) еще неосмысленное, черное, свежее горе, которое понесу обратно домой. Мы вошли в комнату, запомнившуюся мне почему-то совершенно желтою, и там старик с острой бородкой, в старом френче и длинных сапогах, без обиняков объявил мне, что, по сведениям, еще не проверенным, моего отца нет больше в живых. Мать ждала меня внизу, на улице.

В течение полугода (до того, как дядя Олег почти насильно нас перевел за границу) мы пытались узнать, как и где он погиб, — да и погиб ли. Кроме того, что это случилось в Сибири (Сибирь велика!), на обратном пути из Средней Азии, мы не узнали ничего. Неужели скрывали от нас место и обстоятельства его загадочной гибели — и до сих пор продолжают скрывать? (Биография в советской энциклопедии кончается просто словами: «Скончался в 1919 году».) Или действительно противоречивость смутных вестей не допускала определенности в ответах? Уже в Берлине из разных источников и от разных лиц мы кое-что узнали дополнительно, но дополнения эти оказались лишь наслоениями неизвестности, а не просветами в ней. Две шатких версии, обе свойства скорей дедуктивного (к тому же не говорившие главного: как именно

погиб он, — если погиб), беспрестанно путались между собой, взаимно друг друга опровергая. По одной, весть о его смерти доставил какой-то киргиз в Семипалатинск, по другой — какой-то казак в Ак-Булат. Как он шел? Ехал ли из Семиречья на Омск (ковыльной степью, с вожаком на чубарой юрге), или из Памира на Оренбург, через Тургайскую область (степью песчаной, с вожаком на верблюде, он сам на коне, ноги в березовых стременах, — все дальше на Север, от колодца до колодца, избегая аулов и полотна)? Как проходил он сквозь бурю крестьянской войны, как уклонялся от красных, — не могу разобрать ничего, — да и какая шапка-невидимка могла прийтись ему впору — ему, который и такую носил бы набекрень? Скрывался ли он в рыбацких хатах (как полагает Крюгер) на станции «Аральское Море», у степенных уральцев-староверов? А если погиб, — как погиб? «В чем твое звание?» — спросил Пугачев астронома Ловица. «В исчислении звезд». Вот и повесил его, чтобы был поближе к звездам. Как, как он погиб? От болезни, от холода, от жажды, от руки человека? И если — от руки, неужто и по сей день рука эта жива, берет хлеб, поднимает стакан, гонит мух, шевелится, указывает, манит, лежит неподвижно, пожимает другие руки? Долго ли

отстреливался он, припас ли для себя последнюю пулю, взят ли был живым? Привели ли его в штабной салон-вагон какого-нибудь карательного отряда (вижу страшный паровоз, отопляемый сушеной рыбой), приняв его за белого шпиона (да и то сказать: с Лавром Корниловым однажды в молодости он объездил Степь Отчаяния, а впоследствии встречался с ним в Китае)? Расстреляли ли его в дамской комнате какой-нибудь глухой станции (разбитое зеркало, изодранный плюш) или увели в огород темной ночью и ждали, пока проглянет луна? Как ждал он с ними во мраке? С усмешкой пренебрежения. И если белесая ночница маячила в темноте лопухов, он и в эту минуту, **я знаю**, проследил за ней тем же поощрительным взглядом, каким, бывало, после вечернего чая, куря трубку в лешинском саду, приветствовал розовых посетительниц сирени.

А иногда мне сдается, что все это вздорный слух, вялая легенда, что создана она из тех же сомнительных крупиц приблизительного знания, которым пользуюсь я, когда путается моя мечта в областях, известных мне лишь понаслышке да из книг, так что первый же бывалый человек, видавший на самом деле упомянутые места в те годы, откажется признать их, высмеет

экзотичность моей мысли, холмы моей печали, обрывы воображения и найдет в догадках моих столько же топографических ошибок, сколько анахронизмов. Тем лучше. Раз слух о гибели отца — вымысел, не следует ли допустить, что самый его путь из Азии лишь приделан в виде хвоста к вымыслу (вроде того змея, который молодой Гринев мастерил из географической карты), и что, может быть, по причинам еще неизвестным, мой отец, если и пустился в обратный путь (а не разбился в пропасти, не завяз в плену у буддийских монахов), избрал совершенно другую дорогу. Мне приходилось даже слышать предположения (звучащие как запоздалый совет), что ведь мог он пойти на запад в Ладак, чтобы спуститься в Индию, или почему бы ему не отправиться в Китай, а оттуда на любом корабле — в любой порт на свете?

Так ли, иначе ли, но все материалы, касающиеся жизни его, у меня теперь собраны. Из тьмы черновиков длинных выписок, неразборчивых набросков на разнородных листках, карандашных заметок, разбредшихся по полям каких-то других моих писаний, из полувычеркнутых фраз, недоконченных слов и непредусмотрительно сокращенных, уже теперь забытых названий, в

полном своем виде прячущихся от меня среди бумаг, — из хрупкой статики невозобновимых сведений, местами уже разрушенных слишком скорым движением мысли, в свою очередь распылившейся в пустоте, — из всего этого мне теперь нужно сделать стройную, ясную книгу. Временами я чувствую, что где-то она уже написана мной, что вот она скрывается тут, в чернильных дебрях, что ее только нужно высвободить по частям из мрака, и части сложатся сами… — но что мне в том проку, — когда этот труд освобождения кажется мне теперь таким тяжелым и сложным, — так страшно, что загрязню его красным словцом, замаю переноской, — что уже сомневаюсь, будет ли книга написана на самом деле. Ты хорошо сама знаешь, с каким набожным чувством, с каким волнением я готовился к ней. Ты сама мне писала о требованиях, которые следует к такому труду предъявить. Но теперь мне думается, что я бы исполнил их дурно. Не брани меня за слабость и трусость. Как-нибудь я тебе прочту случайные, разрозненные, неоформившиеся обрывки записанного мной: как оно не похоже на мою статную мечту! Все эти месяцы, пока я собирал, записывал, вспоминал, думал, я был блаженно счастлив: я был уверен, что создается

что-то неслыханно прекрасное, что заметки мои — лишь маленькое подспорье ему, вешки, вешалки, а что главное развивается и творится само по себе, но теперь я вижу, точно проснувшись на полу, что ничего, кроме этих жалких заметок, и нет. Как же мне быть? Знаешь, когда я читаю его или Грума книги, слушаю их упоительный ритм, изучаю расположение слов, незаменимых ничем и непереместимых никак, мне кажется кощунственным взять да и разбавить все это собой. Хочешь, я тебе признаюсь: ведь я-то сам лишь искатель словесных приключений, — и прости меня, если я отказываюсь травить мою мечту там, где на **свою** охоту ходил отец. Видишь ли, я понял невозможность дать произрасти образам его странствий, не заразив их вторичной поэзией, все больше удаляющейся от той, которую заложил в них живой опыт восприимчивых, знающих и целомудренных натуралистов.

«Что ж, понимаю и сочувствую, — отвечала мать. — Мне грустно, что это у тебя не получается, но, конечно, не надо себя форсировать. А с другой стороны, я убеждена, что ты немножко преувеличиваешь. Я убеждена, что, не думай ты так много о слоге, о трудностях, о том, что поцелуй — первый шаг к охлаждению, и т. д., у

тебя, наверно бы, вышло очень хорошо, очень правдиво, очень интересно. Только в том случае, если ты представляешь себе, что он читает твою книгу, и ему неприятно, и тебе совестно, только тогда брось, брось, конечно. Но я знаю, что этого не может быть, знаю, что он сказал бы тебе: молодец. Мало того, я убеждена, что эту книгу ты все-таки когда-нибудь напишешь».

Внешним толчком к прекращению работы послужил для Федора Константиновича переезд на другую квартиру. К чести его хозяйки следует сказать, что она долго, два года, терпела его. Но когда ей представилась возможность получить с апреля жилицу идеальную — пожилую барышню, встающую в половине восьмого, сидящую в конторе до шести, ужинающую у своей сестры и ложащуюся спать в десять, — фрау Стобой попросила Федора Константиновича подыскать себе в течение месяца другой кров. Он же все откладывал эти поиски, не только по лени и оптимистической склонности придавать дарованному отрезку времени округлую форму бесконечности, но еще потому, что ему было нестерпимо противно вторгаться в чужие миры для высматривания себе места. Чернышевская, впрочем, обещала ему свое содействие. Март был

уже на исходе, когда однажды вечером она ему сказала:

«У меня, кажется, для вас что-то имеется. Вы раз видели у меня Тамару Григорьевну, такую армянскую даму. Она до сих пор снимала комнату у одних русских и, оказывается, теперь ищет, кому ее передать».

«Значит, было плохо, если ищет», — беспечно заметил Федор Константинович.

«Нет, она просто вернулась к мужу. Впрочем, если вам заранее не нравится, я хлопотать не стану, — я совсем не люблю хлопотать».

«Не обижайтесь, — сказал Федор Константинович, — очень нравится, клянусь».

«Понятно, не исключается, что уже сдано, но я все-таки советовала бы вам с ней созвониться».

«О, непременно», — сказал Федор Константинович.

«Так как я знаю вас, — продолжала Александра Яковлевна, уже перелистывая черную записную книжку, — и так как знаю, что вы сами никогда не позвоните…»

«Завтра же», — сказал Федор Константинович.

«…так как вы этого никогда не сделаете… Уланд сорок восемь тридцать один… то сделаю это я. Сейчас соединю вас, и вы у нее все спросите».

«Постойте, постойте, — заволновался Федор Константинович, — я абсолютно не знаю, что нужно спрашивать».

«Не беспокойтесь, она сама вам все скажет», — и Александра Яковлевна, быстрым шепотом повторив номер, потянулась к столику с аппаратом.

Как только она приложила трубку к уху, тело ее на диване приняло привычную телефонную позу, из сидячего положения она перебралась в полулежачее, оправила, не глядя, юбку, голубые глаза задвигались туда и сюда в ожидании соединения. «Хорошо бы», — начала она, но тут барышня откликнулась, и Александра Яковлевна сказала номер с каким-то абстрактным увещеванием в тоне и особым ритмом в произношении цифр — точно 48 было тезисом, а 31 антитезисом, — прибавив в виде синтеза: яволь. «Хорошо бы, — обратилась она к Федору Константиновичу, — если б она пошла туда с вами. Я уверена, что вы никогда в жизни…» Вдруг, с улыбкой опустив глаза, поведя полненьким плечом, слегка скрестив вытянутые ноги: «Тамара Григорьевна? — спросила она новым голосом, мягким и приглашающим. Тихо засмеялась, слушая, и ущипнула складку на юбке. — Да, это я, вы правы. Мне казалось, что вы, как всегда, меня

не узнаете. Хорошо, — скажем: часто». Усаживая тон свой еще уютнее: «Ну, что у вас слышно?» Слушала, что слышно, мигая; как бы в скобках подтолкнула коробку с зеленым мармеладом по направлению к Федору Константиновичу; затем носки ее маленьких ног в потертых бархатных башмачках начали легонько тереться друг о друга; перестали. «Да, мне уже об этом говорили, но я думала, что у него есть постоянная практика». Продолжала слушать. В тишине раздавалась бесконечно малая дробь потустороннего голоса. «Ну, это глупости, — сказала Александра Яковлевна, — ах, это глупости». «Значит, вот у вас какие дела, — протянула она через минуту, — и потом, на быстрый вопрос, прозвучавший для Федора Константиновича как микроскопический лай, ответила со вздохом: — Да так себе, ничего нового. Александр Яковлевич здоров, занимается своим делом, сейчас в концерте, а я так, ничего особенного не делаю. У меня сейчас сидит… Ну, конечно, развлекает его, но вы не можете себе представить, как я иногда мечтаю куда-нибудь с ним поехать хотя бы на месяц. Что вы? Нет, не знаю куда. Вообще иногда очень на душе тяжко, а так ничего нового». Медленно осмотрела свою ладонь, да так и осталась с приподнятой

рукой. «Тамара Григорьевна, у меня сейчас сидит Годунов-Чердынцев. Между прочим, он ищет комнату. У ваших этих еще свободно? А, это чудно. Погодите, передаю трубку».

«Здравствуйте, — сказал Федор Константинович, кланяясь телефону, — мне Александра Яковлевна...»

Звучный, так что даже защекотало в среднем ухе, необыкновенно проворный и отчетливый голос сразу завладел разговором. «Комната еще не сдана, — быстро стала рассказывать малоизвестная Тамара Григорьевна, — и они как раз очень хотели бы русского жильца. Я вам сейчас скажу, кто они. Фамилия — Щеголев, это вам ничего не говорит, но он был в России прокурором, очень, очень культурный, симпатичный человек... И, значит, жена его, тоже милейшая, и дочь от первого брака. Теперь так: живут они на Агамемнонштрассе, 15, чудный район, квартира малюсенькая, но хох-модерн, центральное отопление, ванна, — одним словом, все-все-все. Комната, в которой вы будете жить, — прелесть, но (с оттяжкой) выходит во двор, это, конечно, маленький минус. Я вам скажу, сколько я за нее платила, я платила за нее тридцать пять марок в месяц. Чудный кауч, тишина. Ну вот. Что вам

еще сказать? Я у них столовалась и должна признаться, что отлично, отлично, но о цене вы сами столкуетесь, я была на диете. Теперь мы сделаем так. Я у них завтра все равно буду утром, так в пол-одиннадцатого, я очень точна, и вы туда, значит, приходите».

«Одну минуточку, — сказал Федор Константинович (для которого встать в десять было то же, что другому встать в пять), — одну минуточку. Я завтра, кажется… Может быть, лучше будет, если я вам…»

Он хотел сказать: «Позвоню», — но Александра Яковлевна, сидевшая близко, сделала такие глаза, что он, переглотнув, тотчас поправился: «Да, в общем, могу, — сказал он без оживления, — благодарю вас, я приду».

«Ну вот… (повествовательно) значит, Агамемнон-штрассе, 15, третий этаж, есть лифт. Так мы и сделаем. До завтра, буду очень рада».

«До свидания», — сказал Федор Константинович.

«Стойте, — крикнула Александра Яковлевна, — пожалуйста, не разъединяйте».

На другое утро, когда, с ватой в мозгу, раздраженный и какой-то половинчатый (словно другая половина по случаю раннего часа еще

не открылась), он явился по указанному адресу, выяснилось, что Тамара Григорьевна не только не пришла, но звонила, что прийти не может. Его принял сам Щеголев (никого больше не было дома), оказавшийся громоздким, пухлым, очерком напоминавшим карпа, человеком лет пятидесяти, с одним из тех открытых русских лиц, открытость которых уже почти непристойна. Это было довольно полное лицо овального покроя, с маленькой черной бородкой под самой губой. У него была замечательная и тоже чем-то непристойная прическа: жидкие черные волосы, ровно приглаженные и разделенные прибором не совсем посредине головы, но и не сбоку. Крупные уши, простые мужские глаза, толстый, желтоватый нос и влажная улыбка дополняли общее приятное впечатление. «Годунов-Чердынцев, — повторил он, — как же, как же, известнейшая фамилья. Я знавал… позвольте — это не батюшка ли ваш, Олег Кириллович? Ага, дядя. Где же он обретается теперь? В Филадельфии? Ну, это не близко. Смотрите, куда забрасывает нашего брата! Удивительно. А вы с ним в контакте? Так, так. Ну-с, давайте, **не откладывая долгов в ящик**, покажу вам апартамент».

Из передней направо был короткий проход,

сразу сворачивавший под прямым углом направо же и в виде зачаточного коридора упиравшийся в полуоткрытую дверь кухни. По его левой стене виднелись две двери, первую из которых Щеголев, энергично сопнув, отпахнул. Оглянулась и замерла перед нами маленькая, продолговатая комната, с крашенными вохрой стенами, столом у окна, кушеткой вдоль одной стены и шкапом у другой. Федору Константиновичу она показалась отталкивающей, враждебной, совершенно не с жизни ему (как бывает «не с руки»), расположенной на несколько роковых градусов вкось (как пунктиром отмечается смещение геометрической фигуры при вращении) по отношению к тому воображаемому прямоугольнику, в пределах которого он мог бы спать, читать, думать; но если б даже и можно было чудом выправить жизнь согласно углу этой не так стоявшей коробки, все равно обстановка ее, окраска, вид на асфальтовый двор, все — было невыносимо, и он сразу же решил, что ее не наймет ни за что.

«Ну-с вот, — бодро сказал Щеголев, — а тут рядом ванная. Тут немножко не убрано. Теперь, если разрешите…» Он сильно столкнулся с Федором Константиновичем, повернувшись в узком проходе, и, виновато охнув, схватил его за плечо.

Вернулись в прихожую. «Тут комната дочки, тут — наша, — сказал он, указывая на две двери, слева и справа. — А вот столовая», — и, отворив дверь в глубине, он на несколько секунд, словно снимая с выдержкой, подержал ее в открытом положении. Федор Константинович миновал взглядом стол, вазу с орехами, буфет… У дальнего окна, где стояли бамбуковый столик и высокое кресло, вольно и воздушно лежало поперек его подлокотников голубоватое газовое платье, очень короткое, как носили тогда на балах, а на столике блестел серебристый цветок рядом с ножницами.

«Вот и все, — сказал Щеголев, осторожно затворив дверь, — видите, — уютно, по-семейному, все у нас небольшое, но все есть. Ежели пожелаете получать от нас харчи, милости просим, поговорим об этом с моей супружницей, она, между нами, готовит неплохо. За комнату будем у вас по знакомству брать столько же, сколько у мадам Абрамовой, притеснять не будем, будете жить, **как Христос за пазухой**», — и Щеголев сочно рассмеялся.

«Да, мне комната, кажется, подходит, — сказал Федор Константинович, стараясь на него не глядеть. — Я, собственно, хотел бы уже в среду въехать».

«Сделайте одолжение», — сказал Щеголев.

Случалось ли тебе, читатель, испытывать тонкую грусть расставания с нелюбимой обителью? Не разрывается сердце, как при прощании с предметами, милыми нам. Увлажненный взор не блуждает округ, удерживая слезу, точно желал бы в ней унести дрожащий отсвет покидаемого места; но в лучшем уголку души мы чувствуем жалость к вещам, которых собой не оживили, едва замечали, и вот покидаем навеки. Этот мертвый уже инвентарь не воскреснет потом в памяти: не пойдет вслед за нами постель, неся самое себя; отражение в зеркальном шкапу не восстанет из своего гроба; один только вид в окне ненадолго пребудет, как вделанная в крест выцветшая фотография аккуратно подстриженного, немигающего господина в крахмальном воротничке. Я бы тебе сказал прощай, но ты бы даже не услышала моего прощания. Все-таки — прощай. Ровно два года я прожил здесь, обо многом здесь думал, тень моего каравана шла по этим обоям, лилии росли на ковре из папиросного пепла, — но теперь путешествие кончилось. Потоки книг возвратились в океан библиотеки. Не знаю, перечту ли когда наброски и выписки, уже сунутые под белье в чемодан, но знаю, что

никогда, никогда сюда не загляну боле.

Федор Константинович запер, сидя на нем, чемодан, обошел комнату, напоследок осмотрел ее ящики, но ничего не нашел: мертвецы не воруют. По оконному стеклу ползла вверх муха, нетерпеливо срывалась, полупадала, полулетела вниз, словно что-то тряся, и опять принималась ползти. Дом насупротив, который он в позапрошлом апреле застал в лесах, теперь, очевидно, опять требовал ремонта: у панели лежали заготовленные доски. Он вынес вещи, пошел проститься с хозяйкой, в первый и последний раз пожал ее руку, оказавшуюся сухой, сильной, холодной, отдал ей ключи и вышел. Расстояние от старого до нового жилья было примерно такое, как, где-нибудь в России, от Пушкинской — до улицы Гоголя.

Глава третья

Каждое утро, в начале девятого, один и тот же звук за тонкой стеной, в аршине от его виска, выводил его из дремоты. Это был чистый, круглодонный звон стакана, ставимого обратно на стеклянную полочку; после чего хозяйская дочка откашливалась. Потом был прерывистый треск вращающегося валика, потом — спуск воды, захлебывающейся, стонущей и вдруг пропадавшей, потом — загадочный внутренний вой ванного крана, превращавшийся наконец в шорох душа. Звякала задвижка, мимо двери удалялись шаги. К ним навстречу шли другие, темно-тяжелые, с пришлепом: это Марианна Николаевна спешила на кухню варить дочке кофе. Было слышно, как сначала газ не брал спички, шумно лопаясь; укрощенный, вспыхивал и ровно шипел. Первые шаги возвращались, уже на каблуках; на кухне начинался скорый, сердито-взволнованный разговор. Как иные говорят с южным или московским акцентом, так мать и дочь неизменно говорили между собой с произношением ссоры. Голоса были схожи, оба смуглые и гладкие, но

один был грубее и как бы теснее, другой — вольнее и чище. В рокоте материнского была просьба, даже виноватая просьба; в укорачивающихся ответах дочери звенела злость. Под эту невнятную утреннюю бурю Федор Константинович опять мирно засыпал.

В редеющей местами дремоте он различал звуки уборки; стена вдруг рушилась на него: это половая щетка поехала и хлопнулась у его двери. Раз в неделю толстая, тяжело переводившая дух, пахнувшая кислым потом щвейцариха приходила с пылесосом, и тогда начинался ад, мир рвался на части, адский скрежет проникал в самую душу, разрушая ее, и гнал Федора Константиновича из постели, из комнаты, из дома. Обычно же около десяти Марианна Николаевна в свою очередь занимала ванную, а после нее, уже харкая на ходу, туда следовал Иван Борисович. Воду он спускал до пяти раз; ванной не пользовался, удовлетворяясь лепетом маленького умывальника. К половине одиннадцатого все в доме стихало: Марианна Николаевна уходила за хозяйственными покупками, Щеголев — по своим темным делам. Федор Константинович погружался в блаженную бездну, в которой теплые остатки дремоты мешались с чувством счастья,

вчерашнего и предстоящего.

Довольно часто теперь он день начинал стихотворением. Лежа навзничь, с первой, утоляюще-вкусной, крупной и длительной папиросой между запекшихся губ, он снова, после перерыва почти в десять лет, сочинял того особого рода стихи, которые в ближайший же вечер дарятся, чтобы отразиться в волне, вынесшей их. Он сравнивал строй этих со строем тех. Слова тех были забыты. Только кое-где среди стертых букв еще сохранились рифмы, богатенькие вперемешку с нищими: поцелуя—тоскуя, лип—скрип, аллея—алея (листья или закат?). В то шестнадцатое лето его жизни он впервые взялся за писание стихов серьезно; до того, кроме энтомологических частушек, ничего и не было. Но какая-та атмосфера сочинительства была ему давно знакома и привычна: в доме пописывали все — писала Таня, в альбомчик с ключиком; писала мать, трогательно непритязательные стихотворения в прозе о красоте родных мест; отец и дядя Олег складывали стишки на случай — и случаи эти были нередки; тетя Ксения, та писала стихи только по-французски, темпераментные и «звучные», совершенно игнорируя при этом тонкости силлабического стиха; ее излияния были очень

популярны в петербургском свете, особенно поэма «La femme et la panthère»[30], а также перевод из Апухтина:

Le gros grec d'Odessa, le juif de Varsovie,
Le jeune lieutenant, le général âgé,
Tous ils cherchaient en elle un peu de folle vie,
Et
sur son sein rêvait leur amour passager.[31]

Наконец был и один «настоящий» поэт, двоюродный брат матери, князь Волховской, издавший толстый, дорогой, на бархатистой бумаге, дивным шрифтом набранный, весь в итальянских виноградных виньетках, том томных стихотворений «Зори и Звезды», с фотографическим портретом автора в начале и чудовищным списком опечаток в конце. Стихи были разбиты на отделы: Ноктюрны, Осенние Мотивы, Струны Любви. Над большинством был герб эпиграфа, а

---

[30] Примечания: 30
«Женщина и пантера» *(фр.).*

[31] Примечания: 31

Грек из Одессы, еврей из Варшавы,
Юный корнет и седой генерал, —
Каждый искал в ней любви и забавы
И на груди у нее засыпал (фр.).

под каждым — точная дата и место написания: «Сорренто», «Ай-Тодор» или «В поезде». Я ничего не помню из этих пьесок, кроме часто повторяющегося слова «экстаз», которое уже тогда для меня звучало как старая посуда: «экстаз».

Мой отец мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина: он знал его, как иные знают церковную службу, и, гуляя, любил декламировать. Мне иногда думается, что эхо «Пророка» еще до сих пор дрожит в каком-нибудь гулко-переимчивом азиатском ущелье. Еще он цитировал, помнится, несравненную «Бабочку» Фета и тютчевские «Тени сизые»; но то, что так нравилось нашей родне, жиденькая, удобозапоминаемая лирика конца прошлого века, жадно ждущая переложения на музыку, как избавления от бледной немочи слов, проходило совершенно мимо него. Поэзию же новейшую он считал вздором, — и я при нем не очень распространялся о моих увлечениях в этой области. Когда он однажды перелистал, с готовой уже усмешкой, книжки поэтов, рассыпанные у меня на столе, и как раз попал на самое скверное у самого лучшего из них (там, где появляется невозможный, невыносимый «джентльмен» и рифмуется «ковер» и «сёр»), мне стало до того досадно, что я ему

быстро подсунул «Громокипящий Кубок», чтобы уж лучше на нем он отвел душу. Вообще же мне казалось, что если бы он на время забыл то, что я, по глупости, называл «классицизмом», и без предубеждения вник бы в то, что я так любил, он понял бы новое очарование, появившееся в чертах русской поэзии, очарование, чуемое мной даже в самых нелепых ее проявлениях. Но когда я подсчитываю, что теперь для меня уцелело из этой новой поэзии, то вижу, что уцелело очень мало, а именно только то, что естественно продолжает Пушкина, между тем как пестрая шелуха, дрянная фальшь, маски бездарности и ходули таланта — все то, что когда-то моя любовь прощала или освещала по-своему, а что отцу моему казалось истинным лицом новизны, — «мордой модернизма», как он выражался, — теперь так устарело, так забыто, как даже не забыты стихи Карамзина; и когда мне попадается на чужой полке иной сборник стихов, когда-то живший у меня как брат, то я чувствую в них лишь то, что тогда, вчуже, чувствовал мой отец. Его ошибка заключалась не в том, что он свально охаял всю «поэзию модерн», а в том, что он в ней не захотел высмотреть длинный животворный луч любимого своего поэта.

Я с ней познакомился в июне 1916 года. Ей было года двадцать три. Ее муж, приходившийся нам дальним родственником, был на фронте. Она жила на дачке в пределах нашего имения и часто приезжала к нам. Из-за нее я едва не забыл бабочек и вовсе проглядел русскую революцию. Зимой 1917 года она уехала в Новороссийск, — и только в Берлине я случайно узнал о ее страшной смерти. Была она худенькая, с высоко причесанными каштановыми волосами, веселым взглядом больших черных глаз, ямочками на бледных щеках и нежным ртом, который она подкрашивала из флакона с румяной, душистой жидкостью, прикладывая стеклянную пробку к губам. Во всей ее повадке было что-то милое до слез, неопределимое тогда, но что теперь мне видится как какая-то патетическая беспечность. Она была неумна, малообразованна, банальна, т. е. полной твоей противоположностью… нет, нет, я вовсе не хочу сказать, что я ее любил больше тебя или что те свидания были счастливее наших вечерних встреч с тобой… но все ее недостатки таяли в таком наплыве прелести, нежности, грации, такое обаяние исходило от ее самого скорого, безответственного слова, что я готов был смотреть на нее и слушать ее вечно, — а что теперь было

бы, если бы она воскресла, — не знаю, не надо спрашивать глупостей. По вечерам я провожал ее домой. Эти прогулки мне когда-нибудь пригодятся. В ее спальне был маленький портрет царской семьи, и пахло по-тургеневски гелиотропом. Я возвращался за полночь, благо гувернер уехал в Англию, — и никогда я не забуду того чувства легкости, гордости, восторга и дикого ночного голода (особенно хотелось простокваши с черным хлебом), когда я шел по нашей преданно и даже льстиво шелестевшей аллее к темному дому (только у матери — свет) и слышал лай сторожевых псов. Тогда-то и началась моя стихотворная болезнь.

Бывало, сижу за завтраком, ничего не вижу, губы движутся, — и соседу, попросившему сахарницу, передаю свой стакан или салфетное кольцо. Несмотря на неопытное желание как можно скорее перевести на стихи шум любви, наполнявший меня (вспоминаю, как дядя Олег так прямо и говорил, что ежели он издал бы сборник, то непременно назвал бы его «Сердечные Шумы»), я уже тогда соорудил себе — грубую и бедную — мастерскую слов. При подборе прилагательных я уже знал, что такие, как «таинственный» или «задумчивый», просто и удобно заполняют

зияющее, жаждущее петь пространство от цезуры до конечного слова; что опять-таки под это конечное слово можно взять дополнительное прилагательное, короткое, двусложное, так чтоб получилось, скажем, «таинственный и нежный», — звуковая формула, являющаяся, кстати сказать, настоящим бедствием в рассуждении русской (да и французской) поэзии; я знал, что сподручных прилагательных амфибрахического образца (т. е. тех, которые зрительно можно себе представить в виде дивана с тремя подушками — со впадиной в средней) — пропасть, — и сколько я загубил таких «печальных», «любимых», «мятежных»; что хореических тоже вдосталь, а дактилических — куда меньше, и как-то они все стоят в профиль; что, наконец, анапестов и ямбов — маловато, и всё скучноватые да негибкие, вроде «неземной» или «немой». Я знал далее, что в четырехстопный стих приходят с собственным оркестром длиннейшие, приятнейшие «очаровательные» и «неизъяснимые», а что комбинация «таинственной и неземной» придает четырехстопной строке некую муаровость: так посмотришь — амфибрахий, а этак — ямб. Несколько позже монументальное исследование Андрея Белого о ритмах загипнотизировало меня

своей системой наглядного отмечания и подсчитывания полуударений, так что все свои старые четырехстопные стихи я немедленно просмотрел с этой новой точки зрения, страшно был огорчен преобладанием прямой линии, с пробелами и одиночными точками, при отсутствии каких-либо трапеций и прямоугольников; и с той поры, в продолжение почти года, — скверного, грешного года, — я старался писать так, чтобы получилась как можно более сложная и богатая схема:

Задумчиво и безнадежно
распространяет аромат
и неосуществимо нежно
уж полуувядает сад, —

и так далее, в том же духе: язык спотыкался, но честь была спасена. При изображении ритмической структуры этого чудовища получалось нечто вроде той шаткой башни из кофейниц, корзин, подносов, ваз, которую балансирует на палке клоун, пока не наступает на барьер, и тогда все медленно наклоняется над истошно вопящей ложей, а при падении оказывается безопасно нанизанным на привязь.

Вследствие, вероятно, слабой моторности моей молодой роликовой лирики, глаголы и прочие ча-

сти речи менее занимали меня. Не то — вопросы размера и ритма. Борясь с природной склонностью к ямбу, я волочился за трехдольником; а затем уклонения от метра увлекли меня. То было время, когда автор «Хочу быть дерзким» пустил в обиход тот искусственный четырехстопный ямб, с наростом лишнего слога посредине строки (или, иначе говоря, двухстопное восьмистишие с женскими окончаниями кроме четвертой и последней строки, поданное в виде четверостишья), которым, кажется, так никогда и не написалось ни одно истинно поэтическое стихотворение. Я давал этому пляшущему горбуну нести закат или лодку и удивлялся, что тот гаснет, та не плывет. Легче обстояло дело с мечтательной запинкой блоковского ритма, однако, как только я начинал пользоваться им, незаметно вкрадывался в мой стих голубой паж, инок или царевна, как по ночам к антиквару Штольцу приходила за своей треуголкой тень Бонапарта.

Рифмы по мере моей охоты за ними сложились у меня в практическую систему несколько картотечного порядка. Они были распределены по семейкам, получались гнезда рифм, пейзажи рифм. «Летучий» сразу собирал тучи над кручами жгучей пустыни и неминучей судьбы. «Небо-

склон» направлял музу к балкону и указывал ей на клен. «Цветы» подзывали мечты, на ты, среди темноты. Свечи, плечи, встречи и речи создавали общую атмосферу старосветского бала, Венского конгресса и губернаторских именин. «Глаза» синели в обществе бирюзы, грозы и стрекоз — и лучше было их не трогать. «Деревья» скучно стояли в паре с «кочевья», — как в наборной игре «городов» Швеция была представлена только двумя городами (а Франция, та — двенадцатью!). «Ветер» был одинок — только вдали бегал непривлекательный сеттер, — да пользовалась его предложным падежом крымская гора, а родительный — приглашал геометра. Были и редкие экземпляры — с пустыми местами, оставляемыми для других представителей серии, вроде «аметистовый», к которому я не сразу подыскал «перелистывай» и совершенно неприменимого неистового пристава. Словом, это была прекрасно размеченная коллекция, всегда у меня бывшая под рукой.

Не сомневаюсь, что даже тогда, в пору той уродливой и вредоносной школы (которой вряд ли бы я прельстился вообще, будь я поэтом чистой воды, не подпадающим никогда соблазну гармонической прозы), я все-таки знал вдохновение.

Волнение, которое меня охватывало, быстро окидывало ледяным плащом, сжимало мне суставы и дергало за пальцы, лунатическое блуждание мысли, неизвестно как находившей среди тысячи дверей дверь в шумный по-ночному сад, вздувание и сокращение души, то достигавшей размеров звездного неба, то уменьшавшейся до капельки ртути, какое-то раскрывание каких-то внутренних объятий, классический трепет, бормотание, слезы, — все это было настоящее. Но в эту минуту, в торопливой, неумелой попытке волнение разрешить, я хватался за первые попавшиеся заезженные слова, за готовое их сцепление, так что как только я приступал к тому, что мнилось мне творчеством, к тому, что должно было быть выражением, живой связью между моим божественным волнением и моим человеческим миром, все гасло на гибельном словесном сквозняке, а я продолжал вращать эпитеты, налаживать рифму, не замечая разрыва, унижения, измены, — как человек, рассказывающий свой сон (как всякий сон, бесконечно свободный и сложный, но сворачивающийся, как кровь, по пробуждении), незаметно для себя и для слушателей округляет, подчищает, одевает его по моде ходячего бытия, и если начинает так: «Мне

снилось, что я сижу у себя в комнате», чудовищно опошляет приемы сновидения, подразумевая, что она была обставлена совершенно так, как его комната наяву.

Прощание навеки: в зимний день с крупным снегом, валившим с утра, всячески — и отвесно, и косо, и даже вверх. Ее большие ботики и маленькая муфта. Она увозила с собой решительно все — и между прочим тот парк, где летом встречались. Оставалось только его рифмованная опись, да портфель под мышкой, потрепанный портфель восьмиклассника, не пошедшего в школу. Странное стеснение, желание сказать важное, молчание, рассеянные, незначительные слова. Любовь, скажем просто, повторяет перед последней разлукой музыкальную тему робости, предшествовавшую первому признанию. Клетчатое прикосновение ее соленых губ сквозь вуаль. На вокзале была мерзкая, животная суета: это было время, когда щедрой рукой сеялись семена цветка счастья, солнца, свободы. Он теперь подрос. Россия заселена подсолнухами. Это самый большой, самый мордастый и самый глупый цветок.

Стихи: о разлуке, о смерти, о прошлом. Невозможно определить (но, кажется, это случилось

уже за границей) точный срок перемены в отношении к стихотворчеству, — когда опротивела мастерская, классификация слов, коллекция рифм. Но как было мучительно трудно все это сломать, рассыпать, забыть! Ложные навыки держались крепко, сжившиеся слова не хотели расцепиться. Сами по себе они не были ни плохи, ни хороши, но их соединение по группам, круговая порука рифм, раздобревшие ритмы, — все это делало их страшными, гнусными, мертвыми. Считать себя бездарностью вряд ли было бы лучше, чем верить в свою гениальность: Федор Константинович сомневался в первом и допускал второе, а главное, силился не поддаваться бесовскому унынию белого листа. Раз были вещи, которые ему хотелось высказать так же естественно и безудержно, как легкие хотят расширяться, значит, должны были найтись годные для дыхания слова. Часто повторяемые поэтами жалобы на то, что, ах, слов нет, слова бледный тлен, слова никак не могут выразить наших каких-то там чувств (и тут же кстати разъезжается шестистопным хореем), ему казались столь же бессмысленными, как степенное убеждение старейшего в горной деревушке жителя, что вон на ту гору никогда никто не взбирался и не взберется; в одно прекрасное,

холодное утро появляется длинный, легкий англичанин — и жизнерадостно вскарабкивается на вершину.

Первое чувство освобождения шевельнулось в нем при работе над книжкой «Стихи», изданной вот уже больше двух лет тому назад. Она осталась в сознании приятным упражнением. Кое-что, правда, из этих пятидесяти восьмистиший было вспоминать совестно, — например, о велосипеде или дантисте, — но зато было и кое-что живое и верное: хорошо получился закатившийся и найденный мяч, причем в последней строфе нарушение рифмы (словно строка перелилась через край) до сих пор пело у него в слухе, все так же выразительно и вдохновенно. Книгу он издал за свой счет (продал случайно оставшийся от прежнего богатства плоский золотой портсигар, с нацарапанной датой далекой летней ночи, — о как скрипела ее мокрая от росы калитка!) в количестве пятисот экземпляров, из которых четыреста двадцать девять лежали до сих пор, непочатые и пыльные, ровным плоскогорием с одним уступом на складе у распространителя. Девятнадцать он раздарил, один оставил себе. Иногда задумывался над вопросом, кто, собственно говоря, эти пятьдесят один человек, купившие

его книжечку? Он представлял себе некоторое помещение, полное этих людей (вроде собрания акционеров — «читателей Годунова-Чердынцева»), и все они были похожи друг на друга, с вдумчивыми глазами и белой книжечкой в ласковых руках. Достоверно узнал он про судьбу только одного экземпляра: его купила два года тому назад Зина Мерц.

Он лежал и курил, и потихоньку сочинял, наслаждаясь утробным теплом постели, тишиной в квартире, ленивым течением времени: Марианна Николаевна еще не скоро вернется, а обед — не раньше четверти второго. За эти три месяца комната совершенно обносилась, и ее движение в пространстве теперь вполне совпадало с движением его жизни. Звон молотка, шипение насоса, треск проверяемого мотора, немецкие взрывы немецких голосов, — все то будничное сочетание звуков, которое всегда по утрам исходило слева от двора, где были гаражи и автомобильные мастерские, давно стало привычным и безвредным, — едва заметным узором по тишине, а не ее нарушением. Небольшой стол у окна можно было тронуть носком ноги, если вытянуть ее из-под солдатского одеяла, а выкинутой вбок рукой можно было коснуться шкапа

у левой стены (который, кстати сказать, иногда вдруг, без всякой причины, раскрывался с толковым видом простака-актера, вышедшего не в свое время на сцену). На столе стояла лешинская фотография, пузырек с чернилами, лампа под молочным стеклом, блюдечко со следами варенья; лежали «Красная Новь», «Современные Записки» и сборничек стихов Кончеева «Сообщение», только что вышедший. На коврике у кушетки-постели валялась вчерашняя газета и зарубежное издание «Мертвых Душ». Всего этого он сейчас не видел, но все это было тут: небольшое общество предметов, приученное к тому, чтобы становиться невидимым, и в этом находившее свое назначение, которое выполнить только и могло оно при наличии определенного состава. Он был исполнен блаженнейшего чувства: это был пульсирующий туман, вдруг начинавший говорить человеческим голосом. Лучше этих мгновений ничего не могло быть на свете. Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо; как родине, будь вымыслу верна. Наш час настал. Собаки и калеки одни не спят. Ночь летняя легка. Автомобиль, проехавший, навеки последнего увез ростовщика. Близ фонаря, с оттенком

маскарада, лист жилками зелеными сквозит. У тех ворот — кривая тень Багдада, а та звезда над Пулковом висит. О, поклянись что — —

Из передней грянул звон телефона. По молчаливому соглашению Федор Константинович его обслуживал в отсутствие хозяев. А что, если я теперь не встану? Звон длился, длился, с небольшими перерывами для перевода дыхания. Он не желал умереть; оставалось его убить. Не выдержав, с проклятием, Федор Константинович как дух пронесся в переднюю. Русский голос раздраженно спросил, кто говорит. Федор Константинович мгновенно его узнал: это был неведомый абонент — по прихоти случая, соотечественник — уже вчера попавший не туда, куда хотел, и нынче опять, по сходству номера, нарвавшийся на это же неправильное соединение. «Уйдите, ради Христа», — сказал Федор Константинович и с брезгливой поспешностью повесил трубку. На минуту зашел в ванную, выпил на кухне чашку холодного кофе и ринулся обратно в постель. Как звать тебя? Ты полу-Мнемозина, полумерцанье в имени твоем, — и странно мне по сумраку Берлина с полувиденьем странствовать вдвоем. Но вот скамья под липой освещенной… Ты оживаешь в судорогах слез: я вижу взор, сей

жизнью изумленный, и бледное сияние волос. Есть у меня сравненье на примете, для губ твоих, когда целуешь ты: нагорный снег, мерцающий в Тибете, горячий ключ и в инее цветы. Ночные наши, бедные владения, — забор, фонарь, асфальтовую гладь — поставим на туза воображения, чтоб целый мир у ночи отыграть! Не облака — а горные отроги; костер в лесу, — не лампа у окна… О поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна…

В полдень послышался клюнувший ключ, и характерно трахнул замок: это с рынка домой Марианна пришла Николавна; шаг ее тяжкий под тошный шумок макинтоша отнес мимо двери на кухню пудовую сетку **с продуктами**. Муза Российския прозы, простись навсегда с капустным гекзаметром автора «Москвы». Стало как-то неуютно. От утренней емкости времени не осталось ничего. Постель обратилась в пародию постели. В звуках готовившегося на кухне обеда был неприятный упрек, а перспектива умывания и бритья казалась столь же близкой и невозможной, как перспектива у мастеров раннего средневековья. Но и с этим тоже придется тебе когда-нибудь проститься.

Четверть первого, двадцать минут первого,

половина… Он разрешил себе одну последнюю папиросу среди цепкого, хоть уже опостылого постельного тепла. Анахронизм подушки становился все явственнее. Недокурив, он встал и сразу перешел из мира многих занимательных измерений в мир тесный и требовательный, с другим давлением, от которого мгновенно утомилось тело и заболела голова; в мир холодной воды: горячая нынче не шла.

Стихотворное похмелье, уныние, грустный зверь… Вчера забыл сполоснуть бритвенный снарядик, между зубцами — каменная пена, ножик заржавел, а другого нет. Из зеркала смотрел бледный автопортрет с серьезными глазами всех автопортретов. Сбоку, на подбородке, в нежно-раздражительном месте, среди за ночь выросших волосков (сколько еще метров я в жизни сбрею?) появился желтоголовый чиреек, который мгновенно сделался средоточием всего Федора Константиновича, сборным пунктом, куда стянулись все неприятные чувства, жившие в различных частях его существа. Выжал, — хотя знал, что потом распухнет втрое. Как это все ужасно. Сквозь холодную мыльную пену пробивался

красный глазок: L'oeil regardait Caïn[32]. Между тем «жиллет» не брал волоса, и ощущение щетины при поверке пальцем отзывало адовой безнадежностью. В соседстве кадыка появились кровавые росинки, а волоски были все тут как тут. Степь Отчаяния. Кроме всего, было темновато, а если зажечь свет, то ничем не помогала иммортелевая желтизна дневного электричества. Кое-как добрившись, он брезгливо полез в ванну, застонал под ледяным напором душа, а потом ошибся полотенцем и с тоской подумал, что весь день будет пахнуть Марианной Николаевной. Лицо горело отвратительно шероховато, с одним специально раскаленным угольком сбоку на подбородке. Вдруг сильно дернулась ручка двери (это вернулся Щеголев). Федор Константинович подождал, пока удалились шаги, и проскочил к себе.

Вскоре он уже был в столовой. Марианна Николаевна разливала суп. Он поцеловал ее шершавую руку. Ее дочь, только что пришедшая со службы, явилась к столу медленными шажками, изможденная и как бы затуманенная конторой; села с изящной вялостью — папироса в длинных пальцах, на ресницах пудра, бирюзовый шел-

---

[32] Примечания: 32
Око смотрело на Каина *(фр.)*.

ковый джампер, отчесанные с висков светлые стриженые волосы, хмурость, молчание, пепел. Щеголев хлопнул водочки, засунул салфетку за воротник и начал хлебать, приветливо и опасливо поглядывая на падчерицу. Она медленно размешала в борще белый восклицательный знак сметаны, но затем, пожав плечом, отставила тарелку. Марианна Николаевна, угрюмо следившая за ней, бросила на стол салфетку и вышла из столовой.

«Поешь, Аида», — сказал Борис Иванович, вытягивая мокрые губы. Ничего не ответив, словно его не было, — только вздрогнули ноздри узкого носа, — она повернулась на стуле, легко и естественно изогнула длинный стан, достала с буфета сзади пепельницу, поставила у тарелки, сбросила пепел. Марианна Николаевна с мрачно-обиженным выражением на полном, кустарно накрашенном лице вернулась с кухни. Дочь положила левый локоть на стол и, слегка на него опираясь, медленно принялась за суп.

«Ну что, Федор Константинович, — начал Щеголев, утолив первый голод, — дело, кажется, подходит к развязке! Полный разрыв с Англией, Хинчука по шапке… Это, знаете, уже пахнет чем-то серьезным. Помните, я еще так недавно

говорил, что выстрел Коверды — первый сигнал! Война! Нужно быть очень и очень наивным, чтобы отрицать ее неизбежность. Посудите сами, на востоке Япония не может потерпеть — —»

И Щеголев пошел рассуждать о политике. Как многим бесплатным болтунам, ему казалось, что вычитанные им из газет сообщения болтунов платных складываются у него в стройную схему, следуя которой логический и трезвый ум (его ум, в данном случае) без труда может объяснить и предвидеть множество мировых событий. Названия стран и имена их главных представителей обращались у него вроде как в ярлыки на более или менее полных, но по существу одинаковых сосудах, содержание которых он переливал так и этак. Франция того-то **боялась** и потому никогда бы не **допустила**. Англия того-то **добивалась**. Этот политический деятель **жаждал** сближения, а тот — увеличить свой **престиж**. Кто-то **замышлял** и кто-то к чему-то **стремился**. Словом — мир, создаваемый им, получался каким-то собранием ограниченных, безъюморных, безликих, отвлеченных драчунов, и чем больше он находил в их взаимных действиях ума, хитрости, предусмотрительности, тем становился этот мир глупее, пошлее и проще. Совсем страшно

бывало, когда он попадал на другого такого же любителя политических прогнозов. Был, например, полковник Касаткин, приходивший иногда к обеду, и тогда сшибалась щеголевская Англия не с другой щеголевской страной, а с Англией касаткинской, такой же несуществующей, так что в каком-то смысле войны международные превращались в межусобные, хотя воюющие стороны находились в разных планах, никак не могущих соприкоснуться. Сейчас, слушая его, Федор Константинович поражался семейному сходству именуемых Щеголевым стран с различными частями тела самого Щеголева: так, «Франция» соответствовала его предостерегающе приподнятым бровям; какие-то «лимитрофы» — волосам в ноздрях, какой-то «польский коридор» шел по его пищеводу; в «Данциге» был щелк зубов. А сидел Щеголев на России.

Он проговорил весь обед (гуляш, кисель) и, ковыряя сломанной спичкой в зубах, пошел соснуть. Марианна Николаевна, перед тем как сделать то же, занялась мойкой посуды. Дочь, так и не проронив ни слова, отправилась опять на службу.

Только Федор Константинович успел убрать постельное белье с кушетки, как к нему явился

ученик, толстый, бледный юноша в роговых очках, с вечным пером в грудном кармане. Учась в берлинской гимназии, бедняга настолько пропитался местным бытом, что и в английской речи делал те же невытравимые ошибки, которые сделал бы кегельноголовый немец. Не было, например, такой силы, которая могла бы заставить его перестать употреблять несовершенный вид прошедшего времени вместо совершенного, что придавало всякому его вчерашнему случайному действию какое-то идиотское постоянство. Столь же упорно он английским «тоже» орудовал как немецким «итак», и, одолевая тернистое окончание в слове, означавшем «одежды», неизменно добавлял лишний свистящий слог, как если б человек поскользнулся после взятия препятствия. Вместе с тем он изъяснялся довольно свободно и только потому обратился к помощи репетитора, что хотел на выпускном экзамене получить высший балл. Он был самодоволен, рассудителен, туп и по-немецки невежественен, т. е. относился ко всему, чего не знал, скептически. Твердо считая, что смешная сторона вещей давным-давно разработана там, где ей и полагается быть, — на последней странице берлинского иллюстрированного еженедельника, — он никогда не

смеялся — разве только снисходительно хмыкал. Единственное, что еще мало-мальски могло его развеселить, это рассказ о какой-нибудь остроумной денежной операции. Вся философия жизни сократилась у него до простейшего положения: бедный несчастлив, богатый счастлив. Это узаконенное счастье игриво складывалось, под аккомпанемент первоклассной танцевальной музыки, из различных предметов технической роскоши. На урок он норовил прийти всегда на несколько минут раньше и старался уйти на столько же позже.

Спеша на следующую пытку, Федор Константинович вышел с ним вместе, и тот, сопровождая его до угла, попытался даром добрать еще несколько английских выражений, но Федор Константинович, сухо веселясь, перешел на русскую речь. Они расстались на перекрестке. Это был ветреный и растрепанный перекресток, не совсем доросший до ранга площади, хотя тут была и кирка, и сквер, и угловая аптека, и уборная среди туй, и даже треугольный островок с киоском, у которого лакомились молоком трамвайные кондуктора. Множество улиц, расходившихся во все стороны, выскакивавших из-за углов и огибавших упомянутые места молитвы и прохлаждения, превра-

щало перекресток в одну из тех схематических картинок, на которых, в назидание начинающим автомобилистам, изображены все городские стихии, все возможности их столкновения. Справа виднелись ворота трамвайного парка, с тремя прекрасными березами, нежно выделявшимися на его цементном фоне, и если, скажем, иной рассеянный вагоновожатый не застопорил бы около киоска за три метра до законной остановки (причем непременно какая-нибудь женщина с пакетами суетливо пыталась сойти, и ее все удерживали), чтобы острием железного шеста переставить стрелку (увы, такая рассеянность не встречалась почти никогда), вагон торжественно свернул бы под стеклянный свод, где ночевал и чинился. Кирка, громоздившаяся слева, была низко опоясана плющом; над каймой газона вокруг нее темнело несколько кустов рододендрона в лиловых цветах, а по ночам там можно было видеть какого-нибудь таинственного человека с таинственным фонариком, ищущего на дерне земляных червей — для своих птиц? для ужения рыбы? Против кирки, через улицу, зеленела под сиянием струи, вальсировавшей на месте с призраком радуги в росистых объятиях, продолговатая лужайка сквера, с молодыми деревьями

по бокам (среди них серебристая ель) и аллеей покоем, в наиболее тенистом углу которой была песочная яма для детей, а мы этот жирный песок трогаем только тогда, когда хороним знакомых. За сквером было запущенное футбольное поле, вдоль которого Федор Константинович и пошел к Курфюрстендаму. Зелень лип, чернота асфальта, толстые шины, прислоненные к решетке палисадника около магазина автомобильных штук, рекламная молодуха с сияющей улыбкой, показывающая кубик маргарина, синяя вывеска трактира, серые фасады домов, стареющих по мере приближения к проспекту, — все это в сотый раз мелькнуло мимо него. Как всегда, за несколько шагов до Курфюрстендама, он увидел, как впереди, поперек пролета, пронесся нужный автобус: остановка была сразу за углом, но Федор Константинович не успел добежать и пришлось ждать следующего. Над порталом кинематографа было вырезано из картона черное чудовище на вывороченных ступнях с пятном усов на белой физиономии под котелком и гнутой тростью в отставленной руке. В плетеных креслах на террасе соседнего кафе, одинаково развалясь и одинаково сложив перед собой пальцы крышей, сидела компания деловых мужчин, очень между собою

схожих в смысле морд и галстуков, но, вероятно, различной платежеспособности; а между тем небольшой автомобиль, с сильно поврежденным крылом, разбитыми стеклами и окровавленным платком на подножке, стоял у панели, и на него еще глазело человек пять зевак. Все было пестро от солнца; на зеленой скамейке, спиной к улице, грелся щуплый, с крашеной бородкой, старик в пикейных гетрах, а против него, через тротуар, пожилая, румяная нищая с отрезанными до таза ногами, приставленная, как бюст, к низу стены, торговала парадоксальными шнурками. Между домами виднелось незастроенное место, и там что-то скромно и таинственно цвело, а задние, сплошные, аспидно-черные стены каких-то других **отвернувшихся** домов в глубине были в странных, привлекательных и как будто ни от чего не зависевших белесых разводах, напоминавших не то каналы на Марсе, не то что-то очень далекое и полузабытое, вроде случайного выражения из когда-то слышанной сказки, или старые декорации для каких-то неведомых драм.

С изогнутой лестницы подошедшего автобуса спустилась пара очаровательных шелковых ног: мы знаем, что это вконец затаскано усилием тысячи пишущих мужчин, но все-таки они сошли,

эти ноги, — и обманули: личико было гнусное. Федор Константинович взобрался, кондуктор, замешкав на империале, сверху бахнул ладонью по железу борта, тем давая знать шоферу, что можно трогаться дальше. По этому борту, по рекламе зубной пасты на нем, зашуршали концы мягких ветвей кленов, — и было бы приятно смотреть с высоты на скользящую, перспективой облагороженную улицу, если бы не всегдашняя, холодненькая мысль: вот он, особенный, редкий, еще не описанный и не названный вариант человека, занимается Бог знает чем, мчится с урока на урок, тратит юность на скучное и пустое дело, на скверное преподавание чужих языков, — когда у него свой, из которого он может сделать все что угодно — и мошку, и мамонта, и тысячу разных туч. Вот бы и преподавал то таинственнейшее и изысканнейшее, что он, один из десяти тысяч, ста тысяч, быть может даже миллиона людей, мог преподавать: например — многопланность мышления: смотришь на человека и видишь его так хрустально-ясно, словно сам только что выдул его, а вместе с тем, нисколько ясности не мешая, замечаешь побочную мелочь — как похожа тень телефонной трубки на огромного, слегка подмятого муравья, и (все это одновременно) загибается

третья мысль — воспоминание о каком-нибудь солнечном вечере на русском полустанке, т. е. о чем-то не имеющем никакого разумного отношения к разговору, который ведешь, обегая снаружи каждое свое слово, а снутри — каждое слово собеседника. Или: пронзительную жалость — к жестянке на пустыре, к затоптанной в грязь папиросной картинке из серии «национальные костюмы», к случайному бедному слову, которое повторяет добрый, слабый, любящий человек, получивший зря нагоняй, — ко всему сору жизни, который путем мгновенной алхимической перегонки, **королевского опыта**, становится чем-то драгоценным и вечным. Или еще: постоянное чувство, что наши здешние дни — только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор. Всему этому и многому еще другому (начиная с очень редкого и мучительного, так называемого чувства звездного неба, упомянутого, кажется, только в одном научном труде, паркеровском «Путешествии Духа», — и кончая профессиональными тонкостями в области художественной литературы) он мог учить, и хорошо учить, желающих, но желающих не было

— и не могло быть, а жаль, брал бы за час марок сто, как берут иные профессора музыки. И вместе с тем он находил забавным себя же опровергать: все это пустяки, тени пустяков, заносчивые мечтания. Я просто бедный молодой россиянин, распродающий излишек барского воспитания, а в свободное время пописывающий стихи, вот и все мое маленькое бессмертие. Но даже этому переливу многогранной мысли, игре мысли с самой собою, некого было учить.

Он ехал — и вот доехал — к одинокой во всех смыслах молодой женщине, очень красивой, несмотря на веснушки, всегда в черном платье, с открытой шеей, и с губами как сургучная печать на письме, в котором ничего не написано. Она все смотрела на Федора Константиновича с задумчивым любопытством, не только не интересуясь замечательным романом Стивенсона, который он с нею уже три месяца читал (а до того, таким же темпом, читали Киплинга), но не понимая толком ни одного предложения и записывая слова, как записываешь адрес человека, к которому знаешь, что никогда не пойдешь. Даже теперь — или, точнее говоря, именно теперь, и с большим волнением, чем раньше, Федор Константинович, влюбленный в другую, ни с кем не сравнимую по

очарованию и уму, подумывал о том, что было бы, если б он положил ладонь на вот эту, слегка дрожащую, маленькую, с острыми ногтями, руку, лежащую так пригласительно близко, — и оттого, что он знал, что тогда было бы, сердце вдруг начинало колотиться, и сразу высыхали губы; однако тут же его невольно отрезвляла какая-нибудь ее интонация, смешок, веяние тех определенных духов, которыми почему-то душились как раз те женщины, которым он нравился, хотя ему был как раз невыносим этот мутный, сладковато-бурый запах. Это была ничтожная, лукавая, с вялой душой женщина; но и нынче, когда кончился урок и он вышел на улицу, его охватила смутная досада: он вообразил гораздо лучше, чем давеча при ней, как, должно быть, податливо и весело на все нашло бы ответ ее небольшое, сжатое тело, и с болезненной живостью он увидел в воображаемом зеркале свою руку на ее спине и ее закинутую назад, гладкую, рыжеватую голову, а потом зеркало многозначительно опустело, и он почувствовал то, что пошлее всего на свете: укол упущенного случая.

Нет, это было не так, — он ничего не упустил. Единственная прелесть этих несбыточных объятий была в их легкой воображаемости. За

последние десять лет одинокой и сдержанной молодости, живя на скале, где всегда было немножко снега и откуда было далеко спускаться в пивоваренный городок под горой, он привык к мысли, что между обманом походной любви и сладостью ее соблазна — пустота, провал жизни, отсутствие всяких реальных действий с его стороны, так что иной раз, когда он заглядывался на прохожую, он купно переживал и потрясающую возможность счастья, и отвращение к его неизбежному несовершенству, — вкладывая в это одно мгновение образ романа, но на среднюю часть сокращая его триптих. Он знал поэтому, что и в данном случае чтение Стивенсона никогда не прервется Дантовой паузой, знал, что, случись такой перерыв, он не испытал бы ничего, кроме убийственного холода, что требования воображения неисполнимы и что тупости взгляда, прощаемой прелестным, влажным глазам, неизбежно соответствует недостаток, до тех пор скрытый, — тупое выражение груди, которое простить невозможно. А иногда он завидовал простому любовному быту других мужчин и тому, как они, должно быть, посвистывают, разуваясь.

Перейдя Виттенбергскую площадь, где, как в цветном кинематографе, дрожали на ветру розы

вокруг античной лестницы, ведущей на подземную станцию, он направился в русскую книжную лавку: между уроками был просвет пустого времени. Как бывало всегда, когда он попадал на эту улицу (начинавшуюся под покровительством огромного универсального магазина, торгующего всеми формами местного безвкусия, а кончавшуюся, после нескольких перекрестков, в бюргерской тиши, с тополевой тенью на асфальте, разрисованном детскими мелками), он встретил пожилого, болезненно озлобленного петербургского литератора, носящего летом пальто, чтобы скрыть убожество костюма, страшно тощего, с карими глазами навыкате, брезгливыми морщинами у обезьяньего рта и одним длинным загнутым волосом, растущим из крупной черной поры на широком носу, — подробность, больше привлекавшая внимание Федора Константиновича, чем разговор этого умного каверзника, немедленно при встрече приступавшего к чему-то вроде притчи, к отвлеченному и длинному анекдоту из прошлого, оказывавшемуся лишь предисловием к забавной сплетне об общем знакомом. Едва Федор Константинович развязался с ним, как завидел двух других литераторов, добродушно-мрачного москвича, осанкой и обликом

несколько напоминавшего Наполеона островного периода, и сатирического поэта из «Газеты», тщедушного, беззлобно остроумного человека, с тихим хриплым голоском. Эти двое, как и предыдущий, неизменно попадались в данном районе, которым пользовались для неторопливых прогулок, богатых встречами, так что получалось, как если бы тут, на этой немецкой улице, блуждал призрак русского бульвара, или даже наоборот: улица в России, несколько прохлаждающихся жителей и бледные тени бесчисленных инородцев, мелькавшие промеж них, как привычное и едва заметное наваждение. Поговорили о только что встреченном писателе, и Федор Константинович поплыл дальше. Через несколько шагов он заметил Кончеева, читавшего на тихом ходу подвал парижской «Газеты» с удивительной, ангельской улыбкой на круглом лице. Из русского гастрономического магазина вышел инженер Керн, опасливо суя пакетик в портфель, прижатый к груди, а на поперечной улице (как стечение людей во сне или в последней главе «Дыма») мелькнула Марианна Николаевна Щеголева с какой-то другой дамой, усатой и очень полной, которая, кажется, была Абрамовой. Немедленно затем пересек улицу Александр Яковлевич, —

нет, ошибка, — даже не очень похожий на него господин.

Федор Константинович добрался до книжной лавки. В витрине виднелось, среди зигзагов, зубцов и цифр советских обложек (это было время, когда в моде там были заглавия «Любовь Третья», «Шестое чувство», «Семнадцатый пункт»), несколько эмигрантских новинок: новый, дородный роман генерала Качурина «Красная Княжна», кончеевское «Сообщение», белые, чистые книги двух маститых беллетристов, «Чтец-Декламатор», изданный в Риге, крохотная, в ладонь, книжка стихов молодой поэтессы, руководство «Что должен знать шофер» и последний труд доктора Утина «Основы счастливого брака». Было и несколько старых петербургских гравюр, — одна на зеркальный выворот, с перестановкой ростральной колонны по отношению к соседним зданиям.

В лавке хозяина не оказалось: он ушел к зубному врачу, и его заменяла довольно случайная барышня, читавшая в углу в неудобной позе «Туннель» Келлермана по-русски. Федор Константинович подошел к столику, где были разложены эмигрантские периодические издания. Он развернул литературный номер парижской «Газеты» и с

холодком внезапного волнения увидел большой фельетон Христофора Мортуса, посвященный «Сообщению». «А вдруг бранит?» — с безумной надеждой успел подумать он, уже, впрочем, слыша в ушах, вместо мелодии хулы, мчащийся гул оглушительных похвал. Он жадно начал читать.

«Не помню кто — кажется, Розанов, говорит где-то», — начинал, крадучись, Мортус; и, приведя сперва эту недостоверную цитату, потом какую-то мысль, кем-то высказанную в парижском кафе после чьей-то лекции, начинал суживать эти искусственные круги вокруг «Сообщения» Кончеева, причем до конца так и не касался центра, а только изредка направлял к нему месмерический жест с внутреннего круга — и опять кружился. Получалось нечто вроде тех черных спиралей на картонных кругах, которые, в безумном стремлении обратиться в мишень, бесконечно вращаются в витринах берлинских мороженников.

Это был ядовито-пренебрежительный «разнос», без единого замечания по существу, без единого примера, — и не столько слова, сколько вся манера критика претворяла в жалкий и сомнительный призрак книгу, которую на самом деле Мортус не мог не прочесть с наслаждением, а

потому выдержек избегал, чтобы не напортить себе несоответствием между тем, что он писал, и тем, о чем он писал; весь фельетон казался сеансом с вызовом духа, который заранее объявлялся если не шарлатанством, то обманом чувств. «Эти стихи, — кончал Мортус, — возбуждают у читателя какое-то неопределенное и непреодолимое отталкивание. Друзьям таланта Кончеева они, вероятно, покажутся прелестными. Не будем спорить, — может быть, это действительно так. Но в наше трудное, по-новому ответственное время, когда в самом воздухе разлита тонкая моральная тревога, ощущение которой является непогрешимым признаком „подлинности“ современного поэта, отвлеченно-певучие пьески о полусонных видениях не могут никого обольстить. И право же, от них переходишь с каким-то отрадным облегчением к любому человеческому документу, к тому, что „вычитываешь“ у иного советского писателя, пускай и не даровитого, к бесхитростной и горестной исповеди, к частному письму, продиктованному отчаянием и волнением».

Сначала Федор Константинович почувствовал острое, почти физическое удовольствие от этой статьи, но тотчас оно рассеялось, сменившись странным ощущением, словно он принимал

участие в хитром и дурном деле. Он вспомнил давешнюю улыбку Кончеева — над этими строками, конечно, — и подумал, что эта улыбка могла бы отнестись и к нему, Годунову-Чердынцеву, заключившему с критиком завистливый союз. Тут же он вспомнил, что сам Кончеев в своих критических обзорах не раз, — свысока и, в сущности, столь же недобросовестно, — задевал Мортуса (который, кстати сказать, был в частной жизни женщиной средних лет, матерью семейства, в молодости печатавшей в «Аполлоне» отличные стихи, а теперь скромно жившей в двух шагах от могилы Башкирцевой и страдавшей неизлечимой болезнью глаз, что придавало каждой строке Мортуса какую-то трагическую ценность). И когда Федор Константинович почувствовал бесконечно лестную враждебность этой статьи, ему стало досадно, что о нем так никто не пишет.

Он еще просмотрел еженедельный иллюстрированный журнальчик, выходивший в Варшаве, и нашел рецензию на тот же предмет, но совсем другого пошиба. Это была критика-буфф. Тамошний Валентин Линев, из номера в номер бесформенно, забубенно и не вполне грамотно изливавший свои литературные впечатления, был славен тем, что не только не мог разобраться в

отчетной книге, но, по-видимому, никогда не дочитывал ее до конца. Бойко творя из-под автора, увлекаясь собственным пересказом, выхватывая отдельные фразы в подтверждение неправильных заключений, плохо понимая начальные страницы, а в следующих энергично пускаясь по ложному следу, он добирался до предпоследней главы в блаженном состоянии пассажира, еще не знающего (а в его случае так и не узнающего), что сел не в тот поезд. Неизменно бывало, что, долистав вслепую длинный роман или коротенькую повесть (размер не играл роли), он навязывал книге собственное окончание, — обыкновенно как раз противоположное замыслу автора. Другими словами, если бы, скажем, Гоголь приходился ему современником и Линев о нем писал, то он прочно остался бы при невинном убеждении, что Хлестаков — ревизор в самом деле. Когда же, как сейчас, он писал о стихах, то простодушно употреблял прием так называемых **межцитатных** мостиков. Его разбор кончеевской книги сводился к тому, что он за автора отвечал на какую-то подразумеваемую альбомную анкету (Ваш любимый цветок? Любимый герой? Какую добродетель вы больше всего цените?): «Поэт, — писал о Кончееве Линев, — любит (следовала

цепочка цитат, искаженных насилием их сочетания и винительных падежей). Его пугает (опять обрубки стихов). Он находит утешение в — (та же игра); но с другой стороны — (три четверти стиха, обращенных посредством кавычек в плоское утверждение); иногда же ему кажется, что», — и тут Линев ненароком выковырнул что-то более или менее целое:

> *Виноград созревал, изваянья в аллеях синели.*
>
> *Небеса опирались на снежные плечи отчизны —*

и это было так, словно голос скрипки вдруг заглушил болтовню патриархального кретина.

На другом столе, рядом, были разложены советские издания, и можно было нагнуться над омутом московских газет, над адом скуки, и даже попытаться разобрать сокращения, мучительную тесноту нарицательных инициалов, через всю Россию возимых на убой, — их страшная связь напоминала язык товарных вагонов (бухание буферов, лязг, горбатый смазчик с фонарем, пронзительная грусть глухих станций, дрожь русских рельсов, поезда бесконечно дальнего следования). Между «Звездой» и «Красным Огоньком»

(дрожащим в железнодорожном дыму) лежал номер шахматного журнальчика «8 × 8»; Федор Константинович перелистал его, радуясь человеческому языку задачных диаграмм, и заметил статейку с портретом жидкобородого старика, исподлобья глядящего через очки, — статейка была озаглавлена «Чернышевский и шахматы». Он подумал, что это может позабавить Александра Яковлевича, и, отчасти по этой причине, отчасти потому, что вообще любил задачи, журнальчик взял; барышня, оторвавшись от Келлермана, «не сумела сказать», сколько он стоит, но, зная, что Федор Константинович и так должен в лавке, равнодушно отпустила его. Он ушел с приятным чувством, что дома будет развлечение. Не только отменно разбираясь в задачах, но будучи в высшей мере одарен способностью к их составлению, он в этом находил и отдых от литературного труда, и таинственные уроки. Как литератору эти упражнения не проходили ему даром.

Шахматный композитор не должен непременно хорошо играть. Федор Константинович играл весьма посредственно и неохотно. Его утомляла и бесила дисгармония между невыносливостью его шахматной мысли в процессе борьбы и тем восклицательным блеском, к которому она поры-

валась. Для него составление задачи отличалось от игры приблизительно так, как выверенный сонет отличается от полемики публицистов. Начиналось с того, что, вдали от доски (как в другой области — вдали от бумаги) и при горизонтальном положении тела на диване (т. е. когда тело становится далекой синей линией, горизонтом себя самого), вдруг, от внутреннего толчка, неотличимого от вдохновения поэтического, ему являлся диковинный способ осуществления той или иной изощренной задачной идеи (скажем, союза двух тем, индийской и бристольской, — или идеи вовсе новой). Некоторое время он с закрытыми глазами наслаждался отвлеченной чистотой лишь в провидении воплощенного замысла; потом стремительно раскрывал сафьяновую доску и ящичек с полновесными фигурами, расставлял их начерно, с разбега, и сразу выяснялось, что идея, осуществленная так чисто в мозгу, тут, на доске, требует — для своего очищения от толстой резной скорлупы — неимоверного труда, предельного напряжения мысли, бесконечных испытаний и забот, а главное — той последовательной находчивости, из которой, в шахматном смысле, складывается истина. Соображая варианты, так и этак исключая громоздкости построения, кляксы

и бельма подспорных пешек, борясь с побочными решениями, он добивался крайней точности выражения, крайней экономии гармонических сил. Если бы он не был уверен (как бывал уверен и при литературном творчестве), что воплощение замысла уже существует в некоем другом мире, из которого он его переводил в этот, то сложная и длительная работа на доске была бы невыносимой обузой для разума, допускающего, наряду с возможностью воплощения, возможность его невозможности. Мало-помалу фигуры и клетки начинали оживать и обмениваться впечатлениями. Грубая мощь ферзя превращалась в изысканную силу, сдерживаемую и направляемую системой сверкающих рычагов; умнели пешки; кони выступали испанским шагом. Все было осмыслено, и вместе с тем все было скрыто. Всякий творец — заговорщик; и все фигуры на доске, разыгрывая в лицах его мысль, стояли тут конспираторами и колдунами. Только в последний миг ослепительно вскрывалась их тайна.

Еще два-три очистительных штриха, еще одна проверка, — и задача была готова. Ее ключ, первый ход белых, был замаскирован своей мнимой нелепостью, — но именно расстоянием между ней и ослепительным разрядом смысла

измерялось одно из главных художественных достоинств задачи, а в том, как одна фигура, точно смазанная маслом, гладко заходила за другую, скользнув через все поле и забравшись к ней под мышку, была почти телесная приятность, щекочущее ощущение ладности. На доске звездно сияло восхитительное произведение искусства: планетариум мысли. Все тут веселило шахматный глаз: остроумие угроз и защит, грация их взаимного движения, чистота матов (сколько-то пуль на столько-то сердец); каждая фигура казалась нарочно сработанной для своего квадрата; но, может быть, очаровательнее всего была тонкая ткань обмана, обилие подметных ходов (в опровержении которых была еще своя побочная красота), ложных путей, тщательно уготовленных для читателя.

Третий урок в эту пятницу был у Васильева. Редактор берлинской «Газеты», наладив связь с малочитаемым английским журналом, помещал в нем еженедельную статью о положении в советской России. Несколько зная язык, он писал статью начерно, оставляя пробелы, вкрапливая русские фразы и требуя от Федора Константиновича дословного перевода своих передовичных словец: быль молодцу не в укор, чудеса в решете,

как дошла ты до жизни такой, се лев, а не собака, пришла беда — растворяй ворота, и волки сыты, и овцы целы, беда, коль пироги начнет печи сапожник, всяк сверчок знай свой шесток, голь на выдумки хитра, милые бранятся — только тешатся, мы и сами с усами, свой своему поневоле брат, паны дерутся — у хлопцев чубы болят, дело не волк — в лес не убежит, снявши голову, по волосам не плачут, нужна реформа, а не реформы. И очень часто попадалось выражение: «произвело впечатление разорвавшейся бомбы». Задача Федора Константиновича состояла в том, чтобы по васильевскому черновику диктовать Васильеву статью в исправленном виде прямо в машинку, — Георгию Ивановичу это казалось чрезвычайно практичным, на самом же деле диктовка чудовищно растягивалась из-за мучительных пауз. Но странно, — вероятно, метод применения басенной морали сгущенно передавал оттенок «moralités»[33], присущий всем сознательным проявлениям советской власти: перечитывая готовую статью, казавшуюся при диктовке вздором, Федор Константинович улавливал, сквозь неуклюжий перевод и газетные

[33] Примечания: 33
Поучения *(фр.)*.

эффекты автора, ход стройной и сильной мысли, неуклонно пробирающейся к цели — и спокойно дающей в углу мат.

Провожая его затем до двери, Георгий Иванович вдруг страшно сдвинул усатые брови и быстро проговорил:

«Что, читали, как обложили Кончеева, воображаю, как на него подействовало, какой удар, какая неудача».

«Ему наплевать, я знаю это», — ответил Федор Константинович, — и на лице у Васильева изобразилось мгновенное разочарование.

«Ну, это он так, хорохорится, — находчиво возразил он, снова повеселев. — На самом деле, наверное, убит».

«Не думаю», — сказал Федор Константинович.

«Во всяком случае, я искренне огорчен за него», — докончил Васильев с таким видом, точно вовсе не желал расстаться со своим огорчением.

Несколько утомленный, но радуясь тому, что трудовой день окончен, Федор Константинович сел в трамвай и раскрыл журнальчик (опять мелькнуло склоненное лицо Н. Г. Чернышевского — о котором он только и знал, что это был «шприц с серной кислотой», — как где-то говорит, кажется, Розанов, — и автор «Что делать?», путав-

шегося, впрочем, с «Кто виноват?»). Он углубился в рассмотрение задач и вскоре убедился, что, не будь среди них двух гениальных этюдов старого русского мастера да несколько интересных перепечаток из иностранных изданий, журнальчика не стоило бы покупать. Добросовестные, ученические упражнения молодых советских композиторов были не столько «задачи», сколько «задания»: в них громоздко трактовалась та или иная механическая тема (какое-нибудь «связывание» и «развязывание»), без всякой поэзии; это были шахматные лубки, не более, и подталкивающие друг друга фигуры делали свое неуклюжее дело с пролетарской серьезностью, мирясь с побочными решениями в вялых вариантах и нагромождением милицейских пешек.

Прозевав остановку, он все же успел выскочить у сквера, сразу повернув на каблуках, как обыкновенно делает человек, резко покинувший трамвай, и пошел мимо церкви по Агамемнон-штрассе. Дело было под вечер, небо было безоблачно, неподвижное и тихое сияние солнца придавало какую-то мирную, лирическую праздничность всякому предмету. Велосипед, прислоненный к желто-освещенной стене, стоял слегка изогнуто, как пристяжная, но еще совер-

шеннее его самого была его прозрачная тень на стене. Пожилой толстоватый господин, вихляя задом, спешил на теннис, в городских штанах, в сорочке-пупсик, с тремя серыми мячами в сетке, и рядом с ним быстро шла на резиновых подошвах немецкая девушка спортивного покроя, с оранжевым лицом и золотыми волосами. За ярко раскрашенными насосами, на бензинопое пело радио, а над крышей его павильона выделялись на голубизне неба желтые буквы стойком — название автомобильной фирмы, — причем на второй букве, на «А» (а жаль, что не на первой, на «Д», — получилась бы заставка), сидел живой дрозд, черный, с желтым — из экономии — клювом, и пел громче, чем радио. Дом, где жил Федор Константинович, был угловой и выпирал, как огромный красный корабль, неся на носу стеклянно-сложное башенное сооружение, словно скучный, солидный архитектор внезапно сошел с ума и произвел вылазку в небо. На всех балкончиках, коими дом был многоярусно опоясан, что-то зеленело и цвело, и только щеголевский был неопрятно пуст, с сиротливым горшком на борту и каким-то проветриваемым висельником в молевых мехах.

Еще в самом начале своего пребывания на этой

квартире Федор Константинович, полагавший, что ему нужен по вечерам полный покой, выговорил себе право получать ужин в комнату. На столе, среди книг, его ждали теперь два серых бутерброда с глянцевитой мозаикой колбасы, чашка остывшего, отяжелевшего чая и тарелка розового киселя (утрешнего). Жуя и прихлебывая, он снова раскрыл «8 × 8» (снова глянул на него исподлобья бодучий Н. Г. Ч.) и тихо стал наслаждаться этюдом, в котором немногочисленные фигуры белых как бы висели над пропастью, а все-таки добивались своего. Отыскалась затем очаровательная четырехходовка американского мастера, красота которой заключалась не только в остроумно запрятанной матовой комбинации, а еще в том, что при соблазнительной, но ошибочной атаке белых черные, путем втягивания и запирания собственных фигур, как раз успевали устроить себе герметический пат. Зато в одном из советских произведений (П. Митрофанов, Тверь) нашелся прелестный пример того, как можно дать маху: у черных было **девять** пешек, — девятую, по-видимому, добавили в последнюю минуту, чтобы заделать непредвиденную брешь, как если бы писатель торопливо заменил в корректуре «ему обязательно расскажут» более

грамотным «ему несомненно расскажут», не заметив, что сразу за этим следует: «…о ея сомнительной репутации».

Вдруг ему стало обидно — отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться? Или в старом стремлении «к свету» таился роковой порок, который по мере естественного продвижения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот «свет» горит в окне тюремного надзирателя, только и всего? Когда началась эта странная зависимость между обострением жажды и замутнением источника? В сороковых годах? В шестидесятых? И «что делать» теперь? Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала, как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды? Когда-нибудь, оторвавшись от писания, я посмотрю в окно и увижу русскую осень.

Какие-то знакомые, уехавшие на лето в Данию, недавно оставили Борису Ивановичу радиоаппарат. Было слышно, как он возится с ним, удавляя пискунов, скрипунов, переставляя призрачную

мебель. Тоже — развлечение.

В комнате между тем потемнело; над почерневшими очерками домов за двором, где зажглись уже окна, небо было ультрамаринового тона, и в черных проволоках между черных труб сияла звезда — которую, как всякую звезду, можно было видеть по-настоящему лишь переключив зрение, так что все остальное сдвигалось вон из фокуса. Он подпер кулаком щеку и сидел так у стола, глядя в окно. Вдали какие-то большие часы, местоположение которых он все обещал себе определить, но всегда забывал это сделать, тем более что за слоем дневных звуков их не бывало слышно, медленно пробили девять. Пора было идти на свидание с Зиной.

Они обычно встречались по ту сторону железнодорожной ложбины, на тихой улице поблизости Груневальда, где массивы домов (темные крестословицы, в которых не все еще решил желтый свет) прерывались пустырями, огородами, угольными складами («темы и ноты темнот» — строка Кончеева), где был, между прочим, замечательный забор, составленный, по-видимому, из когда-то разобранного в другом месте (может быть, в другом городе), ограждавшего до того стоянку бродячего цирка, но доски

были теперь расположены в бессмысленном порядке, точно их сколачивал слепой, так что некогда намалеванные на них цирковые звери, перетасовавшись во время перевозки, распались на свои составные части — тут нога зебры, там спина тигра, а чей-то круп соседствует с чужой перевернутой лапой: обещание жизни грядущего века было по отношению к забору сдержанно, но разъятие земных образов на нем уничтожало земную ценность бессмертия; ночью, впрочем, мало что можно было различить, а преувеличенные тени листьев (вблизи был фонарь) ложились на доски забора вполне осмысленно, по порядку, — это служило некоторым возмещением, тем более что их-то никак нельзя было перенести в другое место, заодно с досками, разбив и спутав узор: их можно было перенести на нем только целиком, вместе со всей ночью.

Ожидание ее прихода. Она всегда опаздывала — и всегда приходила другой дорогой, чем он. Вот и получилось, что даже Берлин может быть таинственным. Под липовым цветением мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень прохожего по тумбе пробегает, как соболь пробегает через пень. За пустырем как персик небо тает: вода в огнях, Венеция сквозит, — а улица кончается в Китае,

а та звезда над Волгою висит. О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена.

Из темноты, для глаз всегда нежданно, она как тень внезапно появлялась, от родственной стихии отделясь. Сначала освещались только ноги, так ставимые тесно, что казалось, она идет по тонкому канату. Она была в коротком летнем платье ночного цвета — цвета фонарей, теней, стволов, лоснящейся панели: бледнее рук ее, темней лица. Посвящено Георгию Чулкову. Федор Константинович целовал ее в мягкие губы, и затем она на мгновение опускала голову к нему на ключицу и, быстро высвободившись, шла рядом с ним, сперва с такой грустью на лице, словно за двадцать часов их разлуки произошло какое-то небывалое несчастье, но мало-помалу она приходила в себя, и вот улыбалась — так, как днем не улыбалась никогда. Что его больше всего восхищало в ней? Ее совершенная понятливость, абсолютность слуха по отношению ко всему, что он сам любил. В разговорах с ней можно было обходиться без всяких мостиков, и не успевал он заметить какую-нибудь забавную черту ночи, как уже она указывала ее. И не только Зина была

остроумно и изящно создана ему по мерке очень постаравшейся судьбой, но оба они, образуя одну тень, были созданы по мерке чего-то не совсем понятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их.

Когда он поселился у Щеголевых и увидел ее в первый раз, у него было ощущение, что он уже многое знает о ней, что и имя ее ему давно знакомо, и кое-какие очертания ее жизни, но до разговора с ней он не мог себе уяснить, откуда и как это знает. Сначала он видал ее только за обедом и осторожно наблюдал за ней, изучая каждое ее движение. Она едва говорила с ним, хотя по некоторым признакам — не столько по зрачкам, сколько по отливу глаз, как бы направленному в его сторону, — он знал, что она замечает каждый его взгляд, двигаясь так, словно была все время ограничена легчайшими покровами того самого впечатления, которое на него производила; и оттого, что ему казалось вовсе невозможным какое-либо свое участие в ее душе и жизни, он испытывал страдание, когда выглядывал в ней что-нибудь особенно прелестное, и отрадное облегчение, когда в ней мелькал какой-нибудь недостаток красоты. Ее бледные волосы, светло и незаметно переходившие в солнечный воздух

вокруг головы, голубая жилка на виске, другая — на длинной и нежной шее, тонкая кисть, острый локоть, узость боков, слабость плеч и своеобразный наклон стройного стана, как если б пол, по которому она, разогнавшись как на коньках, устремлялась, спускался всегда чуть полого к пристани стула или стола, где был ей нужный предмет, — все это воспринималось им с мучительной отчетливостью, и потом, в течение дня, бесконечное число раз повторялось в его памяти, отзываясь все ленивее, бледнее и отрывистее, теряя жизнь и доходя, из-за машинальных повторений распадающегося образа, до какой-то изломанно тающей схемы, в которой уже почти ничего не было от первоначальной жизни; но как только он ее видел вновь, вся эта подсознательная работа по уничтожению ее образа, власти которого он все больше боялся, шла насмарку, и опять вспыхивала красота, — ее близость, страшная доступность взгляду, восстановленная связь всех подробностей. Если в те дни ему пришлось бы отвечать перед каким-нибудь сверхчувственным судом (помните, как Гёте говаривал, показывая тростью на звездное небо: «Вот моя совесть!»), то вряд ли бы он решился сказать, что любит ее, — ибо давно догадывался, что никому и ниче-

му всецело отдать душу не способен: оборотный капитал ему был слишком нужен для своих частных дел; но зато, глядя на нее, он сразу добирался (чтобы через минуту скатиться опять) до таких высот нежности, страсти и жалости, до которых редкая любовь доходит. И среди ночи, особенно после долгой работы мысли, наполовину выйдя из сна как бы не с той стороны, где рассудок, а с черного хода бреда, он с безумным, тягучим упоением чувствовал ее присутствие в комнате на поспешно и неряшливо приготовленной бутафором походной койке, в двух шагах от него, но пока он лелеял свое волнение, наслаждался искушением, краткостью расстояния, райской возможностью, в которой, впрочем, ничего плотского не было (а была какая-то блаженная замена плотского, выраженная в терминах полусна), его заманивало обратно забытье, в которое он безнадежно отступал, думая, что все еще держит добычу. По-настоящему же она никогда ему не снилась, довольствуясь присылкой каких-то своих представительниц и наперсниц, которые бывали вовсе на нее не похожи, а возбуждали в нем ощущение, оставлявшее его в дураках, чему был свидетелем синеватый рассвет.

А потом, совсем проснувшись, уже при звуках

утра, он сразу попадал в самую гущу счастья, засасывающую сердце, и было весело жить, и теплилось в тумане восхитительное событие, которое вот-вот должно было случиться. Но как только он воображал Зину, он видел лишь бледный набросок, который голос ее за стеной не в силах был зажечь жизнью. А через час-другой он встречался с ней за столом, и все восстанавливалось, и он снова понимал, что, не будь ее, не было бы этого утреннего тумана счастья.

Как-то, спустя дней десять после знакомства, она вдруг вечером постучалась к нему и надменно-решительным шагом, с почти презрительным выражением на лице, вошла, держа в руке небольшую, спрятанную в розовой обертке, книгу. «У меня к вам просьба, — сказала она быстро и сухо. — Сделайте мне тут надпись»; Федор Константинович книгу взял — и узнал в ней приятно потрепанный, приятно размягченный двухлетним пользованием (это было ему совершенно внове) сборничек своих стихов. Он очень медленно стал откупоривать пузырек с чернилами, — хотя в иные минуты, когда хотелось писать, пробка выскакивала, как из бутылки шампанского; Зина же, посмотрев на его теребившие пробку пальцы, поспешно добавила: «Только

фамилью, — пожалуйста, только фамилью». Он расписался, хотел было поставить дату, но почему-то подумал, что в этом она может усмотреть вульгарную многозначительность. «Ну вот, спасибо», — сказала она и, дуя на страницу, вышла.

Через день было воскресенье, и около четырех вдруг выяснилось, что она одна дома: он читал у себя, она была в столовой и изредка совершала короткие экспедиции к себе в комнату через переднюю, и при этом посвистывала, и в ее легком топоте была топографическая тайна, — ведь к ней прямо вела дверь из столовой. Но мы читаем и будем читать. «Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой, будет удален от нее» (а вместе с тем, на прогулках в Швейцарии **так** писавший колотил перебегавших по тропе ящериц — «чертовскую нечисть» — с брезгливостью хохла и злостью изувера). Невообразимое возвращение! Строй? Вот уж все равно какой. При монархии — флаги да барабан, при республике — флаги да выборы… Опять прошла. Нет, не читалось, — мешало волнение, мешало чувство, что другой бы на его месте вышел к ней с непринужденными, ловкими словами; когда же он представлял себе,

как сам выплывет и ткнется в столовую, и не будет знать, что сказать, то ему начинало хотеться, чтобы она скорее ушла или чтоб вернулись домой Щеголевы. И в то самое мгновение, когда он решил больше не прислушиваться и нераздельно заняться Гоголем, Федор Константинович быстро встал и вошел в столовую.

Она сидела у балконной двери и, полуоткрыв блестящие губы, целилась в иглу. В растворенную дверь был виден маленький, бесплодный балкон, и слышалось жестяное позванивание да пощелкивание подпрыгивающих капель, — шел крупный, теплый апрельский дождь.

«Виноват, — не знал, что вы тут, — сказал Федор Константинович лживо. — Я только хотел вам насчет моей книжки: это не то, это плохие стихи, то есть не все плохо, но в общем. То, что я за эти два года печатал в „Газете“, значительно лучше».

«Мне очень понравилось то, что вы раз читали на вечере, — сказала она. — О ласточке, которая вскрикнула».

«Ах, вы там были? Да. Но у меня есть еще лучше, уверяю вас».

Она вдруг вскочила со стула, бросила на сиденье штопку и, болтая опущенными руками, наклоняясь вперед, мелко переставляя как бы

скользящие ноги, быстро прошла в свою комнату и вернулась с газетными вырезками, — его и кончеевские стихи.

«Но у меня, кажется, не всё тут», — заметила она.

«Я не знал, что это вообще бывает, — сказал Федор Константинович, и добавил неловко: — Буду теперь просить, чтобы делали вокруг такие дырочки пунктиром, — знаете, как талоны, чтоб было легче отрывать».

Она продолжала возиться с чулком на грибе и, не поднимая глаз, но быстро и хитро улыбнувшись, сказала:

«А я знаю, что вы жили на Танненбергской, семь, я часто бывала там».

«Да что вы», — удивился Федор Константинович.

«Я знакома еще по Петербургу с женой Лоренца, — она мне когда-то давала уроки рисования».

«Как это странно», — сказал Федор Константинович.

«А Романов теперь в Мюнхене, — продолжала она. — Глубоко противный тип, но я всегда любила его вещи».

Поговорили о Романове. О его картинах. Достиг полного расцвета. Музеи приобретали…

Пройдя через все, нагруженный богатым опытом, он вернулся к выразительной гармонии линий. Вы знаете его «Футболиста»? Вот как раз журнал с репродукцией. Потное, бледное, напряженно-оскаленное лицо игрока во весь рост, собирающегося на полном бегу со страшной силой шутовать по голу. Растрепанные рыжие волосы, пятно грязи на виске, натянутые мускулы голой шеи. Мятая, промокшая фиолетовая фуфайка, местами обтягивая стан, низко находит на забрызганные трусики, и на ней видна идущая по некой удивительной диагонали мощная складка. Он забирает мяч сбоку, подняв одну руку, пятерня широко распялена — соучастница общего напряжения и порыва. Но главное, конечно, — ноги: блестящая белая ляжка, огромное израненное колено, толстые, темные буцы, распухшие от грязи, бесформенные, а все-таки отмеченные какой-то необыкновенно точной и изящной силой; чулок сполз на яростной кривой икре, нога ступней влипла в жирную землю, другая собирается ударить — и как ударить! — по черному, ужасному мячу, — и все это на темно-сером фоне, насыщенном дождем и снегом. Глядящий на эту картину **уже** слышал свист кожаного снаряда, **уже** видел отчаянный бросок вратаря.

«И я еще кое-что знаю, — сказала Зина. — Вы должны были мне помочь с одним переводом, вам это передавал Чарский, но вы почему-то не объявились».

«Как это странно», — повторил Федор Константинович.

В прихожей ухнуло, — это вернулась Марианна Николаевна, — и Зина не спеша встала, собрала вырезки и ушла к себе, — только впоследствии Федор Константинович понял, почему она сочла нужным так поступить, но тогда это ему показалось бесцеремонностью, — и когда Щеголева вошла в столовую, то получилось так, словно он крал сахар из буфета.

Еще через несколько дней вечером он из своей комнаты подслушал сердитый разговор — о том, что сейчас должны прийти гости и что пора Зине спуститься вниз с ключом. Когда она спустилась, он после краткой внутренней борьбы придумал себе прогулку, — скажем, к автомату около сквера за почтовой маркой, — надел для полной иллюзии шляпу, хотя почти никогда шляпы не носил, и пошел вниз. Свет погас, пока он спускался, но тотчас стукнуло и зажглось опять: это она внизу нажала кнопку. Она стояла у стеклянной двери, поигрывая ключом, надетым на палец, ярко осве-

щенная, — блестела бирюзовая вязка джампера, блестели ногти, блестели на руке выше кисти ровные волоски.

«Отперто», — сказала она, но он остановился и оба стали смотреть сквозь стекло на темную, подвижную ночь, на газовый фонарь, на тень решетки.

«Что-то они не идут», — пробормотала она, тихо звякнув ключом.

«Вы давно ждете? — спросил он. — Хотите, я сменю вас?» И в эту минуту погасло электричество. «Хотите, я всю ночь тут останусь?» — добавил он в темноте.

Она усмехнулась и порывисто вздохнула, словно ей надоело ожидание. Сквозь стекла пепельный свет с улицы обливал их обоих, и тень железного узора на двери изгибалась через нее и продолжалась на нем наискось, как портупея, а по темной стене ложилась призматическая радуга. И, как часто бывало с ним, — но в этот раз еще глубже, чем когда-либо, — Федор Константинович внезапно почувствовал — в этой стеклянной тьме — странность жизни, странность ее волшебства, будто на миг она завернулась и он увидел ее необыкновенную подкладку. У самого его лица была нежно-пепельная щека, перерезанная

тенью, и когда Зина вдруг, с таинственным недоумением в ртутном блеске глаз, повернулась к нему, а тень легла поперек губ, странно ее меняя, он воспользовался совершенной свободой в этом мире теней, чтобы взять ее за призрачные локти; но она выскользнула из узора и быстрым толчком пальца включила свет.

«Почему?» — спросил он.

«Объясню вам как-нибудь в другой раз», — ответила Зина, все не спуская с него взгляда.

«Завтра», — сказал Федор Константинович.

«Хорошо, завтра. Но только хочу вас предупредить, что никаких разговоров не будет у нас с вами дома. Это — решительно и навсегда».

«Тогда давайте…» — начал он, но тут выросли за дверью коренастый полковник Касаткин и его высокая, выцветшая жена.

«Здравия желаю, красавица», — сказал полковник, одним ударом разрубая ночь. Федор Константинович вышел на улицу.

На другой день он устроился так, чтоб застать ее на углу при ее возвращении со службы. Условились встретиться после ужина, у скамьи, которую он высмотрел накануне.

«Почему же?» — спросил он, когда они сели.

«По пяти причинам, — сказала она. — Во-пер-

вых, потому что я не немка, во-вторых, потому что только в прошлую среду я разошлась с женихом, в-третьих, потому что это было бы — так, ни к чему, в-четвертых, потому что вы меня совершенно не знаете, в-пятых…» — она замолчала, и Федор Константинович осторожно поцеловал ее в горячие, тающие, горестные губы. «Вот потому-то», — сказала она, перебирая и сильно сжимая его пальцы.

С той поры они встречались каждый вечер. Марианна Николаевна, не смевшая ее никогда ни о чем спрашивать (уже намек на вопрос вызвал бы хорошо знакомую ей бурю), догадывалась, конечно, что дочь ходит к кому-то на свидания, тем более что знала о существовании таинственного жениха. Это был болезненный, странный, неуравновешенный господин (таким, по крайней мере, он представлялся Федору Константиновичу по Зининым рассказам, — впрочем, эти **рассказанные** люди обычно наделены одним основным признаком: отсутствием улыбки), с которым она познакомилась в шестнадцать лет, три года тому назад, причем он был старше ее лет на двенадцать, и в этом старшинстве тоже было что-то темное, неприятное и озлобленное. Опять же в ее передаче, ее встречи с ним проходили без вся-

кого выражения влюбленности, и оттого что она не упоминала ни об одном поцелуе, выходило, что это была просто бесконечная череда нудных разговоров. Она решительно отказывалась открыть его имя и даже род занятий (хотя давала понять, что это был человек в некотором роде гениальный), и Федор Константинович был ей втайне признателен за это, понимая, что призрак без имени и без среды легче гаснет, — а все-таки он чувствовал к нему отвратительную ревность, в которую силился не вникать, но она всегда присутствовала где-то за углом, и от мысли, что где-нибудь когда-нибудь он, чего доброго, может встретиться с тревожными, скорбными глазами этого господина, все вокруг принималось жить по-ночному, как природа во время затмения. Зина клялась, что никогда не любила его, что тянула с ним вялый роман по безволию и что продолжала бы тянуть, не случись Федора Константиновича. Но особого безволия он в ней не замечал, а замечал смесь женской застенчивости и неженской решительности во всем. Несмотря на сложность ее ума, ей была свойственна убедительнейшая простота, так что она могла позволить себе многое, чего другим бы не разрешалось, и самая быстрота их сближения казалась

Федору Константиновичу совершенно естественной при резком свете ее прямоты.

Дома она держалась так, что дико было представить себе вечернюю встречу с этой чужой, хмурой барышней, но это не было притворством, а тоже своеобразным видом прямоты. Когда он однажды, шутя, задержал ее в коридорчике, она побледнела от гнева и не явилась на свидание, а затем заставила его клятвенно обещать, что это никогда не повторится. Очень скоро он понял, почему это было так: домашняя обстановка принадлежала к такому низкопробному сорту, что, на ее фоне, прикосновение рук мимоходом между жильцом и хозяйской дочерью обратилось бы попросту в **шашни**.

Отец Зины, Оскар Григорьевич Мерц, умер от грудной жабы в Берлине четыре года тому назад, и немедленно после его кончины Марианна Николаевна вышла замуж за человека, которого Мерц не пустил бы к себе на порог, за одного из тех бравурных российских пошляков, которые при случае смакуют слово «жид», как толстую винную ягоду. Когда же симпатяга отсутствовал, то запросто появлялся в доме один из его темноватых деловых знакомцев, тощий балтийский барон, с которым Марианна Николаевна ему

изменяла, — и Федор Константинович, раза два барона видевший, с гадливым интересом старался себе представить, что могут друг в друге найти, и если находят, то какова процедура, эта пожилая, рыхлая, с жабьим лицом женщина и этот немолодой, с гнилыми зубами скелет.

Если бывало мучительно знать порою, что Зина одна в квартире, и по уговору к ней не выходить, было совсем в другом роде мучительно, когда один в доме оставался Щеголев. Не любя одиночества, Борис Иванович начинал скучать, и Федор Константинович слышал из своей комнаты шуршащий рост этой скуки, точно квартира медленно зарастала лопухами — вот уже подступавшими к его двери. Он молил судьбу, чтобы что-нибудь Щеголева отвлекло, но (до того как появился радиоаппарат) спасения ниоткуда не приходило. Неотвратимо раздавался зловещий, деликатный стук, и, бочком, ужасно улыбаясь, втискивался в комнату Борис Иванович. «Вы спали? Я вам не помешал?» — спрашивал он, видя, что Федор Константинович пластом лежит на кушетке, и затем, весь войдя, плотно прикрывал за собой дверь и садился у него в ногах, вздыхая. «Тощища, тощища», — говорил он и начинал что-нибудь рассказывать. В области литературы он

высоко ставил «L'homme qui assassina»[34] Клода Фаррера, а в области философии — «Протоколы сионских мудрецов». Об этих двух книжках он мог толковать часами, и казалось, что ничего другого он в жизни не прочитал. Он был щедр на рассказы из судебной практики в провинции и на еврейские анекдоты. Вместо «выпили шампанского и отправились в путь» он выражался так: «раздавили флакон — и айда». Как у большинства говорунов, у него в воспоминаниях всегда попадался какой-нибудь необыкновенный собеседник, без конца рассказывавший ему интересные вещи, — («второго такого умницы я в жизни не встречал», — замечал он довольно неучтиво), — а так как нельзя было представить себе Бориса Ивановича в качестве молчаливого слушателя, то приходилось допустить, что это было своего рода раздвоением личности.

Однажды, заметив исписанные листочки на столе у Федора Константиновича, он сказал, взяв какой-то новый, прочувствованный тон: «Эх, кабы у меня было времячко, я бы такой роман накатал… Из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю: старый пес, — но еще в соку,

---

[34] Примечания: 34
«Человек, который убил» *(фр.)*.

с огнем, с жаждой счастья, — знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, — и конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать — соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду. И в общем — просчет. Время бежит-летит, он стареет, она расцветает, — и ни черта. Пройдет, бывало, рядом, обожжет презрительным взглядом. А? Чувствуете трагедию Достоевского? Эта история, видите ли, произошла с одним моим большим приятелем, в некотором царстве, в некотором самоварстве, во времена царя Гороха. Каково?» — И Борис Иванович, обратя в сторону темные глаза, надул губы и издал меланхолический лопающийся звук.

«Моя супруга-подпруга, — рассказывал он в другой раз, — лет двадцать прожила с иудеем и обросла целым кагалом. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы вытравить этот дух. У Зинки (он попеременно, смотря по настроению, называл падчерицу то так, то Аидой) нет, слава Богу, ничего специфического, — посмотрели бы

на ее кузину — такая, знаете, жирная брюнеточка с усиками. Мне иногда даже приходит в башку мысль, — а что, если моя Марианна Николаевна, когда была мадам Мерц… Все-таки ведь тянуло же ее к своим, — пускай она вам как-нибудь расскажет, как задыхалась в этой атмосфере, какие были родственнички — ой, Бозэ мой, — гвалт за столом, а она разливает чай: шутка ли сказать, — мать фрейлина, сама смолянка, а вот вышла за жида, — до сих пор не может объяснить, как это случилось: богат был, говорит, а я глупа, познакомились в Ницце, бежала с ним в Рим, — знаете, на вольном-то воздухе все казалось иначе, ну а когда потом попала в семейную обстановочку, поняла, что влипла».

Зина об этом рассказывала по-другому. В ее передаче, облик ее отца перенимал что-то от прустовского Свана. Его женитьба на ее матери и последующая жизнь окрашивались в дымчато-романтический цвет. Судя по ее словам, судя также по его фотографиям, это был изящный, благородный, умный и мягкий человек, — даже на этих негибких петербургских снимках с золотой тисненой подписью по толстому картону, которые она показывала Федору Константиновичу ночью под фонарем, старомодная пышность

светлого уса и высота воротничков ничем не портили тонкого лица с прямым смеющимся взглядом. Она рассказывала о его надушенном платке, о страсти его к рысакам и к музыке; о том, как в юности он однажды разгромил заезжего гроссмейстера, или о том, как читал наизусть Гомера: рассказывала, подбирая то, что могло бы затронуть воображение Федора, так как ей казалось, что он отзывается лениво и скучно на ее воспоминания об отце, т. е. на самое драгоценное, что у нее было показать. Он сам замечал в себе эту странную заторможенность отзывчивости. В Зине была черта, стеснявшая его: ее домашний быт развил в ней болезненно заостренную гордость, так что, даже говоря с Федором Константиновичем, она упоминала о своей породе с вызывающей выразительностью, словно подчеркивая, что не допускает (а тем самым все-таки допускала), чтоб он относился к евреям если не с неприязнью, в той или иной степени присущей большинству русских людей, то с зябкой усмешкой принудительного доброхотства. Вначале она так натягивала эти струны, что ему, которому вообще было решительно наплевать на распределение людей по породам и на их взаимоотношения, становилось за нее чуть-чуть

неловко, а с другой стороны, под влиянием ее горячей, настороженной гордыни он начинал ощущать какой-то личный стыд, оттого что молча выслушивал мерзкий вздор Щеголева и то нарочито гортанное коверкание русской речи, которым тот с наслаждением занимался, — например, говоря мокрому гостю, наследившему на ковре: «Ой, какой вы наследник!».

В течение некоторого времени после кончины ее отца, к ним по привычке продолжали ходить прежние знакомые и родственники с отцовской стороны; но мало-помалу они редели, отпадали… и только одна старенькая чета долго еще являлась, — жалея Марианну Николаевну, жалея прошлое и стараясь не замечать, как Щеголев уходит к себе в спальню с чаем и газетой. Зина же сохранила до сих пор связь с этим миром, который ее мать предала, и в гостях у прежних друзей семьи необыкновенно менялась, смягчалась, добрела (сама отмечала это), сидя за чайным столом среди мирных разговоров стариков о болезнях, свадьбах и русской литературе.

В семье у себя она была несчастна и несчастье свое презирала. Презирала она и свою службу, даром что ее шеф был еврей, — немецкий, впрочем, еврей, т. е. прежде всего — немец, так что она не

стеснялась при Федоре его поносить. Она столь живо, столь горько, с таким образным отвращением рассказывала ему об этой адвокатской конторе, где уже два года служила, что он все видел и все обонял так, словно сам там бывал ежедневно. Аэр ее службы чем-то напоминал ему Диккенса (с поправкой, правда, на немецкий перевод), — полусумасшедший мир мрачных дылд и отталкивающих толстячков, каверзы, чернота теней, страшные носы, пыль, вонь и женские слезы. Начиналось с темной, крутой, невероятно запущенной лестницы, которой вполне соответствовала зловещая ветхость помещения конторы, что не относилось лишь к кабинету главного адвоката, где жирные кресла и стеклянный столгигант резко отличались от обстановки прочих комнат. Канцелярская, большая, неказистая, с голыми, вздрагивающими окнами, задыхалась от нагромождения пыльной, грязной мебели, — особенно был страшен диван, тускло-багровый, с вылезшими пружинами, — ужасный и непристойный предмет, выброшенный, как на свалку, после постепенного прохождения через кабинет всех трех директоров — Траума, Баума и Кэзебира. Стены были до потолка заставлены исполинскими регалами с грудой грубо-синих папок в

каждом гнезде, высунувших длинные ярлыки, по которым иногда ползал голодный сутяжный клоп. У окон располагались четыре машинистки: одна — горбунья, жалованье тратившая на платья, вторая — тоненькая, легкомысленного нрава, «на одном каблучке» (ее отца-мясника вспыльчивый сын убил мясничным крюком), третья — беззащитная девушка, медленно набиравшая приданое, и четвертая — замужняя, сдобная блондинка, с отражением собственной квартиры вместо души, трогательно рассказывавшая, как после дня **духовного труда** чувствует такую потребность отдохнуть на труде физическом, что, придя вечером домой, растворяет все окна и принимается с упоением стирать. Заведующий конторой, Хамекке (толстое, грубое животное, с вонючими ногами и вечно сочившимся фурункулом на затылке, любившее вспоминать, как, в бытность свою фельдфебелем, оно заставляло нерасторопных новобранцев зубной щеткой вычищать казарменный пол), двух последних угнетал особенно охотно — одну потому, что потеря службы для нее значила бы отказ от брака, другую потому, что она сразу начинала рыдать, — эти обильные, звучные слезы, которые так легко можно было вызвать, доставляли ему

здоровое удовольствие. Едва грамотный, но одаренный железной хваткой, сразу соображающий наименее привлекательную сторону всякого дела, он высоко ценился хозяевами, Траумом, Баумом и Кэзебиром (целая немецкая идиллия, со столиками в зелени и чудным видом). Баума редко было видно; конторские девицы находили, что он дивно одевается, т. е. пиджак, как на мраморной статуе, каждая складка — навеки, и белый воротничок к цветной рубашке. Кэзебир подобострастно благоговел перед состоятельными клиентами (впрочем, благоговели все трое), а когда сердился на Зину, говорил, что она слишком задается. Главный хозяин, Траум, был коротенький человек, с пробором займом, с профилем как внешняя сторона полумесяца, с маленькими ручками и бесформенным телом, более широким, чем толстым. Он любил себя страстной и вполне разделенной любовью, женат был на богатенькой, пожилой вдове и, имея нечто актерское в натуре, норовил все делать «красиво», тратя на фасон тысячи, а у секретарши сторговывая полтинник; от служащих он требовал, чтобы его супругу называли «ди гнедиге фрау» («барыня звонили», «барыня просили»); вообще же кичился величавым незнанием то-

го, что в конторе творится, хотя на самом деле знал через Хамекке все, до последней кляксы. Состоя одним из юрисконсультов французского посольства, он часто ездил в Париж, и так как отличительной его чертой была гладчайшая наглость в преследовании выгодных целей, он там энергично заводил полезные знакомства, никогда не стесняясь попросить рекомендацию, приставая, навязываясь и не чувствуя щелчков — кожа у него была, как броня у некоторых насекомоядных. Для приобретения популярности во Франции он писал немецкие книжки о ней («Три Портрета», например, — императрица Евгения, Бриан и Сарра Бернар), причем собирание материалов обращалось у него тоже в собирание связей. Эти торопливо-компилятивные труды, в страшном стиле модерн немецкой республики (и в сущности, мало чем уступавшие трудам Людвига и Цвейгов), он диктовал секретарше между дел, внезапно изображая вдохновение, которое, впрочем, у него всегда совпадало с досугом. Какой-то французский профессор, в дружбу к которому он втирался, как-то отвечал на его нежнейшие послания крайне невежливой для француза критикой: «Вы фамилию Клемансо пи-

шете то с accent aigu[35], то без оного. Так как тут необходима известная единообразность, было бы хорошо, если бы вы твердо решили, какой системы желаете придерживаться, чтобы затем от нее не уклоняться. Если же вы почему-либо захотели бы писать эту фамилию правильно, то пишите ее без accent». Траум немедленно на это ответил восторженно-благодарственным письмом, продолжая заодно напирать. Ах, как он умел округлять и подслащивать свои письма, какие были тевтонские рокоты и свисты в бесконечной модуляции обращений и окончаний, какие учтивости: «Vous avez bien voulu bien vouloir…»[36]

Его секретарша, Дора Витгенштейн, прослужившая у него четырнадцать лет, делила небольшую, затхлую комнату с Зиной. Эта стареющая женщина с мешками под глазами, пахнущая падалью сквозь дешевый одеколон, работавшая любое число часов, иссохшая на траумовской службе, похожа была на несчастную, заезженную лошадь, у которой сместилась вся мускулатура и осталось только несколько железных жил. Она была малообразованна, строила жизнь на двух-трех

[35] Примечания: 35
Надстрочный знак во французском языке.

[36] Примечания: 36
Вы любезно соблаговолили оказать любезность… *(фр.)*

общепринятых понятиях, но руководствовалась какими-то своими частными правилами в обращении с французским языком. Когда Траум писал очередную «книгу», то вызывал ее к себе на дом по воскресеньям, торговался с ней за оплату, задерживал на лишнее время; и, бывало, она с гордостью сообщала Зине, что его шофер ее отвез (правда, только до трамвайной остановки).

Зине приходилось заниматься не только переводами, но, так же как и всем остальным машинисткам, переписыванием длинных приложений, представляемых суду. Часто случалось также стенографировать, при клиенте, сообщаемые им обстоятельства дела, нередко бракоразводного. Эти дела были все довольно мерзостные, комья из всяких слипшихся гадостей и глупостей. Некто в Коттбусе, разводясь с женщиной, по его словам ненормальной, обвинял ее в сожительстве с догом, а главной свидетельницей выступала дворничиха, будто бы слышавшая через дверь, как та громко выражала псу восхищение относительно некоторых деталей его организма.

«Тебе только смешно, — сердито говорила Зина, — но, честное слово, я больше не могу, не могу, — и я бы тотчас всю эту мразь бросила,

если б не знала, что в другой конторе будет такая же мразь или хуже. Эта усталость по вечерам — это что-то феноменальное, это не поддается никакому описанию. Куда я сейчас гожусь? У меня так хребет ломит от машинки, что хочется выть. И главное, это никогда не кончится, потому что если бы это кончилось, то нечего было бы есть, — ведь мама ничего не может, — она даже в кухарки не может пойти, потому что будет рыдать на чужой кухне и бить посуду, а гад умеет только прогорать, — по-моему, он уже прогорел, когда родился. Ты не знаешь, как я его ненавижу, этого хама, хама, хама…»

«Так ты его съешь, — сказал Федор Константинович. — У меня тоже был довольно несимпатичный день. Хотел стихи для тебя, но они как-то еще не очистились».

«Милый мой, радость моя, — воскликнула она. — Неужели это все правда, — этот забор и мутненькая звезда? Когда я была маленькой, я не любила рисовать ничего некончающегося, так что заборов не рисовала, ведь это на бумаге не кончается, нельзя себе представить кончающийся забор, — а всегда что-нибудь завершенное, — пирамиду, дом на горе».

«А я любил больше всего горизонт и такие

штрихи — всё мельче и мельче: получалось солнце за морем. А самое большое детское мученье: неочиненный или сломанный цветной карандаш».

«Но зато очиненные… Помнишь — белый? Всегда самый длинный, — не то что красные и синие, — оттого что он мало работал, — помнишь?»

«Но как он хотел нравиться! Драма альбиноса. L'inutile beauté[37]. Положим, он у меня потом разошелся всласть. Именно потому, что рисовал невидимое. Можно было массу вообразить. Вообще — неограниченные возможности. Только без ангелов, — а если уж ангел, то с громадной грудной клеткой и с крыльями, как помесь райской птицы с кондором, и душу младую чтоб нес не в объятьях, а в когтях».

«Да, я тоже думаю, что нельзя на этом кончить. Не представляю себе, чтобы мы могли не быть. Во всяком случае, мне бы не хотелось ни во что обращаться».

«В рассеянный свет? Как ты насчет этого? Не очень, по-моему? Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы. Жаль, что нельзя

---

[37] Примечания: 37
Бесполезная красота *(фр.)*.

себе представить то, что не с чем сравнить. Гений — это негр, который во сне видит снег. Знаешь, что больше всего поражало самых первых русских паломников по пути через Европу?»

«Музыка?»

«Нет, — городские фонтаны, мокрые статуи».

«Мне иногда досадно, что ты не чувствуешь музыки. У моего отца был такой слух, что он, бывало, лежит на диване и напевает целую оперу, с начала до конца. Раз он так лежал, а в соседнюю комнату кто-то вошел и заговорил там с мамой, — и он мне сказал: „Этот голос принадлежит такому-то, двадцать лет тому назад я его видел в Карлсбаде, и он мне обещал когда-нибудь приехать“. Вот какой был слух».

«А я сегодня встретил Лишневского, и он мне рассказал про какого-то своего знакомого, который жаловался, что в Карлсбаде теперь совсем не то, — а раньше что было! пьешь воду, а рядом с тобой король Эдуард, прекрасный, видный мужчина… костюм из настоящего английского сукна… Ну что ты обиделась? В чем дело?»

«Ах, все равно. Некоторых вещей ты никогда не поймешь».

«Перестань. Почему тут горячо, а тут холодно? Тебе холодно? Посмотри лучше, какая бабочка

около фонаря».

«Я уже давно ее вижу».

«Хочешь, я тебе расскажу, почему бабочки летят на свет? Никто этого не знает».

«А ты знаешь?»

«Мне всегда кажется, что я вот-вот догадаюсь, если хорошенько подумаю. Мой отец говорил, что это больше всего похоже на потерю равновесия, как вот неопытного велосипедиста притягивает канава. Свет по сравнению с темнотой пустота. Как она вертится! Но тут еще что-то есть, — вот-вот пойму».

«Мне жалко, что ты так и не написал своей книги. Ах, у меня тысяча планов для тебя. Я так ясно чувствую, что ты когда-нибудь размахнешься. Напиши что-нибудь огромное, чтоб все ахнули».

«Я напишу, — сказал в шутку Федор Константинович, — биографию Чернышевского».

«Все что хочешь. Но чтобы это было совсем, совсем настоящее. Мне нечего тебе говорить, как я люблю твои стихи, но они всегда не совсем по твоему росту, все слова на номер меньше, чем твои настоящие слова».

«Или роман. Это странно, я как будто помню свои будущие вещи, хотя даже не знаю, о чем будут они. Вспомню окончательно и напишу.

Скажи-ка, между прочим, как ты в общем себе представляешь: мы всю жизнь будем встречаться так, рядком на скамейке?»

«О нет, — отвечала она певуче-мечтательным голосом. — Зимой мы поедем на бал, а еще этим летом, когда у меня будет отпуск, я поеду на две недели к морю и пришлю тебе открытку с прибоем».

«Я тоже поеду на две недели к морю».

«Не думаю. И потом, не забудь, мы как-нибудь должны встретиться в Тиргартене, в розариуме, там, где статуя принцессы с каменным веером».

«Приятные перспективы», — сказал Федор Константинович.

А как-то через несколько дней ему под руку попался все тот же шахматный журнальчик, он перелистал его, ища недостроенных мест, и, когда оказалось, что все уже сделано, пробежал глазами отрывок в два столбца из юношеского дневника Чернышевского; пробежал, улыбнулся и стал сызнова читать с интересом. Забавно-обстоятельный слог, кропотливо вкрапленные наречия, страсть к точке с запятой, застревание мысли в предложении и неловкие попытки ее оттуда извлечь (причем она сразу застревала в другом месте, и автору приходилось опять во-

зиться с занозой), долбящий, бубнящий звук слов, ходом коня передвигающийся смысл в мелочном толковании своих мельчайших действий, прилипчивая нелепость этих действий (словно у человека руки были в столярном клее, и обе были левые), серьезность, вялость, честность, бедность, — все это так понравилось Федору Константиновичу, его так поразило и развеселило допущение, что автор, с таким умственным и словесным стилем, мог как-либо повлиять на литературную судьбу России, что на другое же утро он выписал себе в государственной библиотеке полное собрание сочинений Чернышевского. По мере того как он читал, удивление его росло, и в этом чувстве было своего рода блаженство.

Когда, спустя неделю, он принял телефонное приглашение Александры Яковлевны («Что это вас совсем не видать? Скажите, вы сегодня вечером свободны?»), то «8 × 8» с собой не захватил: в этом журнальчике уже была для него сентиментальная драгоценность, воспоминание встречи. В гостях у своих друзей он нашел инженера Керна и объемистого, с толстым старомодным лицом, очень гладкощекого и молчаливого господина, по фамилии Горяинов, который был известен тем, что, отлично пародируя (растягивал рот, причмо-

кивал и говорил бабьим голосом) одного старого, несчастного журналиста со странностями и неважной репутацией, так свыкся с этим образом (тем отомстившим ему), что не только так же растягивал книзу углы рта, когда изображал других своих знакомых, но даже сам, в нормальном разговоре начинал смахивать на него. Александр Яковлевич, осунувшийся и притихший после своей болезни, — ценой этого потускнения выкупивший себе на время здоровье, — был в тот вечер будто оживленнее, и даже появился знакомый тик; но уже призрак Яши не сидел в углу, не облокачивался сквозь мельницу книг.

«Вы все по-прежнему довольны квартирой? — спросила Александра Яковлевна. — Ну, я очень рада. Не ухаживаете за дочкой? Нет? Между прочим, я как-то вспоминала, что когда-то у меня были общие знакомые с Мерцем, — это был отличный человек, джентльмен во всех смыслах, — но я думаю, что она не очень охотно признается в своем происхождении. Признается? Ну, не знаю. Думаю, что вы плохо разбираетесь в этом».

«Барышня, во всяком случае, с характером, — сказал инженер Керн. — Я раз видел ее на заседании бального комитета. Ей было все не по носу».

«А нос какой?» — спросила Александра Яковлевна.

«Знаете, я, по правде сказать, не очень ее разглядывал, ведь, в конце концов, все барышни метят в красавицы. Не будем злы».

Горяинов, тот молчал, держа руки сцепленными на животе, и только изредка странно поднимал мясистый подбородок и тонко откашливался, точно кого-то призывал. «Покорно благодарю», — говорил он с поклоном, когда ему предлагали варенья или еще стакан чаю, а если он что-нибудь хотел поведать соседу, то придвигал голову как-то боком, не обращая к нему лица, и, поведав или спросив, медленно опять отодвигался. В разговоре с ним бывали странные провалы, оттого что он ничем не поддерживал вашу фразу и не смотрел на вас, а блуждал по комнате карим взглядом небольших слоновьих глаз и вдруг судорожно прочищал горло. Когда он говорил о себе, то всегда в мрачно-юмористическом духе. Весь его облик вызывал почему-то такие ассоциации, как, например: департамент, селянка, галоши, снег «Мира Искусства» идет за окном, столп, Столыпин, столоначальник.

«Ну что, брат, — неопределенно проговорил Чернышевский, подсев к Федору Константино-

вичу, — что скажете хорошего? Выглядите вы неважно».

«Помните, — сказал Федор Константинович, — как-то, года три тому назад, вы мне дали благой совет описать жизнь вашего знаменитого однофамильца?»

«Абсолютно не помню», — сказал Александр Яковлевич.

«Жаль, — потому что я теперь подумываю приняться за это».

«Да ну? Вы это серьезно?»

«Совершенно серьезно», — сказал Федор Константинович.

«А почему вам явилась такая дикая мысль? — вмешалась Александра Яковлевна. — Ну, написали бы, — я не знаю, — ну, жизнь Батюшкова или Дельвига, — вообще, что-нибудь около Пушкина, — но при чем тут Чернышевский?»

«Упражнение в стрельбе», — сказал Федор Константинович.

«Ответ по меньшей мере загадочный», — заметил инженер Керн и, блеснув голыми стеклами пенснэ, попытался раздавить орех в ладонях. Горяинов передал ему, таща их за ножку, щипцы.

«Что ж, — сказал Александр Яковлевич, выйдя из минутной задумчивости, — мне это начинает

нравиться. В наше страшное время, когда у нас попрана личность и удушена мысль, для писателя должно быть действительно большой радостью окунуться в светлую эпоху шестидесятых годов. Приветствую».

«Да, но от него это так далеко! — сказала Чернышевская. — Нет преемственности, нет традиции. Откровенно говоря, мне самой было бы не очень интересно восстанавливать все, что я чувствовала по этому поводу, когда была курсисткой».

«Мой дядя, — сказал Керн, щелкнув, — был выгнан из гимназии за чтение „Что делать?“».

«А вы как на это смотрите?» — отнеслась Александра Яковлевна к Горяинову.

Горяинов развел руками. «Не имею определенного мнения, — сказал он тонким голосом, как будто кому-то подражая. — Чернышевского не читал, а так, если подумать… Прескучная, прости Господи, фигура!»

Александр Яковлевич слегка откинулся в креслах и, дергая лицом, мигая, то улыбаясь, то потухая опять, сказал так:

«А вот я все-таки приветствую мысль Федора Константиновича. Конечно, многое нам теперь кажется и смешным и скучным. Но в этой эпохе есть нечто святое, нечто вечное. Утилитаризм,

отрицание искусства и прочее, — все это лишь случайная оболочка, под которой нельзя не разглядеть основных черт: уважения ко всему роду человеческому, культа свободы, идеи равенства, равноправности. Это была эпоха великой эмансипации: крестьян — от помещиков, гражданина — от государства, женщины — от семейной кабалы. И не забудьте, что не только тогда родились лучшие заветы русского освободительного движения — жажда знания, непреклонность духа, жертвенный героизм, — но еще именно в ту эпоху, так или иначе питаясь ею, развивались такие великаны, как Тургенев, Некрасов, Толстой, Достоевский. Уж я не говорю про то, что сам Николай Гаврилович был человек громадного, всестороннего ума, громадной творческой воли и что ужасные мучения, которые он переносил ради идеи, ради человечества, ради России, с лихвой искупают некоторую черствость и прямолинейность его критических взглядов. Мало того, я утверждаю, что критик он был превосходный, — вдумчивый, честный, смелый… Нет, нет, это прекрасно, — непременно напишите!»

Инженер Керн уже некоторое время как встал и расхаживал по комнате, качая головой и порываясь что-то сказать.

«О чем речь? — вдруг воскликнул он, взявшись за спинку стула. — Кому интересно, что Чернышевский думал о Пушкине? Руссо был скверным ботаником, и я ни за что не стал бы лечиться у Чехова. Чернышевский был прежде всего ученый экономист, и как такового его надобно рассматривать, — а при всем моем уважении к поэтическому таланту Федора Константиновича, я несколько сомневаюсь, сможет ли он оценить достоинства и недостатки „Комментариев к Миллю“».

«Ваше сравнение абсолютно неправильно, — сказала Александра Яковлевна. — Смешно! В медицине Чехов не оставил ни малейшего следа, музыкальные композиции Руссо — только курьезы, а между тем никакая история русской литературы не может обойти Чернышевского. Но я другого не понимаю, — быстро продолжала она, — какой Федору Константиновичу интерес писать о людях и временах, которых он по всему своему складу бесконечно чужд? Я, конечно, не знаю, какой будет у него подход. Но если ему, скажем просто, хочется вывести на чистую воду прогрессивных критиков, то ему не стоит стараться: Волынский и Айхенвальд уже давно это сделали».

«Ну, что ты, что ты, — сказал Александр Яковлевич, — das kommt nicht in Frage[38]. Молодой писатель заинтересовался одной из важнейших эр русской истории и собирается написать художественную биографию одного из ее самых крупных деятелей. Я в этом ничего странного не вижу. С предметом ознакомиться не так трудно, книг он найдет более чем достаточно, а остальное все зависит от таланта. Ты говоришь — подход, подход. Но, при талантливом подходе к данному предмету, сарказм априори исключается, он ни при чем. Мне так кажется, по крайней мере».

«А Кончеева как выбранили на прошлой неделе, — читали?» — спросил инженер Керн, и разговор принял другой оборот.

На улице, когда Федор Константинович прощался с Горяиновым, тот задержал его руку в своей большой, мягкой руке и, прищурившись, сказал: «А шутник вы, доложу я вам, голубчик. Недавно скончался социал-демократ Беленький, — вечный, так сказать, эмигрант: его выслали и царь и пролетариат, так что, когда он, бывало, предавался реминисценциям, то начинал так: „У нас в Женеве…“ Может быть, о нем вы тоже

---

[38] Примечания: 38
Об этом речь не идет *(нем.)*.

напишете?»

«Не понимаю?» — полувопросительно произнес Федор Константинович.

«Да, но зато я отлично понял. Вы столько же собираетесь писать о Чернышевском, сколько я о Беленьком, но зато одурачили слушателей и заварили любопытный спор. Всего доброго, покойной ночи», — и он ушел своей тихой, тяжелой походкой, опираясь на палку и слегка приподняв одно плечо.

Для Федора Константиновича возобновился тот образ жизни, к которому он пристрастился, когда изучал деятельность отца. Это было одно из тех повторений, один из тех **голосов**, которыми, по всем правилам гармонии, судьба обогащает жизнь приметливого человека. Но теперь, наученный опытом, он в пользовании источниками не допускал прежней неряшливости и снабжал малейшую заметку точным ярлыком ее происхождения. Перед государственной библиотекой, около каменного бассейна, по газону среди маргариток разгуливали, гулюкая, голуби. Выписываемые книги приезжали в вагонетке по наклонным рельсам в глубине небольшого как будто помещения, где они ожидали выдачи, причем казалось, что там, на полках, лежит всего

несколько томов, когда на самом деле там набирались тысячи. Федор Константинович обнимал свою порцию и, борясь с ее расскальзывающейся тяжестью, шел к остановке автобуса. С самого начала образ задуманной книги представлялся ему необыкновенно отчетливым по тону и очертанию, было такое чувство, что для каждой отыскиваемой мелочи уже уготовано место и что самая работа по вылавливанию материалов уже окрашена в цвет будущей книги, как море бросает синий отсвет на рыболовную лодку и как она сама отражается в воде вместе с отсветом. «Понимаешь, — объяснял он Зине, — я хочу все это держать как бы на самом краю пародии. Знаешь эти идиотские „биографии романсэ“, где Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы? А чтобы с другого края была пропасть серьезного, и вот пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее. И главное, чтобы все было одним безостановочным ходом мысли. Очистить мое яблоко одной полосой, не отнимая ножа».

По мере изучения предмета он убеждался, что для полного насыщения им необходимо поле деятельности расширить на два десятилетия в каждую сторону. Таким образом ему открылась

забавная черта — по существу пустяшная, но оказавшаяся ценным руководством: за пятьдесят лет прогрессивной критики, от Белинского до Михайловского, не было ни одного властителя дум, который не произдевался бы над поэзией Фета. А какими метафизическими монстрами оборачивались иной раз самые тверезые суждения этих материалистов о том или другом предмете, точно слово мстило им за пренебрежение к нему! Белинский, этот симпатичный неуч, любивший лилии и олеандры, украшавший свое окно кактусами (как Эмма Бовари), хранивший в коробке из-под Гегеля пятак, пробку да пуговицу и умерший с речью к русскому народу на окровавленных чахоткой устах, поражал воображение Федора Константиновича такими перлами дельной мысли, как, например: «В природе все прекрасно, исключая только те уродливые явления, которые сама природа оставила незаконченными и спрятала во мраке земли и воды (моллюски, черви, инфузории и т. п.)», — точно так же, как у Михайловского легко отыскивалась брюхом вверх плавающая метафора вроде следующих слов (о Достоевском): «…бился как рыба об лед, попадая временами в унизительнейшие положения»; из-за этой **униженной рыбы** стоило

продираться сквозь все писания «докладчика по делам сегодняшнего дня». Отсюда был прямой переход к современному боевому лексикону, к стилю Стеклова («...разночинец, ютившийся в порах русской жизни... тараном своей мысли клеймил рутинные взгляды»), к слогу Ленина, употреблявшему слова «сей субъект» отнюдь не в юридическом смысле, а «сей джентльмен» отнюдь не применительно к англичанину, и достигший в полемическом пылу высшего предела смешного: «...здесь нет фигового листочка... и идеалист прямо протягивает руку агностику». Русская проза, какие преступления совершаются во имя твое! «Лица — уродливые гротески, характеры — китайские тени, происшествия — несбыточны и нелепы», — писалось о Гоголе, и этому вполне соответствовало мнение Скабичевского и Михайловского о «г-не Чехове»; то и другое, как зажженный тогда шнур, ныне разрывало этих критиков на мелкие части.

Он читал Помяловского (честность в роли трагической страсти) и находил там компот слов: «малиновые губки, как вишни». Он читал Некрасова и, чуя некий газетно-городской порок в его (часто восхитительной) поэзии, находил как бы объяснение его куплетным прозаизмам

(«как весело притом делиться мыслию своею с любимым существом» — «Русские Женщины»), когда открывал, что, несмотря на деревенские прогулки, он называл овода шмелем (над стадом «шмелей неугомонный рой»), а десятью строками ниже — осой (лошади «под дым костра спасаются от ос»). Он читал Герцена и опять-таки лучше понимал порок (ложный блеск, поверхность) его обобщений, когда замечал, что Александр Иванович, плохо знавший английский язык (чему осталась свидетельством его автобиографическая справка, начинающаяся смешным галлицизмом (I am born[39]), спутав по слуху слова «нищий» (beggar) и «мужеложник» (bugger — распространеннейшее английское ругательство), сделал отсюда блестящий вывод об английском уважении к богатству.

Такой метод оценки, доведенный до крайности, был бы еще глупее, чем подход к писателям и критикам как к выразителям общих мыслей. Что же с того, если не нравился сухощоковскому Пушкину Бодлер, и правильно ли осудить прозу Лермонтова, оттого что он дважды ссылается на какого-то невозможного «крокодила» (раз в

[39] Примечания: 39
Я есть родился *(англ.)*.

серьезном и раз в шуточном сравнении)? Федор Константинович остановился вовремя, и приятное чувство, что он открыл легко применимый критерий, не успело испортиться от приторности злоупотреблений.

Он читал очень много — больше, чем когда-либо читал. Изучая повести и романы шестидесятников, он удивлялся, как много в них говорится о том, кто как поклонился. Раздумывая над пленением русской мысли, вечной данницы той или другой орды, он увлекался диковинными сопоставлениями. Как в параграфе 146 цензурного устава 1826-го года, в котором предлагалось наблюдать, чтобы «сохранилась чистая нравственность и не заменялась бы одними красотами воображения», можно было вместо «чистая» поставить «гражданская» или что-нибудь в этом роде, — чтобы получить негласный цензурный устав радикальных критиков, так письменное предложение Булгарина придать лицам сочиняемого им романа угодный цензору цвет чем-то напоминало заискивание таких авторов, как даже Тургенев, перед судом общественного мнения; и Щедрин, дравшийся тележной оглоблей, издевавшийся над болезнью Достоевского, или Антонович, называвший его

же «прибитой и издыхающей тварью», мало отличались от Буренина, травившего беднягу Надсона; и его смешило предвкушение ныне модной теории в мыслях Зайцева, писавшего задолго до Фрейда, что «все эти чувства прекрасного и тому подобные нас возвышающие обманы суть только видоизменения полового чувства…», — это был тот Зайцев, который называл Лермонтова «разочарованным идиотом», разводил в Локарно на эмигрантском досуге шелковичных червей, которые, впрочем, у него мерли, и по близорукости часто грохался с лестницы.

Он старался разобраться в мутной мешанине тогдашних философских идей, и ему казалось, что в самой перекличке имен, в их карикатурной созвучности, выражался какой-то грех перед мыслью, какая-то насмешка над ней, какая-то ошибка этой эпохи, когда бредили, кто — Кантом, кто — Контом, кто — Гегелем, кто — Шлегелем. А с другой стороны, он понемножку начинал понимать, что такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были, как ни верти, действительными героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, еще более тлетворным и пошлым, чем их литературно-критические домыслы, и что либералы или

славянофилы, рисковавшие меньшим, стоили тем самым меньше этих железных забияк.

Ему искренне нравилось, как Чернышевский, противник смертной казни, наповал высмеивал гнусно-благостное и подло-величественное предложение поэта Жуковского окружить смертную казнь мистической таинственностью, дабы присутствующие казни не видели (на людях, дескать, казнимый нагло храбрится, тем оскверняя закон), а только слышали из-за ограды торжественное церковное пение, ибо казнь должна умилять. И при этом Федор Константинович вспоминал, как его отец говорил, что в смертной казни есть какая-то непреодолимая неестественность, кровно чувствуемая человеком, странная и старинная обратность действия, как в зеркальном отражении превращающая любого в левшу: недаром для палача все делается наоборот: хомут надевается верхом вниз, когда везут Разина на казнь, вино кату наливается не с руки, а через руку; и если по швабскому кодексу в случае оскорбления кем-либо шпильмана позволялось последнему в удовлетворение свое ударить **тень** обидчика, то в Китае именно актером, тенью, исполнялась обязанность палача, т. е. как бы снималась ответственность с **человека**, и все переносилось в

изнаночный, зеркальный мир.

Он живо чувствовал некий государственный обман в действиях «Царя-Освободителя», которому вся эта история с дарованием свобод очень скоро надоела; царская скука и была главным оттенком реакции. После манифеста стреляли в народ на станции Бездна, — и эпиграмматическую жилку в Федоре Константиновиче щекотал безвкусный соблазн дальнейшую судьбу правительственной России рассматривать как перегон между станциями Бездна и Дно.

Постепенно, от всех этих набегов на прошлое русской мысли, в нем развивалась новая, менее пейзажная, чем раньше, тоска по России, опасное желание (с которым успешно боролся) в чем-то ей признаться и в чем-то ее убедить. И, нагромождая знания, извлекая из этой горы свое готовое творение, он еще кое-что вспоминал: кучу камней на азиатском перевале, — шли в поход, клали по камню, шли назад, по камню снимали, а то, что осталось навеки, — счет падшим в бою. Так в куче камней Тамерлан провидел памятник.

К зиме он уже расписался, едва заметно перейдя от накопления к созиданию. Зима, как большинство памятных зим и как все зимы, вводимые в речь ради фразы, выдалась (они всегда «выда-

ются» в таких случаях) холодная. По вечерам, встречаясь с Зиной в маленьком, пустом кафе, где стойка была выкрашена в кубовый цвет и, мучительно прикидываясь сосудами уюта, горели синие гномы ламп на шести-семи столиках, он читал ей написанное за день, и она слушала, опустив крашеные ресницы, облокотившись, играя перчаткой или портсигаром. Иногда подходила хозяйская собака, толстая сучка без всякой породы, с низко висящими сосцами, клала голову к ней на колени, и, под гладящей, улыбающейся рукой, сдвигающей назад кожу на шелковом круглом лобике, глаза у собаки принимали китайский разрез, а когда ей давали кусок сахара, то, взяв его, она неторопливо, вразвалку, шла в угол, там сворачивалась и грызла со страшным хрустом. «Очень чудно, только, по-моему, так по-русски нельзя», — говорила Зина, и, поспорив, он исправлял гонимое ею выражение. Чернышевского она сокращенно называла Чернышом и настолько свыклась с его принадлежностью Федору и отчасти ей, что подлинная его жизнь в прошлом представлялась ей чем-то вроде плагиата. Идея Федора Константиновича составить его жизнеописание в виде кольца, замыкающегося апокрифическим сонетом, так, чтобы получилась

не столько форма книги, которая своей конечностью противна кругообразной природе всего сущего, сколько одна фраза, следующая по ободу, т. е. бесконечная, сначала казалась ей невоплотимой на плоской и прямой бумаге, — и тем более она обрадовалась, когда заметила, что все-таки получается круг. Ее совершенно не занимало, прилежно ли автор держится исторической правды, — она принимала это на веру, — ибо если бы это было не так, то просто не стоило бы писать книгу. Зато другая правда, правда, за которую он один был ответственен и которую он один мог найти, была для нее так важна, что малейшая неуклюжесть или туманность слова казалась ей зародышем лжи, который немедленно следовало вытравить. Одаренная гибчайшей памятью, которая как плющ обвивалась вокруг слышанного ею, она, повторением ей особенно понравившихся сочетаний слов, облагораживала их собственным тайным завоем, и когда случалось, что Федор Константинович почему-либо менял запомнившийся ей оборот, развалины портика еще долго стояли на золотом горизонте, не желая исчезнуть. В ее отзывчивости была необычайная грация, незаметно служившая ему регулятором, если не руководством. А иногда, когда набиралось хотя

бы трое посетителей, за пианино в углу садилась старая таперша в пенснэ и как марш играла оффенбаховскую баркароллу.

Он уже подходил к окончанию труда (а именно к рождению героя), когда Зина сказала, что не мешало бы ему развлечься и что поэтому они в субботу вместе пойдут на костюмированный бал на дому у знакомого ей художника. Федор Константинович танцевал плохо, немецкой богемы не переносил, а кроме того, наотрез отказывался **превращать фантазию в мундир**, к чему, в сущности, сводятся бальные маскарады. Сошлись на том, что он пойдет в полумаске и смокинге, года четыре тому назад сшитом и не более четырех раз надеванном. «А я пойду…» — начала она мечтательно, но осеклась. «Только умоляю, не боярышней и не коломбиной», — сказал Федор. «Вот именно, — презрительно возразила она. — Ах, уверяю тебя, будет страшно весело, — добавила она мягко, видя, что он приуныл. — Ведь, в конце концов, мы будем одни среди всех. Мне так хочется! Мы будем целую ночь вместе, и никто не будет знать, кто ты, и я придумала себе костюм специально для тебя». Он добросовестно представил себе ее с голой нежной спиной и голубоватыми руками, — тут же контрабандой проскользнули

чужие возбужденные хари, хамская дребедень громкого немецкого веселья, обожгли пищевод поганые спиртные напиточки, отрыгнулось крошеным яйцом бутербродов, — но он опять сосредоточил вращающуюся под музыку мысль на ее прозрачном виске. «Конечно, будет весело, конечно, пойдем», — сказал он с убеждением.

Было решено, что она отправится туда в девять, а он последует через час. Стесненный пределом времени, он не сел после ужина за работу, а проваландался с новым журналом, где дважды вскользь упоминался Кончеев, и эти случайные ссылки, подразумевавшие общепризнанность поэта, были драгоценнее самого благожелательного отчета: еще полгода тому назад это бы возбудило в нем Сальериеву муку, а теперь он сам удивился тому, как безразлична ему чужая слава. Посмотрев на часы, он медленно стал раздеваться, затем вытащил сонный смокинг, задумался, рассеянно достал крахмальную рубашку, вставил увертливые запонки, влез в нее, содрогаясь от ее угловатого холодка, замер на минуту, бессознательно натянул черные с лампасами штаны и, вспомнив, что еще утром надумал вычеркнуть последнюю из накануне написанных фраз, нагнулся над и так измаранным

листом. Перечтя, он подумал, — а не оставить ли все-таки? — сделал птичку, вписал добавочный эпитет, застыл над ним, — и быстро всю фразу похерил. Но оставить параграф в таком виде, т. е. повисшим над бездной, с заколоченным окном и обвалившимися ступенями, было физически невозможно. Он просмотрел подготовленные для данного места заметки, и вдруг — тронулось и побежало перо. Когда он опять взглянул на часы, был третий час утра, знобило, в комнате все было мутно от табачного дыма. Одновременно донесся звяк американского замочка. Мимоходом из передней в его полуоткрытую дверь Зина увидела его, бледного, с разинутым ртом, в расстегнутой крахмальной рубашке, с подтяжками, висящими до пола, в руке перо, на белизне бумаг чернеющая полумаска. Она с грохотом у себя заперлась, и все стало опять тихо. «Хорош, — вполголоса проговорил Федор Константинович. — Что я наделал?» Он так никогда и не узнал, в каком Зина ездила наряде; но книга была дописана.

Спустя месяц, в понедельник, перебеленную рукопись он понес Васильеву, который еще осенью, зная о его изысканьях, полупредложил ему напечатать «Жизнь Чернышевского» в издательстве, прикосновенном к «Газете». Затем, в среду,

Федор Константинович был в редакции, мирно беседовал со старичком Ступишиным, носившим в редакции ночные туфли, любовался на горестно и скучно кривившийся рот секретаря, кого-то отшивавшего по телефону… Вдруг открылась дверь кабинета, наполнилась до краев громадой Георгия Ивановича, который с минуту черно смотрел на Федора Константиновича, а затем бесстрастно сказал: «Пожалуйте ко мне», — и посторонился, чтобы дать ему проскользнуть.

«Ну что — прочли?» — спросил Федор Константинович, севши по ту сторону стола.

«Прочел», — ответил Васильев угрюмым басом.

«Я бы, собственно, хотел, чтобы это вышло еще весной», — бодро сказал Федор Константинович.

«Вот ваша рукопись, — вдруг проговорил Васильев, насупив брови и протягивая ему папку. — Берите. Никакой речи не может быть о том, чтобы я был причастен к ее напечатанию. Я полагал, что это серьезный труд, а оказывается, что это беспардонная, антиобщественная, озорная отсебятина. Я удивляюсь вам».

«Ну, это, положим, глупости», — сказал Федор Константинович.

«Нет, милостивый государь, вовсе не глупо-

сти, — взревел Васильев, гневно перебирая вещи на столе, катая штемпель, меняя взаимоположение безответных, случайно и без всяких надежд на постоянство счастья сочетавшихся книг „для отзыва“. — Нет, милостивый государь! Есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться. Мне решительно все равно, талантливы вы или нет, я только знаю, что писать пасквиль на человека, страданиями и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов, недостойно никакого таланта. Я знаю, что вы меня не послушаетесь, но все-таки (и Васильев, поморщившись от боли, взялся за сердце) я как друг прошу вас, не пытайтесь издавать эту вещь, вы загубите свою литературную карьеру, помяните мое слово, от вас все отвернутся».

«Предпочитаю затылки», — сказал Федор Константинович.

Вечером он был приглашен к Чернышевским, но Александра Яковлевна в последнюю минуту его отменила: ее муж «лежал в гриппе» с очень высокой температурой. Зина ушла с кем-то в кинематограф, так что он встретился с нею только на следующий вечер. «Первый клин боком, — как сострил бы твой вотчим», — ответил он на ее

вопрос о книге и (как писали в старину) передал ей вкратце разговор в редакции. Возмущение, нежность к нему, желание чем-нибудь тотчас помочь выразились у нее порывом возбужденной и предприимчивой энергии. «Ах, так! — воскликнула она. — Хорошо же. Я добуду денег для издания, вот что я сделаю». — «Ужин ребенку и гробик отцу», — сказал он, и в другое время она бы обиделась на эту вольную шутку.

Она где-то заняла полтораста марок, добавила семьдесят своих, с трудом отложенных за зиму, — но этой суммы было недостаточно, и Федор Константинович решил написать в Америку дяде Олегу, постоянно помогавшему его матери, присылавшему изредка и ему по несколько долларов. Составление этого письма он со дня на день откладывал, так же как откладывал, несмотря на Зинины уговоры, попытку поместить свою вещь в толстом журнале, выходящем в Париже, или заинтересовать ею тамошнее издательство, напечатавшее кончеевские стихи. Она затеяла в свободное время переписку рукописи на машинке, в конторе родственника, и набрала у него же еще пятьдесят марок. Ее сердила вялость Федора — следствие ненависти ко всяческой практической суете. Он между тем беззаботно за-

нялся сочинением шахматных задач, рассеянно ходил на уроки и ежедневно звонил Чернышевской: у Александра Яковлевича грипп перешел в острое воспаление почек. Через несколько дней в книжной лавке он заметил рослого дородного господина с крупными чертами лица, в черной фетровой шляпе (из-под нее — каштановый клок), приветливо и как-то даже поощрительно взглянувшего на него. «Где я встречал его?» — быстро подумал Федор Константинович, стараясь не смотреть. Тот подошел, подал ему руку, щедро, наивно, безоружно распялив ее, заговорил… и Федор Константинович вспомнил: Буш, два с половиной года тому назад читавший в кружке свою пьесу. Недавно он ее выпустил в свет, — и теперь, толкая Федора Константиновича боком, локтем, с детской дрожащей улыбкой на благородном, всегда слегка потном лице, он достал бумажник, из бумажника конверт, из конверта вырезку — бедненькую рецензию, появившуюся в рижской газетке.

«Теперь, — сказал он с грозной многозначительностью, — эта Вещь выйдет и панемецки. Сверх того, я сейчас работаю над Романом».

Федор Константинович попробовал уйти от него, но тот вышел из лавки с ним и предложил се-

бя в попутчики, а так как Федор Константинович шел на урок и, значит, был связан маршрутом, то единственное, чем он мог попытаться избавиться от Буша, было ускорить ход, но при этом так участилась речь спутника, что он в ужасе замедлил шаг снова.

«Мой Роман, — сказал Буш, глядя вдаль и слегка протянутой вбок рукой в дребезжащей манжете, выпиравшей из рукава черного пальто, останавливая Федора Константиновича (это пальто, черная шляпа и кудря делали его похожим на гипнотизера, шахматного маэстро или музыканта), — мой Роман — это трагедия философа, который постиг абсолют-формулу. Он разговаривается и говорит (Буш, как фокусник, извлек из воздуха тетрадь и стал на ходу читать): „Нужно быть набитым ослом, чтобы из факта атома не дедуцировать факта, что сама вселенная лишь атом, или, правильнее будет сказать, какая-либо триллионная часть атома. Это еще геньяльный Блэз Паскаль интуитивно познавал. Но дальше, Луиза! (При этом имени Федор Константинович вздрогнул и ясно услышал звуки гренадерского марша: „Пра-ащай, Луиза, отри слезы с лица, не всяка пуля бьет молодца“, — и это затем продолжало звучать, как бы за окном

дальнейших слов Буша.) Напрягите, дорогая, внимание. Сперва поясню на примере фантазии. Допускается, что некто физик сумел разыскать среди абсолют-немыслимой суммы атомов, из которых скомпоновано Все, фатальный атом тот, к которому применяется наше рассуждение. Мы предполагаем, что он додробился до самой малейшей эссенции этого как раз атома, в который момент Тень Руки (руки физика!) падает на нашу вселенную с катастрофальными результатами, потому что вселенная и есть последняя частичка одного, я думаю, центрального атома, из которых она же состоит. Понять нелегко, но если вы это поймете, то вы всё поймете. Прочь из тюрьмы математики! Целое равно наимельчайшей части целого, сумма частей равна части суммы. Это есть тайна мира, формула абсолют-бесконечности, но, сделав таковое открытие, человеческая личность больше не может гулять и разговаривать. Закройте рот, Луиза“. Это он обращается к одной малютке, своей подруге жизни», — снисходительно-добродушно добавил Буш, пожав могучим плечом.

«Если вы интересуетесь, я вам когда-нибудь с начала почитаю, — продолжал он. — Тема колоссальная. А вы, смею спросить, что делаете?»

«Я? — проговорил Федор Константинович, усмехнувшись. — Я тоже написал книгу, книгу о критике Чернышевском, а найти для нее издателя не могу».

«А! Популяризатор германского материализма — предателей Гегеля, гробианов-философов! Очень почтенно. Я все более убеждаюсь, что мой издатель охотно возьмет ваш труд. Он комический персонаж, и для него литература — закрытая книга. Но я у него в положении советника, и он выслушивает меня. Дайте мне ваш телефонномер, я завтра с ним свижусь, — и если он в принципе соглашается, то пробегу ваш манускрипт и, смею надеяться, что рекомендую его самым льстивым образом».

«Какая чушь», — подумал Федор Константинович, а потому был весьма удивлен, когда, на другой же день, добряк действительно позвонил. Издатель оказался полненьким, с жирным носом мужчиной, чем-то напоминавшим Александра Яковлевича, с такими же красными ушами и черными волосиками по бокам отшлифованной лысины. Список им уже изданных книг был мал, но чрезвычайно разнообразен: переводы каких-то немецких психоаналитических романов, сделанные дядей Буша, «Отравительница»

Аделаиды Светозаровой, сборник анекдотов, анонимная поэма «Аз», — но среди этого хлама были две-три настоящие книги, как, например, прекрасная «Лестница в Облаках» Германа Лянде и его же «Метаморфозы Мысли». Буш отозвался о «Жизни Чернышевского» как о пощечине марксизму (о нанесении коей Федор Константинович при сочинении нимало не заботился), и, при втором свидании, издатель, человек, по-видимому, милейший, обещал книгу напечатать к Пасхе, т. е. через месяц. Аванса он не давал никакого, с первой тысячи проданных экземпляров предлагал пять процентов, но зато со следующей доводил авторские до тридцати, что показалось Федору Константиновичу и справедливым, и щедрым. Впрочем, к этой стороне дела он чувствовал полнейшее равнодушие. Другое заполняло его. Пожав влажную руку сияющего Буша, он вышел на улицу, как балерина вылетает на сиренево освещенные подмостки. Моросивший дождь казался ослепительной росой, счастье стояло в горле, радужные ореолы дрожали вокруг фонарей, и книга, написанная им, говорила с ним полным голосом, все время сопутствуя ему, как поток за стеною. Он направился к конторе, где служила Зина; против этого черного дома, с доб-

рым выражением окон наклоненного к нему, он нашел пивную, ей указанную.

«Ну что?» — спросила она, быстро войдя.

«Нет, не берет», — сказал Федор Константинович, внимательно, с наслаждением следя за угасанием ее лица, играя своей властью над ним, предвкушая восхитительный свет, который он сейчас вызовет.

Глава четвертая

Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,
все так же на ветру, в одежде оживленной,
к своим же Истина склоняется перстам,

с улыбкой женскою и детскою заботой
как будто в пригоршне рассматривая что-то,
из-за плеча ее невидимое нам.

Сонет — словно преграждающий путь, а может быть, напротив, служащий тайной связью, которая объяснила бы **всё**, — если бы только ум человеческий мог выдержать оное объяснение. Душа окунается в мгновенный сон, — и вот, с особой театральной яркостью восставших из мертвых, к нам навстречу выходят: с длинной тростью, в шелковой рясе гранатного колера, с вышитым поясом на большом животе о. Гавриил, и с ним, уже освещенный солнцем, весьма привлекательный мальчик: розовый, неуклюжий,

нежный. Подошли. Сними шляпу, Николя. Волосы с рыжинкой, веснушки на лобике, в глазах ангельская ясность, свойственная близоруким детям. Кипарисовы, Парадизовы, Златорунные не без удивления вспоминали потом (в тиши своих дальних и бедных приходов) его стыдливую красоту: херувим, увы, оказался наклеенным на крепкий пряник, не всем пришедшийся по зубам.

Поздоровавшись с нами, Николя вновь надевает шляпу — серенький пуховой цилиндр — и тихо отходит, очень миленький в своем домашнесшитом сюртучке и нанковых брючках, — между тем как его отец, добрейший протоиерей, не чуждый садовничеству, занимает нас обсуждением саратовских вишен, слив, глив. Летучая знойная пыль застилает картину.

Как неизменно отмечается в начале всех решительно писательских биографий, мальчик был пожирателем книг. Но отлично учился. «Государю твоему повинуйся, чти его и будь послушным законам», — тщательно воспроизводил он первую пропись, и помятая подушечка указательного пальца так навсегда и осталась темною от чернил. Вот тридцатые годы кончились, пошли сороковые.

В шестнадцать лет он довольно знал языки, чтобы читать Байрона, Сю и Гёте (до конца дней стесняясь варварского произношения); уже владел семинарской латынью, благо отец был человек образованный. Кроме того, некто Соколовский занимался с ним по-польски, а местный торговец апельсинами преподавал ему персидский язык — и соблазнял табачным курением.

Поступив в саратовскую семинарию, он там показал себя скромным и ни разу не подвергся поронции. Его прозвали «дворянчик», хотя он и не чуждался общих потех. Летом играл в козны, баловался купанием; никогда, однако, не научился ни плавать, ни лепить воробьев из глины, ни мастерить сетки для ловли малявок: ячейки получались неровные, нитки путались, — уловлять рыбу труднее, чем души человеческие (но и души ушли потом через прорехи). Зимою же, в снежном сумраке, зычно распевая гекзаметры, мчалась под гору шайка горланов на громадных дровнях, — и в ночном колпаке, отведя занавеску, поощрительно усмехался полицеймейстер, довольный тем, что забавы семинаристов отпугивают ночных громил.

Он был бы, как и отец, священником и достиг бы, поди, высокого сана, — ежели бы не при-

скорбный случай с майором Протопоповым. Это был местный помещик, бонвиван, бабник, собачник; его-то сына о. Гавриил поспешил записать в метрических книгах незаконнорожденным; между тем оказалось, что свадьбу справили, без шума правда, но честно, за сорок дней до рождения ребенка. Уволенный от должности члена консистории, о. Гавриил захандрил и даже поседел. «Вот как вознаграждаются труды бедных священников», — повторяла в сердцах попадья, — и Николе решено было дать образование гражданское. Что сталось потом с молодым Протопоповым, — узнал ли он когда-нибудь, что из-за него…? Вострепетал ли…? Или, рано наскуча наслаждениями кипучей младости… Удалясь…?

Кстати: ландшафт, который незадолго до того чудно и томно развивался навстречу бессмертной бричке; все то русское, путевое, вольное до слез; все кроткое, что глядит с поля, с пригорка, промеж продолговатых туч; красота просительная, выжидательная, готовая броситься к тебе по первому знаку и с тобой зарыдать; — ландшафт, короче говоря, воспетый Гоголем, прошел незамеченным мимо очей восемнадцатилетнего Николая Гавриловича, неторопливо, на долгих, ехавшего с матерью в Петербург. Всю дорогу он

читал книжку. И то сказать, — склонявшимся в пыль колосьям он предпочел словесную войну.

Тут автор заметил, что в некоторых уже сочиненных строках продолжается, помимо него, брожение, рост, набухание горошинки, — или, определеннее: в той или иной точке намечается дальнейший путь данной темы, — темы «прописей», например: вот, уже студентом, Николай Гаврилович украдкой списывает: «Человек есть то, что ест», — глаже выходит по-немецки, а еще лучше — с помощью правописания, ныне принятого у нас. Развивается, замечаем, и тема «близорукости», начавшаяся с того, что он отроком знал только те лица, которые целовал, и видел лишь четыре из семи звезд Большой Медведицы. Первые, медные, очки, надетые в двадцать лет. Серебряные учительские очки, купленные за шесть рублей, чтобы лучше видеть учеников-кадетов. Золотые очки властителя дум, — во дни, когда «Современник» проникал в самую сказочную глушь России. Очки, опять медные, купленные в забайкальской лавчонке, где продавались и валенки, и водка. Мечта об очках в письме к сыновьям из Якутской области, — с просьбой прислать стекла для такого-то зрения (чертой отметил расстояние, на котором различа-

ет буквы). Тут до поры до времени мутится тема очков… Проследим и другую, тему «ангельской ясности». Она в дальнейшем развивается так: Христос умер за человечество, ибо любил человечество, которое я тоже люблю, за которое умру тоже. «Будь вторым Спасителем», — советует ему лучший друг, — и как он вспыхивает, робкий! слабый! (почти гоголевский восклицательный знак мелькает в его «студентском» дневнике). Но «Святой Дух» надобно заменить «Здравым Смыслом». Ведь бедность порождает порок; ведь Христу следовало сперва каждого обуть и увенчать цветами, а уж потом проповедовать нравственность. Христос второй прежде всего покончит с нуждой вещественной (тут поможет изобретенная нами машина). И странно сказать, но… что-то сбылось, — да, что-то как будто сбылось. Биографы размечают евангельскими вехами его тернистый путь (известно, что чем левее комментатор, тем питает бóльшую слабость к выражениям вроде «Голгофа революции»). Страсти Чернышевского начались, когда он достиг Христова возраста. Вот, в роли Иуды, — Всеволод Костомаров; вот, в роли Петра, — знаменитый поэт, уклонившийся от свидания с узником. Толстый Герцен, в Лондоне сидючи, именует позорный

столб «товарищем Креста». И в некрасовском стихотворении — опять о Распятии, о том, что Чернышевский послан был «рабам (царям) земли напомнить о Христе». Наконец, когда он совсем умер и тело его обмывали, одному из его близких эта худоба, эта крутизна ребер, **темная бледность** кожи и длинные пальцы ног смутно напомнили «Снятие со Креста», Рембрандта, что ли. Но и на этом тема не кончается: есть еще посмертное надругание, без коего никакая святая жизнь не совершенна. Так, серебряный венок с надписью на ленте «Апостолу правды от высших учебных заведений города Харькова» был спустя пять лет выкраден из железной часовни, причем беспечный святотатец, разбив темно-красное стекло, нацарапал осколком на раме имя свое и дату. И еще третья тема готова развиться — и развиться довольно причудливо, коли недоглядеть: тема «путешествия», которая может дойти Бог знает до чего — до тарантаса с небесного цвета жандармом, а там и до якутских саней, запряженных шестеркой собак. Господи, да ведь вилюйского исправника звать **Протопоповым**! Но покамест все очень мирно. Катится удобная дорожная повозка; дремлет, прикрыв лицо платком, Николина мать Евгения Егоровна, а рядом, лежа, сын

читает книжку, — и ухаб теряет значение ухаба, становясь лишь типографской неровностью, скачком строки, — и вот опять ровно проходят слова, проходят деревья, проходит тень их по страницам. И вот наконец Петербург.

Нева ему понравилась своей синевой и прозрачностью, — какая многоводная столица, как чиста в ней вода (он ею немедленно испортил себе желудок); но особенно понравилось стройное распределение воды, дельность каналов: как славно, когда можно соединить это с тем, то с этим; из связи вывести благо. По утрам, отворив окно, он с набожностью, обостренной еще общей культурностью зрелища, крестился на мерцающий блеск куполов: строящийся Исаакий стоял в лесах, — вот мы и напишем батюшке о вызолоченных через огонь главах, а бабушке — о паровозе… Да, видел воочию поезд, — о котором еще так недавно мечтал бедняга Белинский (предшественник), когда, изнуренный чахоткой, дрожащий, страшный на вид, часами, бывало, смотрел сквозь слезы гражданского счастья, как воздвигается вокзал, — тот вокзал опять-таки, на дебаркадере которого спустя немного лет полупомешанный Писарев (преемник), в черной маске, в зеленых перчатках, хватает хлыстом по лицу

красавца-соперника.

У меня продолжают расти (сказал автор) без моего позволения и ведома идеи, темы, — иные довольно криво, — и я знаю, что мешает: мешает «машина»; надо выудить эту неуклюжую бирюльку из одной уже сложенной фразы. Большое облегчение. Речь идет о перпетуум-мобиле.

Возня с перпетуум-мобиле продлилась в общем около пяти лет, до 1853 года, когда он, уже учитель гимназии и жених, наконец сжег письмо с чертежами, которые однажды заготовил, боясь, что помрет (от модного аневризма), не одарив мира благодатью вечного и весьма дешевого движения. В описаниях его нелепых опытов, в его комментариях к ним, в этой смеси невежественности и рассудительности, уже сказывается тот едва уловимый, но роковой изъян, который позже придавал его выступлениям как бы оттенок шарлатанства; оттенок мнимый, ибо не забудем: человек — прямой и твердый, как дубовый ствол, «самый честнейший из честнейших» (выражение жены); но такова уж была судьба Чернышевского, что все обращалось против него: к какому бы предмету он ни прикасался, и — исподволь, с язвительнейшей неизбежностью, вскрывалось нечто совершенно противное

его понятию о нем. Он, скажем, за синтез, за силу тяготения, за живую связь (читая роман, в слезах целует страницу, где к читателю воззвал автор), а вот готовится ему ответ: распад, одиночество, отчуждение. Он проповедует основательность, толковость во всем, — а точно по чьему-то издевательскому зазыву, его судьбу облепляют оболтусы, сумасброды, безумцы. За все ему воздается «отрицательной сторицей», по удачному слову Страннолюбского, за все его лягает собственная диалектика, за все мстят ему боги: за трезвый взгляд на отвлеченные розы, за добро в беллетристическом порядке, за веру в познание, — и какие неожиданные, какие хитрые формы принимает это возмездие! Что если — мечтается ему в 48 году — приделать к ртутному градуснику карандаш, так чтобы он двигался согласно изменениям температуры? Исходя из положения, что температура есть нечто вечное… Но позвольте, кто это, кто это тут кропотливо записывает шифром кропотливые соображения? Молодой изобретатель, не правда ли, с безошибочным глазомером, с врожденной способностью к склеиванию, связыванию, спаиванию косных частей, из которых рождается чудо-движение, — а там, глядь, и жужжит уже ткацкий станок,

или паровоз с длинной трубой и машинистом в цилиндре обгоняет кровного рысака? Вот тут-то и трещина с гнездом возмездия, — ибо у этого рассудительного юноши, который, не забудем, печется лишь о благе всего человечества, глаза как у крота, а белые, слепые руки движутся в другой плоскости, нежели его плошавшая, но упрямая и мускулистая мысль. Все, к чему он ни прикоснется, разваливается. Невесело в его дневнике читать о снарядах, которыми он пытается пользоваться, — коромыслах, чечевицах, пробках, тазах, — и ничто не вертится, а если и вертится, то, в силу непрошеных законов, в другую сторону, чем он того хочет: обратный ход вечного двигателя — ведь это сущий **кошемар**, абстракция абстракции, бесконечность со знаком минуса, да разбитый кувшин в придачу.

Мы, сознательно, залетели вперед; вернемся к той рысце, к тому ритму Николиной жизни, с которым наш слух уже свыкся.

Он избрал филологический факультет. Мать ходила на поклон к профессорам, дабы их задобрить: ее голос приобретал льстивые переливы, и постепенно она начинала сморкаться. Из петербургских товаров ее больше всего поразил хрусталь. Наконец, **оне** (Николя всегда говорил

о матери почтительно, употребляя это наше удивительное множественное число, которое, как впоследствии его же эстетика, «пытается выразить качество через количество») собрались обратно в Саратов. На дорогу оне купили себе огромную репу.

Николай Гаврилович сначала поселился с приятелем, а впоследствии делил квартиру с кузиной и ее мужем. Планы этих квартир, как и всех прочих его жизненных стоянок, им начертаны в письмах. Всегда испытывая влечение к точному определению отношений между предметами, он любил планы, столбики цифр, наглядное изображение вещей, тем более что недостижимую для него литературную изобразительность никак не могла заменить мучительная обстоятельность его слога. Его письма к родным — письма юноши примерного: услужливая доброта заместо воображения подсказывала ему, что именно другому мило. Благочинному нравились всякие происшествия, забавные или ужасные казусы. Сын аккуратно ими кормил его в течение нескольких лет. Увеселения Излера, его искусственные Карлсбады; «минерашки», где на воздушных шарах поднимаются отважные петербургские дамы; трагический случай с лодкой, угодившей

под невский пароход, причем один из погибших — многосемейный полковник; мышьяк, предназначенный для мышей, а попавший в муку, так что отравилось более ста человек; и конечно, конечно — столоверчение, легковерие и обман, по мнению обоих корреспондентов.

Как в сумрачные сибирские годы одна из главных его эпистолярных струн — это обращенное к жене и сыновьям заверение, все на одной высокой, не совсем верной ноте, что денег вдосталь, денег не посылайте, так и в юности он просит родителей не заботиться о нем и умудряется жить на двадцать рублей в месяц; из них около двух с половиной уходит на булки, на печения (не терпел пустого чаю, как не терпел пустого чтения, т. е. за книгой непременно что-нибудь грыз: с пряниками читал «Записки Пиквикского Клуба», с сухарями — «Журналь де деба»), а свечи да перья, вакса да мыло обходились в месяц в целковый: был, кстати, нечистоплотен, неряшлив, при этом грубовато возмужал, а тут еще дурной стол, постоянные колики, да неравная борьба с плотью, кончавшаяся тайным компромиссом, — так что вид он имел хилый, глаза потухли, и от отроческой красоты ничего не осталось, разве лишь выражение чудной какой-то беспомощно-

сти, бегло озарявшее его черты, когда человек, им чтимый, обходился с ним хорошо («он был ласков ко мне, юноше робкому, безответному», — писал он потом о Иринархе Введенском, с трогательной латинской интонацией: анимула, вагула, бландула…); сам же не сомневался в своей непривлекательности, мирясь с мыслью о ней, но дичась зеркал; все же иногда, собираясь в гости, особливо к своим лучшим друзьям, Лободовским, или желая узнать причину неучтивого взгляда, мрачно всматривался в свое отражение, видел рыжеватый пух, точно прилипший к щекам, считал наливные прыщи — и тут же начинал их давить, да так жестоко, что потом не смел показываться.

Лободовские! Свадьба друга произвела на нашего двадцатилетнего героя одно из тех чрезвычайных впечатлений, которые среди ночи сажают юношу в одном белье за дневник. Эта чужая свадьба, столь взволновавшая его, была сыграна 19 мая 1848 года; в тот же день шестнадцать лет спустя состоялась гражданская казнь Чернышевского. Совпадение годин, картотека дат. Так их сортирует судьба в предвидении нужд исследователя; похвальная экономия сил.

Ему было радостно на этой свадьбе. Мало того:

собственная радость обрадовала его вторично («я, значит, способен питать чистую привязанность к женщине»), — да, он всегда норовил повернуть сердце так, чтобы оно одним боком отражалось в стекле рассудка, или, как выражается лучший его биограф, Страннолюбский, «свои чувства гнал через алембики логики». Но кто бы мог сказать, что мысль о любви занимала его в ту минуту? Много лет спустя, в своих кучерявых «Бытовых очерках», этот самый Василий Лободовский небрежно ошибся, говоря, что тогдашний его шафер, студент «Крушедолин», так был серьезен, что «наверное подвергал про себя всестороннему анализу только что прочитанные им сочинения, вышедшие в Англии».

Французский романтизм дал нам поэзию любви, немецкий — поэзию дружбы. Чувствительность молодого Чернышевского — уступка эпохе, когда дружба была великодушна и влажна. Чернышевский плакал охотно и часто. «Выкатилось три слезы», — с характерной точностью заносит он в дневник, — и мимоходом читатель мучится невольною мыслью, может ли число слез быть нечетным, или это только парность их источников заставляет нас требовать чета? «Не помяни мне глупых слез, какими плакал я не раз,

своим покоем тяготясь», — обращается Николай Гаврилович к своей убогой юности и под звук некрасовской разночинной рифмочки действительно роняет слезу: «на этом месте в оригинале след от капнувшей слезы», — поясняет подстрочное замечание его сына Михаила. След другой слезы, куда более горячей, горькой и драгоценной, сохранился на его знаменитом письме из крепости, причем описание этой второй слезы у Стеклова грешит, по указанию Страннолюбского, неточностями, — о чем будет дальше. Затем, во дни ссылки, и особенно в Вилюйском остроге — — Но стоп: тема слез непозволительно ширится… вернемся к отправной ее точке. Вот, например, отпевают студента. В голубом гробу лежит восковой юноша, а студент Татаринов, ухаживавший за больным, но едва знавший его прежде, с ним прощается, долго смотрит, целует его и смотрит опять, без конца… Студент Чернышевский, это записывая, сам изнемогает от нежности; Страннолюбский же, комментируя данные строки, проводит параллель между ними и горестным гоголевским отрывком «Ночи на вилле».

Но по правде сказать… мечтания молодого Чернышевского в отношении любви и дружбы не отличаются изящностью — и чем больше он

предается им, тем яснее вскрывается их порок — их рассудочность; глупейшую из грез он умел согнуть в логическую дугу. Подробно мечтая о том, как у Лободовского, пред которым искренне преклоняется, разовьется чахотка, и о том, как Надежда Егоровна останется молодой вдовой, беспомощной, обездоленной, он преследует особую цель. Подставной образ нужен ему, чтобы оправдать свою влюбленность, заменив ее жалостью к жертве, т. е. подведя под влюбленность утилитарную основу. Ведь иначе сердечных волнений не объяснить ограниченными средствами топорного материализма, которым он уже безнадежно прельстился. Пускай еще вчера, когда Надежда Егоровна «сидела без платка, и миссионер был, конечно, немного разрезан спереди, и была видна некоторая часть пониже шеи» (слог, необыкновенно схожий с говорком нынешнего литературного типа простака-мещанина), он спрашивал себя с честной тревогой, смотрел ли бы он на «эту часть» в первые дни после свадьбы друга. И вот, в мечтах медленно друга уморив, он со вздохом, как бы нехотя, как бы повинуясь долгу, решает на молодой вдове жениться — грустный брак, целомудренный брак (и все эти подставные образы повторяются еще полнее,

когда впоследствии он добивается руки Ольги Сократовны). Самая красота бедной женщины еще под сомнением; и метод, который Чернышевский избрал, чтобы прелесть ее проверить, предопределил все дальнейшее его отношение к понятию прекрасного.

Сначала он установил лучший образчик грации Надежды Егоровны: случай поставил для него живую картину в идиллическом роде, хотя и несколько громоздкую. «Василий Петрович стал на стул на колени, лицом к спинке; она подошла и стала нагибать стул, нагнула несколько и приложила свое личико к его груди… Свеча стояла на чайном столе… и свет падал на нее хорошо довольно, т. е. полусвет, потому что она была в тени от мужа, но ясный». Николай Гаврилович смотрел внимательно, стараясь отыскать что-нибудь, что было бы не так; грубых черт не нашел, однако еще колебался сомнением.

Как дальше быть? Он постоянно сличал ее черты с чертами других женщин, но несовершенство его зрения препятствовало добыче живых особей, необходимых для сравнения. Волей-неволей пришлось обратиться к красоте, пойманной и запечатленной другими, к препаратам красоты, т. е. к женским портретам. Таким образом, понятие

искусства с самого начала стало для него, близорукого материалиста (сочетание, в сущности, абсурдное), чем-то прикладным и подсобным, и опытным путем можно было теперь проверить все то, что подсказывала ему влюбленность: превосходство красоты Надежды Егоровны (которую муж звал «милкой» и «куколкой»), т. е. жизни, над красотой всех других «женских головок», т. е. искусства (искусства!).

На Невском проспекте в витринах Юнкера и Дациаро были выставлены поэтические картинки. Хорошенько их изучив, он возвращался домой и записывал свои наблюдения. О чудо! сравнительный метод всегда давал нужный результат. У калабрийской красавицы на гравюре не вышел нос: «Особенно не удалась переносица и части, лежащие около носа, по бокам, где он поднимается». Через неделю, все еще неуверенный в том, что достаточно испытана истина, а не то — желая вновь насладиться уже знакомой податливостью опыта, он шел опять на Невский, посмотреть, нет ли новой красотки в окне. На коленях, в пещере, перед черепом и крестом, молилась Мария Магдалина, и лицо ее в луче лампады было мило, конечно, но насколько лучше полуосвещенное лицо Надежды Егоровны! На белой террасе над

морем — две девушки: грациозная блондинка сидит на каменной лавке, целуясь с юношей, а грациозная брюнетка смотрит, не идет ли кто, отодвинув малиновую занавеску, «отделяющую террасу от других частей дома», как отмечаем мы в дневнике, ибо всегда любим установить, в какой связи находится данная подробность по отношению к ее умозрительной среде. Разумеется, шейка у Надежды Егоровны еще милее. Отсюда важный вывод: жизнь милее (а значит, лучше) живописи, ибо что такое живопись, поэзия, вообще искусство в самом чистом своем виде? Это — солнце пурпурное, опускающееся в море лазурное; это — «красивые» складки платья; это — розовые тени, которые пустой писатель тратит на иллюминовку своих глянцевитых глав; это — гирлянды цветов, феи, фрины, фавны… Чем дальше, тем облачнее: сорная идея растет. Роскошь женских форм на картине уже намекает на роскошь в экономическом смысле. Понятие «фантазии» представляется Николаю Гавриловичу в виде прозрачной, но пышногрудой Сильфиды, которая, без всякого корсета и почти нагая, играя легким покрывалом, прилетает к поэтически поэтизирующему поэту. Две-три колонны, два-три дерева — не то кипарисы, не то тополя, — какая-

то мало нам симпатичная урна, — и поклонник чистого искусства рукоплещет. Презренный! Праздный! И действительно, как же не предпочесть всему этому вздору честное описание современного быта, гражданскую горечь, задушевные стишки?

Смело можно сказать, что в те минуты, когда он льнул к витрине, полностью создалась его нехитрая магистерская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности» (не удивительно, что он ее впоследствии написал прямо набело, сплеча, в три ночи; удивительнее то, что он за нее, хоть и с шестилетним опозданием, так-таки получил магистра).

Бывали томные, смутные вечера, когда он лежал навзничь на своем страшном, кожаном диване — в кочках, в дырьях, с неистощимым (только тащи) запасом конского волоса — и «сердце как-то чудно билось от первой страницы Мишле, от взглядов Гизо, от теории и языка социалистов, от мысли о Надежде Егоровне, и все это вместе», и вот он начинал петь, завывающим фальшивым голосом, — пел «песню Маргариты», при этом думал об отношениях Лободовских между собой, — и «слезы катились из глаз понемногу». Вдруг он вставал, решив повидать ее

немедленно; был, представим себе, октябрьский вечер, летели тучи, кислой вонью несло из шорных и каретных лавок в низах мрачно-желтых домов, купцы, в чуйках и тулупах, с ключами в руках, уже запирали лавки. Один толкнул его, но он прошел быстро мимо. Гремя по булыжнику своей ручной тележкой, обтрепанный фонарщик подвозил ламповое масло к мутному, на деревянном столбе, фонарю, протирал стекло засаленной тряпкой и со скрипом двигался к следующему — далекому. Начинало моросить. Николай Гаврилович летел проворным аллюром бедных гоголевских героев.

По ночам он долго не мог уснуть, мучась вопросами, удастся ли Василию Петровичу достаточно образовать жену, чтоб она ему служила помощницей, и не следует ли для оживления его чувств послать, например, анонимное письмо, которое разожгло бы в муже ревность. Этим уже предсказаны меры, принимаемые героями романов Чернышевского. Такие же, очень точно вычисленные, но ребячески нелепые планы ссыльный Чернышевский, старик Чернышевский придумывает для достижения трогательнейших целей. Вот как она пользуется минутой невнимания и распускается, эта тема. Стой, свернись. Да и

незачем забираться так далеко. В студентском дневнике найдется такой пример расчетливости: напечатать фальшивый манифест (об отмене рекрутства), чтобы обманом раззадорить мужиков; сам тут же окстился, — зная, как диалектик и как христианин, что внутренняя гнильца разъедает созданное строение и что благая цель, оправдывая дурные средства, только выдает свое роковое с ними родство. Так политика, литература, живопись, даже вокальное искусство приятно сплетались с любовными переживаниями Николая Гавриловича (вернулись к исходной точке).

Какой он был бедный, какой грязный и безалаберный, как далек от соблазнов роскоши… Внимание! Это не столько пролетарское целомудрие, сколько естественное пренебрежение, с которым подвижник относится к покусыванию несменяемой власяницы и оседлых блох. Однако же и власяницу приходится порою чинить. Мы присутствуем при том, как изобретательный Николай Гаврилович замышляет штопание своих старых панталон: ниток черных не оказалось, потому он какие нашлись принялся макать в чернила; тут же лежал сборник немецких стихов, открытый на начале «Вильгельма Теля». Вследствие того что он махал нитками (чтобы

высохли), на эту страницу упало несколько чернильных капель; книга же была чужая. Найдя в бумажном мешочке за окном лимон, он попытался кляксы вывести, но только испачкал лимон да подоконник, где оставил зловредные нитки. Тогда он обратился к помощи ножа и стал скоблить (эта книжка с продырявленными стихами находится в лейпцигской университетской библиотеке; какими путями она попала туда, к сожалению, установить не удалось). Чернилами же (чернила, в сущности, были природной стихией Чернышевского, который буквально, буквально купался в них) он мазал трещины на обуви, когда не хватало ваксы; или же, чтобы замаскировать дырку в сапоге, заворачивал ступню в черный галстук. Бил стаканы, всё пачкал, всё портил: любовь к вещественности без взаимности. Впоследствии, на каторге, он оказался не только неспособен к какому-либо специальному каторжному труду, но и вообще прославился неумением что-либо делать своими руками (при этом постоянно лез помогать ближнему: «Да не суйтесь не в свое дело, стержень добродетели», — грубовато говаривали ссыльные). Мы уже видели мельком, как пихали на улице бестолково летящего юношу. Редко сердился; все же однажды не без гордости записал,

как отомстил молодому извозчику, задевшему его оглоблей: вырвал у него клок волос, молча навалившись на сани, между ног двух удивленных купцов. Вообще же был смирный, открытый обидам, — но втайне чувствовал себя способным на поступки «самые отчаянные, самые безумные». Помаленьку занимался и пропагандой, беседуя то с мужиками, то с невским перевозчиком, то с бойким кондитером.

Вступает тема кондитерских. Немало они перевидали. Там Пушкин залпом пьет лимонад перед дуэлью; там Перовская и ее товарищи берут по порции (чего? история не успела — —) перед выходом на канал. Нашего же героя юность была кондитерскими околдована, так что потом, моря себе голодом в крепости, он — в «Что делать?» — наполнял иную реплику невольным воплем желудочной лирики: «У вас есть и кондитерская недалеко? Не знаю, найдется ли готовый пирог из грецких орехов, — на мой вкус, это самый лучший пирог, Марья Алексеевна». Но будущему воспоминанию наперекор, кондитерские прельщали его вовсе не снедью, — не слоеным пирожком на горьком масле и даже не пышкой с вишневым вареньем, — журналами, господа, журналами, вот чем! Он пробовал разные, — где

газет побольше, где попроще да повольнее. Так, у Вольфа «последние оба раза вместо булки его (читай: Вольфа) пил кофе с пятикопеечным калачом (читай: своим), в последний раз не таясь» — т. е. в первый из этих двух последних разов (щепетильная обстоятельность его дневника вызывает в мозжечке щекотку) таился, не зная, как примут захожее тесто. В кондитерской было тепло, тихо, только изредка юго-западный ветерок газетных листов колебал пламя свеч («волнения уже касались нам вверенной России», как выражался царь). «Позвольте-с „Эндепенданс Бельж“. Благодарю-с». Пламя свеч выпрямляется, тишина (но щелкают выстрелы на Бульвар де Капюсин, революция подступает к Тюльери, — и вот Луи Филипп обращается в бегство: по Авеню Нейи, на извозчике).

А потом донимала изжога. Вообще питался всякой дрянью — был нищ и нерасторопен. Здесь уместен стишок Некрасова: «Питаясь чуть не жестию, я часто ощущал такую индижестию, что умереть желал. А тут ходьба далекая… Я по ночам зубрил; каморка невысокая, я в ней курил, курил…» Николай Гаврилович, впрочем, курил не зря, — именно «жуковиной» и лечил желудок (а также зубы). Его дневник, особенно за лето и

осень 49-го года, содержит множество точнейших справок относительно того, как и где его рвало. Кроме курения, он лечился ромом с водой, горячим маслом, английской солью, златотысячником с померанцевым листом, да постоянно, добросовестно, с каким-то странным смаком, пользовался римским приемом, — и, вероятно, в конце концов умер бы от истощения, если бы (выпущенный кандидатом и оставленный при университете для занятий) не приехал в Саратов.

И вот тогда, в Саратове… Но как ни хочется поскорее вылезти из черного уголка, куда нас завел разговор о кондитерских, и перейти на солнечную сторону жизни Николая Гавриловича, все же (ради некой скрытой связности) я еще немного тут потопчусь. Однажды он бросился за большой нуждой в дом на Гороховой (следует многословное, со спохватками, описание расположения дома) и уже оправлялся, когда «какая-то девушка в красном» отворила дверь. Увидав руку, — хотел дверь удержать, — она вскрикнула, «как это бывает обыкновенно». Тяжкий дверной скрип, ржавый крючок отбит, вонь, стужа, — ужасно… но чудак наш вполне готов потолковать с самим собой об истинной чистоте, отмечая с удовлетворением, что «даже

не полюбопытствовал, хороша ли она». В своих сновидениях он зато смотрел зорче, и случай сна был к нему милостивее судьбы явной, — но и тут как он радуется, когда, трижды целуя во сне гантированную ручку «весьма светлорусой» дамы (матери подразумеваемого ученика, во сне приютившей его, т. е. нечто во вкусе Жан-Жака), он не может себя упрекнуть ни в какой плотской мысли. Зоркой оказалась и память о той молодой, кривой тоске по красоте. В пятьдесят лет, в письме из Сибири, он вспоминает девушку-ангела, замеченную однажды в юности на выставке Промышленности и Земледелия: «Идет какое-то аристократическое семейство», — повествует он своим позднейшим ветхозаветно-медленным слогом. «Понравилась мне эта девушка, понравилась… Я пошел шагах в трех сбоку и любовался… Они были, очевидно, очень знатные люди. Это видели все по их чрезвычайно милым манерам (в патоке этой патетики есть мошка от Диккенса, заметил бы Страннолюбский, но все же не забудем, что это пишет полураздавленный каторгой старик, как справедливо выразился бы Стеклов). Толпа расступалась… Мне было вовсе свободно идти в шагах трех, не спуская взгляда с той девушки (бедненький сателлит!). И длилось

это час или больше (вообще выставки, например, Лондонская 62 года и Парижская 89 года, со странной силой отразились на его судьбе; так, Бувар и Пекюшэ, принимаясь за описание жизни герцога Ангулемского, дивились тому, какую роль сыграли в ней… мосты).

Из всего этого следует, что по приезде в Саратов он не мог не влюбиться в девятнадцатилетнюю дочку доктора Васильева, цыгановатенькую барышню с висячими серьгами в длинных мочках ушей, полуприкрытых темными прядями. Задира, жеманница, «мишень и краса провинциального бала», по слову безымянного современника, она шумом своих голубых шу и певучестью речи обольстила и оболванила неуклюжего девственника. «Смотрите, какая прелестная ручка», — говорила она, к его запотевшим очкам ручку протягивая — смуглую, голую, с блестящим пушком. Он мазался розовым маслом, кровопролитно брился. А какие придумывал серьезные комплименты! «Вам бы жить в Париже», — сказал он истово, стороной узнав, что она «демократка»; Париж, однако, представлялся ей не очагом наук, а королевством лореток, так что она обиделась.

Перед нами «Дневник моих отношений с тою,

которая теперь составляет мое счастье». Увлекающийся Стеклов называет «ликующим гимном любви» это единственное в своем роде произведение, — напоминающее скорее всего добросовестнейший доклад. Докладчик составляет проект любовного объяснения (в точности приведенный в исполнение в феврале 53 года и без промедления одобренный) с пунктами за женитьбу и против нее (опасался, например, не вздумает ли норовистая супруга носить мужское платье — с легкой ноги Жорж Занд) и со сметой брачного быта, в которой учтено решительно все, и две стеариновые свечи на зимние вечера, и молока на десять копеек, и театр; при этом он уведомляет невесту, что ввиду его образа мыслей («меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня»), он рано или поздно «непременно попадется», а для пущей честности рассказывает ей о жене Искандера, которая, будучи беременной («извините, что я говорю такие подробности»), при получении известия, что мужа схватили в Сардинских владениях и отправляют в Россию, «падает мертвой». Ольга Сократовна, как добавил бы тут Алданов, мертвой бы не упала.

«Если когда-нибудь, — писал он далее, — молва запятнает ваше имя, так что вы не будете наде-

яться иметь другого мужа… всегда буду по одному вашему слову готов стать вашим мужем». Положение рыцарское, но основанное на далеко не рыцарских предпосылках, и этот свойственный ему поворот разом переносит нас на знакомый путь его прежних любовных квази-фантазий, с их обстоятельной жаждой жертвы и защитного цвета состраданием; что не помешало ему испытать самолюбивую досаду, когда невеста предупредила его, что в него не влюблена. Все же был как-то пестро счастлив. Его жениховство — с легким немецким оттенком, с шиллеровскими песнями, с бухгалтерией ласок: «расстегивал сначала две, после три пуговицы на ее мантилье…». Непременно хотел поставить ее ножку (в тупоносенькой серой ботинке, прошитой цветным шелком) на свою голову: сладострастие питалось символами. Иногда он читал ей Лермонтова, Кольцова; читал же стихи, как псалтырь.

Но что занимает почетнейшее место в дневнике и особенно важно для понимания многого в судьбе Николая Гавриловича, это — подробное описание шуточных церемоний, которыми густо украшались саратовские вечера. Он не умел полькировать ловко и плохо танцевал гроссфатер, но зато был охоч до дурачеств, ибо даже пингвин

не чужд некоторой игривости, когда, ухаживая за самочкой, окружает ее кольцом из камушков. Собиралась, как говорится, молодежь, и, пуская в ход модный в те дни и в том кругу прием кокетства, Ольга Сократовна за столом кормила с тарелки, как ребенка, того или другого гостя, а Николай Гаврилович прижимал салфетку к сердцу, грозил проткнуть себе вилкой грудь. В свою очередь она притворялась сердитой. Он просил прощения (все это до жути не смешно), целовал «открытые части» ее рук, которые она прятала. «Как вы смеете!» Пингвин принимал «серьезный, унылый вид, потому что в самом деле могло случиться, что сказал что-нибудь такое, чем другая на ее месте оскорбилась бы». По праздникам он озорничал в Божием храме, смеша невесту, — но напрасно марксистский комментатор видит в этом «здоровую кощунственность». Какие глупости. Сын священника, Николай чувствовал себя в церкви как дома (королевич, венчающий кота отцовской короной, отнюдь не выражает этим сочувствия к народовластию). Тем менее его можно упрекнуть в насмешке над крестоносцами, оттого что мелком он по очереди ставил всем на спине крест: знак поклонников Ольги Сократовны, страдающих по ней. И после еще некоторой

возни в том же духе происходит — запомним это — шутовская дуэль палками.

А несколько лет спустя, при аресте, забран был этот дневник, написанный ровным, хвостатеньким почерком и зашифрованный домашним способом, с сокращениями вроде «слабь! глупь!» (слабость, глупость!), «свбды-ва» (свободы, равенства) или «чк» (человек, а не другое). Его разбирали люди, видимо, неумелые, ибо допустили кой-какие ошибки, например, слово «подозрения», написанное «дзрья», прочли как «друзья»; вышло: «у меня весьма сильные друзья» вместо: «подозрения против меня будут весьма сильными». Чернышевский ухватился за это и стал утверждать, что весь дневник — вымысел беллетриста, так как, дескать, у него «не было тогда влиятельных друзей, а ведь тут явно действует человек, имеющий друзей сильных в правительстве». Неважно (хотя вопрос сам по себе занимателен), помнил ли он дословно свои настоящие фразы; важно, что им, этим фразам, дано своеобразное алиби в «Что делать?», где развернут полностью их внутренний, «черновой» ритм (например, в песенке одной из участниц пикника: «О дева, друг недобрый я, глухих лесов жилец. Опасна будет жизнь моя, печален мой

конец»). Сидя в крепости и зная, что опасный дневник разбирается, он спешил посылать сенату «образцы своей черновой работы», т. е. вещи, которые он писал исключительно для того, чтобы дневник оправдать, превращая его задним числом тоже в черновик романа (Страннолюбский прямо полагает, что это и толкнуло его писать в крепости «Что делать?», посвященное, кстати, жене и начинающееся в день Св. Ольги). Посему он выражал негодование, что дается юридическое значение сценам выдуманным: «Я ставлю себя и других в разные положения и фантастически развиваю… Какое-то „я“ говорит о возможности ареста, одного из этих „я“ бьют палкой при невесте». Он надеялся, вспоминая это место, что обстоятельное повествование о всяких домашних играх может быть воспринято как вообще «фантазия»: не станет же солидный человек… (горе в том, что в казенных кругах его и не считали солидным человеком, а именно буфоном, и как раз в **шутовстве** его журнальных приемов усматривали бесовское проникновение вредоносных идей). И для полного завершения темы саратовских пти-жё давайте еще дальше продвинемся, уже на каторгу, где отзвук их жив в пьесках, сочиняемых им для товарищей,

и особенно в романе «Пролог» (написанном в Александровском заводе в 66 году), где есть и студент, несмешно валяющий дурака, и красавица, кормящая поклонников. Если к этому добавить, что герой (Волгин), говоря жене о грозящей ему опасности, ссылается на свое добрачное предупреждение, то как не заключить: вот поздняя правда, подведенная наконец под давнишнее утверждение Чернышевского, что дневник лишь черновик сочинителя… ибо самая плоть «Пролога» сквозь весь мусор беспомощного вымысла теперь и впрямь кажется беллетристическим продолжением саратовских записок.

Преподавая словесность в тамошней гимназии, он показал себя учителем крайне симпатичным: в неписаной классификации, быстро и точно применяемой школьниками к наставникам, он причтен был к типу нервного, рассеянного добряка, легко вспыхивающего, легко отвлекаемого в сторону — и сразу попадающегося в мягкие лапы классному виртуозу (в данном случае Фиолетову-младшему), который в критический миг, когда гибель не знающих урока кажется уже неизбежной, а до звоночка сторожа остается недолго, задает спасительный оттяжной вопрос: «Николай Гаврилович, а вот тут насчет Конвен-

та…» — и Николай Гаврилович сразу загорается, подходит к доске и, кроша мел, чертит план залы заседаний Конвента (он, как мы знаем, был большой мастер на планы), а затем, все более воодушевляясь, указывает и места, где члены каждой партии сидели.

В те годы в провинции он держался, по-видимому, довольно неосторожно, людей степенных, юношей богобоязненных пугая резкостью взглядов и развязностью манер. Сохранился слегка подкрашенный рассказ о том, как на похоронах матери, едва спущен был гроб, он закурил папироску и ушел под ручку с Ольгой Сократовной, с которой спустя десять дней обвенчался. Но саратовские гимназисты постарше увлекались им; иные из них впоследствии привязались к нему с той восторженной страстью, с которой в эту дидактическую эпоху люди льнули к наставнику, вот-вот готовому стать вождем; а что насчет «словесности», то, по совести говоря, справляться с запятыми он питомцев своих не научил. Много ли было из их числа спустя сорок лет на его похоронах? По одним сведениям, двое, по другим — ни одного. Когда же погребальное шествие остановилось было у здания саратовской гимназии, чтобы отслужить литию, директор выслал

сказать священнику, что это, знаете, нежелательно, и, сопутствуемая путавшимся в своих полах октябрьским ветром, процессия прошла мимо.

Гораздо менее успешно, чем в Саратове, было его учительство по перемещении в Петербург, где в течение нескольких месяцев 54-го года он преподавал во втором кадетском корпусе. Кадеты на его лекциях вели себя распущенно. Он визгливо кричал на балбесов, чем лишь усугублял кавардак. Не очень разговоришься тут о монтаньярах! Как-то была перемена, в одном из классов шумели, дежурный офицер вошел, гаркнул и оставил за собой относительный порядок, а тут шум поднялся в другом классе, куда (перемена кончилась) с портфелем под мышкой входил Чернышевский. Оборотясь к офицеру, он его остановил прикосновением кисти и со сдержанным раздражением сказал, взглянув поверх очков: «А теперь вам сюда нельзя-с». Офицер оскорбился, учитель извиниться не пожелал и вышел в отставку. Так началась тема «офицеров».

Просветительная забота, однако, определилась у него на всю жизнь. Его журнальная деятельность с 53 года до 62 года проникнута насквозь стремлением питать тощего русского читателя здоровым домашним столом разнообразнейших

сведений: порции были огромные, хлеба отпускалось сколько угодно, по воскресеньям давались орехи; ибо, подчеркивая значение мясных блюд политики и философии, Николай Гаврилович никогда не забывал и сладкого. Из его рецензии на «Комнатную Магию» Амарантова явствует, что он у себя дома проверил эту увеселительную физику и один из лучших фокусов, а именно «переноску воды в решете», дополнил собственной поправкой: как у всех популяризаторов, у него была слабость к таким невинным кунстштюкам; не забудем к тому же, что едва ли год прошел с того дня, как по уговору батюшки он окончательно забросил мысль о вечном двигателе.

Он любил читать календари, отмечая для общего сведения подписчиков «Современника» (1855): гинея — 6 руб. 47 с пол. коп.; североамериканский доллар — 1 руб. 31 коп. серебром; или сообщал, что «между Одессой и Очаковым построены на счет пожертвований телеграфические башни». Истинный энциклопедист, своего рода Вольтер, с ударением, правда, на первом слоге, он исписал, не скупясь, тьму страниц (всегда готовый обхватить, как свернутый ковер, и развернуть перед читателем **всю** историю затронутого вопроса), перевел целую библиотеку, использовал все жан-

ры вплоть до стихов и до конца жизни мечтал составить «критический словарь идей и фактов» (что напоминает флоберовскую карикатуру, тот «dictionnaire des idées reçues»[40], иронический эпиграф к которому — «большинство всегда право» — Чернышевский выставил бы всерьез). Об этом-то он пишет жене из крепости, со страстью, с горестью, с ожесточением рассказывая о тех титанических трудах, которые он еще совершит. Далее, все двадцать лет сибирского одиночества, он лечился этой мечтой; но, познакомившись за год до смерти со словарем Брокгауза, увидел в нем ее воплощение. Тогда он возжаждал Брокгауза перевести (а то «напихают туда всякой дряни, вроде мелких немецких художников»), почитая такой труд венцом всей своей жизни; оказалось, что и это уже предпринято.

Еще в начале журнального поприща он писал о Лессинге, который родился ровно за сто лет до него и сходство с которым он сам сознавал: «Для таких натур существует служение более милое, нежели служение любимой науке, — это служение развитию своего народа». Как и Лессинг, он по привычке всегда начинал с частного случая

---

[40] Примечания: 40
«Лексикон прописных истин» *(фр.)*.

развитие общих мыслей. Помня, что у Лессинга жена умерла от родов, он боялся за Ольгу Сократовну, о первой беременности которой писал отцу по-латыни, точно так же, как Лессинг, сто лет перед тем, писал по-латыни и своему батюшке.

Наведем сюда свет: двадцать первого декабря 53 года Николай Гаврилович сообщал, что, по словам знающих женщин, жена зачала. Роды. Тяжелые. Мальчик. «Милятятька мой», — гулюкала над первенцем Ольга Сократовна — очень скоро, однако, маленького Сашу разлюбившая. Врачи предупреждали, что вторые роды убьют ее. Все же она забеременела вновь, — «как-то по нашим грехам, против моей воли», — писал он, жалуясь и томясь, Некрасову… Нет, что-то другое, сильнее, чем боязнь за жену, томило его. По некоторым сведениям, Чернышевский в пятидесятых годах подумывал о самоубийстве; он будто бы даже пил, — какое жуткое видение: пьяный Чернышевский! Что таить, — брак получился несчастный, трижды несчастный, и даже впоследствии, когда ему и удалось с помощью воспоминания «заморозить свое прошлое до состояния статического счастья» (Страннолюбский), все равно еще сказывалась та роковая, смертная тоска, составленная из жалости, ревно-

сти и уязвленного самолюбия, — которую также знавал муж совсем другого склада и совсем иначе расправившийся с ней: Пушкин.

И жена, и младенец Виктор выжили; а в декабре 58 года она вновь чуть не умерла, производя на свет третьего сына, Мишу. Удивительное время — героическое, кроличье, в кринолине — символе многочадия.

«Оне умные, образованные, добрые, я вижу, — а я дура, необразованная, злая», — не без надрывчика говорила Ольга Сократовна о родственницах мужа, Пыпиных, которые, при всей доброте, не пощадили «эту истеричку, эту взбалмошную бабенку с нестерпимым характером». Как она швырялась тарелками! Какому биографу склеить их осколки? А эта страсть к перемене мест… Эти диковинные недомогания… Старухой она любила вспоминать, как в Павловске, пыльным, солнечным вечером, на рысаке, в фаэтоне, перегоняла вел. кн. Константина, откидывая вдруг синюю вуаль и его поражая огненным взглядом, или как изменяла мужу с польским эмигрантом Савицким, человеком, славившимся длиной усов: «Канашечка-то знал… Мы с Иваном Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна». Канашечку очень жаль, — и очень мучительны,

верно, были ему молодые люди, окружавшие жену и находившиеся с ней в разных стадиях любовной близости, от аза до ижицы. Вечера у Чернышевской бывали особенно оживлены присутствием ватаги студентов-кавказцев. Николай Гаврилович почти никогда к ним не выходил. Раз, накануне Нового года, грузины, во главе с гогочущим Гогоберидзе, ворвались в его кабинет, вытащили его, Ольга Сократовна накинула на него мантилью и заставила плясать.

Да, жалко его, — а все-таки… Ну, вытянул бы разок ремнем, ну, послал бы к чортовой матери; или хотя бы вывел со всеми грехами, воплями, рысканием, несметными изменами в одном из тех романов, писанием которых он заполнял свой тюремный досуг. Так нет же! В «Прологе» (и отчасти в «Что делать?») нас умиляет попытка автора реабилитировать жену. Любовников нет, есть только благоговейные поклонники; нет и той дешевой игривости, которая заставляла «мущинок» (как она, увы, выражалась) принимать ее за женщину еще более доступную, чем была она в действительности, а есть только жизнерадостность остроумной красавицы. Легкомыслие превращено в свободомыслие, а уважению к бойцу-мужу (которое она и в самом деле испытывала

к нему, но попусту) дана власть над всеми ее другими чувствами. В «Прологе» студент Миронов, чтобы мистифицировать приятеля, сказал, что Волгина вдова. Это ее так расстроило, что она заплакала, — подобно тому как в «Что делать?» она, все та же «она», тоскует среди лубочных ветреников по арестованному мужу. Из типографии Волгин забежал в оперу и тщательно стал осматривать в бинокль сперва одну сторону зала, потом другую; вот остановился, — и слезы нежности потекли из-под стекол. Он пришел проверить, правда ли его жена, сидящая в ложе, милее и наряднее всех, — совершенно так же, как автор в молодости сравнивал Лободовскую с «женскими головками».

И тут мы снова оказались окружены голосами его эстетики, — ибо мотивы жизни Чернышевского теперь мне послушны, — темы я приручил, они привыкли к моему перу; с улыбкой даю им удаляться: развиваясь, они лишь описывают круг, как бумеранг или сокол, чтобы затем снова вернуться к моей руке; и даже если иная уносится далеко, за горизонт моей страницы, я спокоен: она прилетит назад, как вот эта прилетела.

Итак: 10 мая 55 года Чернышевский защищал в университете уже знакомую нам диссертацию,

«Отношения искусства к действительности», написанную в три августовские ночи, в 53 году, т. е. именно в ту пору, когда «смутные лирические чувства, подсказавшие ему в юности взгляд на искусство как на снимок с красотки, окончательно вызрели, дав пухлый плод в естественном соответствии с апофеозом супружеской страсти» (Страннолюбский). На этом публичном диспуте было в первый раз провозглашено «умственное направление шестидесятых годов», как потом вспоминал старик Шелгунов, с обескураживающей простотой отмечая, что Плетнев не был тронут речью молодого ученого, не угадал таланта… Слушатели зато были в восхищении. Народу навалило так много, что стояли на окнах. «Налетели, как мухи на падаль», — фыркал Тургенев, который, должно быть, чувствовал себя задетым, в качестве «поклонника прекрасного», — хотя сам был не прочь мухам угождать.

Как часто бывает с идеями порочными, от плоти не освободившимися или обросшими ею, можно в эстетических воззрениях «молодого ученого» расслышать его физический стиль, самый звук его тонкого наставительного голоса. «Прекрасное есть жизнь. Милое нам есть прекрасное; жизнь нам мила в добрых своих проявлениях…

Говорите же о жизни, и только о жизни (так продолжает этот звук, столь охотно воспринятый акустикой века), а если человеки не живут по-человечески, — что ж, учите их жить, живописуйте им портреты жизни примерных людей и благоустроенных обществ». Искусство, таким образом, есть замена, или приговор, но отнюдь не ровня жизни, точно так же как «гравюра в художественном отношении гораздо хуже картины», с которой она снята (особенно прелестная мысль). «Единственное, впрочем, — ясно проговорил диссертант, — чем поэзия может стоять выше действительности, это украшение событий прибавкой эффектных аксессуаров и согласованием характера описываемых лиц с теми событиями, в которых они участвуют».

Таким образом, борясь с чистым искусством, шестидесятники, и за ними хорошие русские люди вплоть до девяностых годов, боролись, по неведению своему, с собственным ложным понятием о нем, ибо точно так же, как двадцать лет спустя Гаршин видел «чистого художника» в Семирадском (!), — или как аскету снится пир, от которого бы чревоугодника стошнило, — так и Чернышевский, будучи лишен малейшего понятия об истинной сущности искусства, видел его

венец в искусстве условном, прилизанном (т. е. в антиискусстве), с которым и воевал — поражая пустоту. При этом не следует забывать, что другой лагерь, лагерь «художников», — Дружинин с его педантизмом и дурного тона небесностью, Тургенев с его чересчур стройными видениями и злоупотреблением Италией, — часто давал врагу как раз ту вербную халву, которую легко было хаять.

Николай Гаврилович казнил «чистую поэзию» где только ни отыскивал ее — в самых неожиданных закоулках. Критикуя на страницах «Отечественных Записок» (54 год) какой-то справочный словарь, он приводит список статей, по его мнению слишком длинных: Лабиринт, Лавр, Ланкло, — и список статей, слишком кратких: Лаборатория, Лафайет, Лен, Лессинг. Красноречивое притязание! Эпиграф ко всей умственной жизни его! Из олеографических волн «поэзии» рождалась (как мы уже видели) пышногрудая «роскошь»; «фантастическое» принимало грозный экономический оборот. «Иллюминации… Конфеты, сыплющиеся на улицы с аэростатов, — перечисляет он (речь идет о праздниках и подарках по случаю крестин сына Людовика Наполеона), — колоссальные бонбоньерки,

спускающиеся на парашютах...» А какие вещи у богатых: «кровати из розового дерева... шкапы с пружинами и выдвижными зеркалами... штофные обои!.. А там, бедный труженик...» Связь найдена, антитеза добыта; с большой обличительной силой и обилием предметов обстановки, Николай Гаврилович вскрывает всю их безнравственность. «Мудрено ли, что при хорошенькой наружности швея, ослабляя малопомалу свои нравственные правила... Мудрено ли, что, променяв дешевую, сто раз мытую кисею на алансонские кружева и бессонные ночи за тусклым огарком и работой на бессонные ночи в оперном маскараде или загородной оргии, она... несясь» и т. д. (и, подумавши, он разгромил поэта Никитина, но не потому, собственно, что тот слагал стихи дурно, а за то, что он, воронежский житель, не имел ровно никакого права писать о мраморах и парусах).

Немецкий педагог Кампе, сложив ручки на животе, говаривал: «Выпрясть пфунт шерсти полезнее, нежели написать том стихоф». Вот и мы с такой же солидной серьезностью досадуем на поэта, на здорового человека, который лучше бы ничего не делал, а занимается вырезыванием пустячков «из очень милой цветной бумаги».

Пойми, штукарь, пойми, арабесник, что «сила искусства есть сила общих мест» и больше ничего. Для критики «всего интереснее, какое воззрение выразилось в произведении писателя». Волынский и Страннолюбский оба отмечают некое странное несоответствие (одно из тех смертельных внутренних противоречий, которые вскрывались на всем пути нашего героя): **дуализм** эстетики **мониста** Чернышевского, — форма и содержание, с приматом содержания, — причем именно форма играет роль души, а содержание — роль тела; и путаница усугубляется тем, что эта «душа» составляется из механических частиц, так как Чернышевский полагал, что ценность произведения есть понятие не качества, а количества и что «если бы кто-нибудь захотел в каком-нибудь жалком, забытом романе с вниманием ловить все проблески наблюдательности, он собрал бы довольно много строк, которые по достоинству ничем не отличаются от строк, из которых составляются страницы произведений, восхищающих нас». Мало того: «Довольно взглянуть на мелочные изделия парижской промышленности, на изящную бронзу, фарфор, деревянные изделия, чтобы понять, как невозможно провести теперь границу между художественным и нехудоже-

ственным произведением» (вот эта изящная бронза многое и объясняет).

Как и слова, вещи имеют свои падежи. Чернышевский все видел в именительном. Между тем всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало. Человека серьезного, степенного, уважающего просвещение, искусства, ремёсла, накопившего множество ценностей в области мышления, — быть может, выказавшего вполне передовую разборчивость во время их накопления, но теперь вовсе не желающего, чтобы они вдруг подверглись пересмотру, такого человека иррациональная новизна сердит пуще темноты ветхого невежества. Так розовый плащ торреадорши на картинке Манэ больше раздражал буржуазного быка, чем если бы он был красным. Так Чернышевский, который, подобно большинству революционеров, был совершенный буржуа в своих художественных и научных вкусах, приходил в бешенство от «возведения сапог в квадраты», от «извлечения кубических корней из голенищ». «Лобачевского знала вся Казань, — писал он из Сибири сыновьям, — вся Казань единодушно говорила, что он круглый дурак… Что такое „кривизна луча“ или „кривое пространство“? Что такое „геометрия без акси-

омы параллельных линий“? Можно ли писать по-русски без глаголов? Можно — для шутки. „Шелест, робкое дыханье, трели соловья“. Автор ее некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. Идиот, каких мало на свете. Писал это серьезно, и над ним хохотали до боли в боках» (Фета, как и Толстого, он не терпел; в 56 году, любезничая с Тургеневым — ради «Современника», — он ему писал, «что никакие „Юности“, ни даже стихи Фета… не могут настолько опошлить публику, чтобы она не могла…» — следует грубый комплимент).

Когда однажды, в 55 году, расписавшись о Пушкине, он захотел дать пример «бессмысленного сочетания слов», то привел мимоходом тут же выдуманное «синий звук», — на свою голову напророчив пробивший через полвека блоковский «звонко-синий час». «Научный анализ показывает вздорность таких сочетаний», — писал он, — не зная о физиологическом факте «окрашенного слуха». «Не все ли равно, — спрашивал он (у радостно соглашавшегося с ним бахмучанского или новомиргородского читателя), — голубоперая щука или щука с голубым пером (конечно, второе, крикнули бы мы, — так оно выделяется лучше, в профиль!), ибо настоящему мыслителю некогда

заниматься этим, особенно если он проводит на народной площади больше времени, чем в своей рабочей комнате». Другое дело — «общий план». Любовь к общему (к энциклопедии), презрительная ненависть к особому (к монографии) и заставляли его упрекать Дарвина в недельности, Уоллеса в нелепости («...все эти ученые специальности от изучения крылышек бабочек до изучения наречий кафрского языка»). У самого Чернышевского был в этом смысле какой-то опасный размах, какое-то разудалое и самоуверенное «все сойдет», бросающее сомнительную тень на достоинства как раз специальных его трудов. «Общий интерес» он понимал, однако, по-своему: исходил из мысли, что больше всего читателя интересует «производительность». Разбирая в 55 году какой-то журнал, он хвалит в нем статьи «Термометрическое состояние земли» и «Русские каменноугольные бассейны», решительно бракуя, как слишком специальную, ту единственную, которую хотелось бы прочесть: «Географическое распространение верблюда».

Чрезвычайно знаменательна в отношении ко всему этому попытка Чернышевского доказать («Современник», 56 г.), что трехдольный размер стиха языку нашему свойственнее, чем двух-

дольный. Первый (кроме того случая, когда из него составляется благородный, «священный», а потому ненавистный гекзаметр) казался Чернышевскому естественнее, «здоровее» двухдольного, как плохому наезднику галоп кажется «проще» рыси. Суть, впрочем, была не в этом, а как раз в **общем** правиле, под которое он подводил всё и всех. Сбитый с толку ритмической эмансипацией широко рокочущего некрасовского стиха и кольцовским элементарным анапестом («мужичок»), Чернышевский учуял в трехдольнике что-то демократическое, милое сердцу, «свободное», но и дидактическое, в отличие от аристократизма и антологичности ямба: он полагал, что убеждать следует именно анапестом. Однако и этого еще мало: в некрасовском трехдольнике особенно часто слова, попадая на холостую часть стопы, теряют индивидуальность, зато усиливается их сборный ритм: частное приносится в жертву целому. В небольшом стихотворении, например, («Надрывается сердце от муки…»), вот сколько слов неударяемых: «плохо», «внемля», «чувству», «в стаде», «птицы», «грохот», — причем слова всё знатные, а не чернь предлогов или союзов, безмолвствующая иногда и в двухдольнике. Все сказанное нигде, конечно, не выражено самим

Чернышевским, но любопытно, что в собственных стихах, производившихся им в сибирские ночи, в том страшном трехдольнике, который в самой своей аляповатости отзывает безумием, Чернышевский, словно пародируя и до абсурда доводя некрасовский прием, побил рекорд неударяемости: «**в стране гор, в стране роз, равнин** полночи дочь» (стихи к жене, 75 год). Повторяем: вся эта тяга к стиху, созданному по образу и подобию определенных социально-экономических богов, была в Чернышевском бессознательна, но только тягу эту уяснив, можно понять истинную подоплеку его странной теории. При этом он не разумел настоящей скрипичной сущности анапеста; не разумел и ямба, самого гибкого из всех размеров как раз в силу превращения ударений в удаления, в те ритмические удаления от метра, которые Чернышевскому казались беззаконными по семинарской памяти; не понимал, наконец, ритма русской прозы; естественно поэтому, что самый метод, им примененный, тут же отомстил ему: в приведенных им отрывках прозы он разделил количество слогов на количество ударений и получил тройку, а не двойку, которую, дескать, получил бы, будь двухдольник приличнее русскому языку; но он не учел главного: пэонов! ибо

как раз в приведенных отрывках целые куски фраз звучат наподобие белого стиха, белой кости среди размеров, т. е. именно ямба!

Боюсь, что сапожник, заглянувший в мастерскую к Апеллесу, был скверный сапожник.

Так ли уж все обстоит благополучно с точки зрения математики в тех его специальных экономических трудах, разбор коих требует от исследователя почти сверхъестественной любознательности? Так ли глубоки его комментарии к Миллю (в которых он стремился перестроить некоторые теории «сообразно потребностям нового простонародного элемента мысли и жизни»). Все ли сапоги сшиты по мерке? Или одно лишь стариковское кокетство толкает его вспоминать промахи в логарифмических расчетах о действии земледельческих усовершенствований на урожай хлеба? Грустно, грустно все это. Нам вообще кажется, что материалисты его типа впадали в роковую ошибку: пренебрегая свойствами самой вещи, они все применяли свой сугубо вещественный метод лишь к **отношениям** между предметами, а не к предмету самому, т. е. были, по существу, наивнейшими метафизиками как раз тогда, когда более всего хотели стоять на земле.

Некогда в юности у него было одно несчастное

утро: зашел знакомый букинист-ходебщик, старый носатый Василий Трофимович, согбенный, как Баба Яга, под грузом огромного холщевого мешка, полного запрещенных и полузапрещенных книг. Чужих языков не зная, едва умея складывать латинские литеры и дико, по-мужицки жирно произнося заглавия, он чутьем угадывал степень возмутительности того или другого немца. В то утро он продал Николаю Гавриловичу (оба присели на корточки подле груды книг) не разрезанного еще Фейербаха.

В те годы Андрея Ивановича Фейербаха предпочли Егору Федоровичу Гегелю. Homo feuerbachi[41] есть мыслящая мышца. Андрей Иванович находил, что человек отличается от обезьяны только своей точкой зрения; вряд ли, однако, он изучил обезьян. За ним полвека спустя Ленин опровергал теорию, что «земля есть сочетание человеческих ощущений», тем, что «земля существовала до человека», а к его торговому объявлению: «Мы теперь превращаем кантовскую непознаваемую вещь в себе в вещь для себя посредством органической химии» — серьезно добавлял, что «раз существовал ализарин в каменном угле без

[41] Примечания: 41
Человек фейербахский *(лат.).*

нашего ведома, то существуют вещи независимо от нашего познания». Совершенно так же Чернышевский объяснял: «Мы видим дерево; другой человек смотрит на этот же предмет. В глазах у него мы видим, что дерево изображается точь-в-точь такое же. Итак, мы все видим предметы как они действительно существуют». Во всем этом диком вздоре есть еще свой частный смешной завиток: постоянное у «материалистов» апеллирование к дереву особенно забавно тем, что все они плохо знают природу, в частности деревья. Тот осязаемый предмет, который «действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем» («Антропологический принцип в философии»), им просто неведом. Вот какая страшная отвлеченность получилась в конечном счете из «материализма»! Чернышевский не отличал плуга от сохи; путал пиво с мадерой; не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы; но характерно, что это незнание ботаники сразу восполнял «общей мыслью», добавляя с убеждением невежды, что «они (цветы сибирской тайги) всё те же самые, какие цветут по всей России». Какое-то тайное возмездие было в том, что он, строивший свою философию на познании мира, которого сам не познал, теперь очутился, наг и одинок, среди

дремучей, своеобразно роскошной, до конца еще не описанной природы северо-восточной Сибири: стихийная, мифологическая кара, не входившая в расчет его человеческих судей.

Еще недавно запах гоголевского Петрушки объясняли тем, что все существующее разумно. Но время задушевного русского гегелианства прошло. Властители дум понять не могли живительную истину Гегеля: истину, не стоячую, как мелкая вода, а, как кровь, струящуюся в самом процессе познания. Простак Фейербах был Чернышевскому больше по вкусу. Есть, однако, всегда опасность, что из космического или умозрительного одна буква выпадет; этой опасности Чернышевский не избежал, когда в статье «Общинное владение» стал оперировать соблазнительной гегелевской триадой, давая такие примеры, как: газообразность мира — тезис, а мягкость мозга — синтез, или, еще глупее: дубина, превращающаяся в штуцер. «В триаде, — говорит Страннолюбский, — кроется смутный образ окружности, — правящей всем мыслимым бытием, которое в ней заключено **безвыходно**. Это — карусель истины, ибо истина всегда круглая; следовательно, в развитии форм жизни возможна некоторая извинительная кривизна:

горб истины; но не более».

«Философия» Чернышевского поднимается через Фейербаха к энциклопедистам. С другой же стороны, прикладное гегелианство, постепенно левея, шло через того же Фейербаха к Марксу, который в своем «Святом семействе» выражается так:

...ума большого
не надобно, чтобы заметить связь
между ученьем материализма
о прирожденной склонности к добру,
о равенстве способностей людских,
способностей, которые обычно
зовутся умственными, о влияньи
на человека обстоятельств внешних,
о всемогущем опыте, о власти
привычки, воспитанья, о высоком
значении промышленности всей,
о праве нравственном на наслажденье —
и коммунизмом.

Перевожу стихами, чтобы не было так скучно. Стеклов считает, что при всей своей гениаль-

ности Чернышевский не мог быть равен Марксу, по отношению к которому стоит-де как по отношению к Уатту — барнаульский мастеровой Ползунов. Сам Маркс («этот мелкий буржуа до мозга костей», по отзыву Бакунина, не терпевшего немцев) раза два сослался на «замечательные» труды Чернышевского, но оставил не одну презрительную заметку на полях главного экономического труда «дес гроссен руссишен гелертен» (русских вообще Маркс не жаловал). Чернышевский отплатил ему тем же. Уже в семидесятых годах он ко всему «новому» относился небрежно, неблагожелательно. Экономика, в частности, ему осточертела, перестав быть для него орудием борьбы и тем самым приобретя в его сознании вид пустой забавы, «чистой науки». Совершенно ошибочно Ляцкий — со свойственной многим страстью к навигационным аналогиям — сравнивает ссыльного Чернышевского с человеком, «глядящим с пустынного берега на плывущий мимо гигантский корабль (корабль Маркса), идущий открывать новые земли»; выражение, особенно неудачное ввиду того, что сам Чернышевский, словно предчувствуя аналогию и заранее опровергая ее, говорил о «Капитале» (посланном ему в 1872 году): «Просмотрел, да не читал, а отрывал

листик за листиком, делал из них **кораблики** (разрядка моя) и пускал по Вилюю».

Ленин считал, что Чернышевский «единственный действительно великий писатель, который сумел с пятидесятых годов вплоть до 1888 (скостил ему один) остаться на уровне цельного философского материализма». Как-то Крупская, обернувшись на ветру к Луначарскому, с мягкой грустью сказала ему: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил… Я думаю, что между ним и Чернышевским было очень много общего». «Да, несомненно было общее, — добавляет Луначарский, сначала было отнесшийся к этому замечанию скептически. — Было общее и в ясности слога, и в подвижности речи… в широте и глубине суждений, в революционном пламени… В этом соединении огромного содержания и внешней скромности, и, наконец, в моральном облике обоих этих людей». Статью Чернышевского «Антропологический принцип в философии» Стеклов называет «первым философским манифестом русского коммунизма»; знаменательно, что этим первым манифестом был школьный пересказ, ребяческое суждение о труднейших моральных вопросах. «Европейская теория утилитаризма, — говорит Страннолюбский,

несколько перефразируя Волынского, — явилась у Чернышевского в упрощенном, сбивчивом, карикатурном виде. Пренебрежительно и развязно судя о Шопенгауэре, под критическим ногтем которого его философия не прожила бы и секунды, он из всех прежних мыслителей, по странной ассоциации идей и ошибочным воспоминаниям, признает лишь Спинозу и Аристотеля, которого он думает, что продолжает».

Чернышевский сколачивал непрочные силлогизмы; отойдет, а силлогизм уже развалился, и торчат гвозди. Устраняя дуализм метафизический, он попался на дуализме гносеологическом, а беспечно приняв материю за причину первоначальную, запутался в понятиях, предполагающих нечто, создающее наше представление о внешнем мире вообще. Профессиональному философу Юркевичу было легко его разгромить. Юркевич все интересовался, как это, собственно говоря, пространственное движение нерва превращается в непространственное ощущение. Вместо ответа на обстоятельную статью бедного философа, Чернышевский перепечатал в «Современнике» ровно треть ее (т. е. сколько дозволялось законом), оборвав на полслове, без всяких комментариев. Ему было решительно наплевать на мнения

специалистов, и он не видел беды в незнании подробностей разбираемого предмета: подробности были для него лишь аристократическим элементом в государстве наших общих понятий.

«Голова его думает над общечеловеческими вопросами… пока рука его исполняет черную работу», — писал он о своем «сознательном работнике» (и почему-то нам вспоминаются при этом те гравюры из старинных анатомических атласов, где с приятным лицом юноша, в непринужденной позе прислонившись к колонне, показывает образованному миру все свои внутренности). Но государственный строй, который должен был явиться синтезом в силлогизме, где тезисом была община, не столько походил на советскую Россию, сколько на страну утопистов. Мир Фурье, гармония двенадцати страстей, блаженство общежития, работники в розовых венках, — все это не могло не прийтись по вкусу Чернышевскому, искавшему всегда «связности». Помечтаем о фаланге, живущей во дворце: 1800 душ — и все веселы! Музыка, флаги, сдобные пироги. Миром правит математика, и правит толково; соответствие, которое Фурье устанавливал между нашими влечениями и Ньютоновым тяготением, особенно было пленительно и на всю

жизнь определило отношение Чернышевского к Ньютону, — с яблоком которого нам приятно сравнить яблоко Фурье, стоившее коммивояжеру целых четырнадцать су в парижской ресторации, что Фурье навело на размышление об основном беспорядке индустриального механизма, точно так же, как Маркса привел к мысли о необходимости ознакомиться с экономическими проблемами вопрос о гномах-виноделах («мелких крестьянах») в долине Мозеля: грациозное зарождение грандиозных идей.

Отстаивая общинное землевладение с точки зрения большей легкости устройства на Руси ассоциаций, Чернышевский готов был согласиться на освобождение крестьян без земли, обладание коей повело бы в конце концов к новым тяготам. Искры брызнули из-под нашего пера на этой строке. Освобождение крестьян! Эпоха великих реформ! В порыве яркого предчувствия недаром молодой Чернышевский записал в дневнике в сорок восьмом году (год, кем-то прозванный «отдушиной века»): «А что если мы в самом деле живем во времена Цицерона и Цезаря, когда seculorum novus nascitur ordo[42], и является но-

[42] Примечания: 42
Рождается новый порядок веков *(лат.)*.

вый Мессия, и новая религия, и новый мир?..»

Дозволено курить на улицах. Можно не брить бороды. При всяком музыкальном случае жарят увертюру из «Вильгельма Теля». Ходят слухи, что столица переносится в Москву; что старый стиль календаря меняется на новый. Под этот шумок Россия деятельно готовит материал для немудреной, но сочной салтыковской сатиры. «Каким это новым духом повеяло, желал бы я знать, — говорил генерал Зубатов, — только лакеи стали грубить, а то все осталось по-старому». Помещикам и особливо помещицам снились страшные сны, в сонниках не указанные. Появилась новая ересь: нигилизм. «Безобразное и безнравственное учение, отвергающее все, чего нельзя ощупать», — содрогаясь, толкует Даль это странное слово (в котором «ничто» как бы соответствует «материи»). Лицам духовного звания было видение: по Невскому проспекту шагает громадный Чернышевский в широкополой шляпе, с дубиной в руках.

А первый рескрипт на имя виленского губернатора Назимова! А подпись государева, красивая, крепкая, с двумя полнокровно-могучими росчерками вверху и внизу, впоследствии оторванными бомбой! А восторг самого Николая Гавриловича:

«Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчивает Александра Второго счастьем, каким не был увенчан никто еще из государей Европы…»

Но уже вскоре после образования губернских комитетов пыл его охлаждается: его возмущает дворянское своекорыстие большинства из них. Окончательное разочарование наступает во второй половине 58 года. Величина выкупной суммы! Малость надельной земли! Тон «Современника» становится резким, откровенным; словцо «гнусно», «гнусность» начинает приятно оживлять страницы этого скучноватого журнала.

Жизнь его руководителя событиями бедна. Публика долго лица его не знала. Его нигде не видать. Уже знаменитый, он как бы остается за кулисами своей деятельной, говорливой мысли.

Всегда, по тогдашнему обычаю, в халате (закапанном даже сзади стеарином), он сидел день-деньской в своем маленьком кабинете с синими обоями, здоровыми для глаз, с окном во двор (вид на поленницы, покрытые снегом), у большого стола, заваленного книгами, корректурами, вырезками. Работал так лихорадочно, так много курил, так мало спал, что впечатление

производил страшноватое: тощий, нервный, взгляд зараз слепой и сверлящий, отрывистая, рассеянная речь, руки трясутся (зато никогда не страдал головной болью и наивно гордился этим, как признаком здравого ума). Способность работать была у него чудовищная, как, впрочем, у большинства русских критиков прошлого века. Секретарю Студентскому, бывшему саратовскому семинаристу, он диктовал перевод истории Шлоссера, а в промежутки, пока тот записывал фразу, писал сам статью для «Современника» или читал что-нибудь, делая на полях пометки. Ему мешали посетители. Не умея избавиться от докучного гостя, он, к собственному озлоблению, все более ввязывался в беседу. Прислонившись к камину и что-нибудь теребя, он говорил звонким, пискливым голосом, а ежели думал о другом, тянул что-то однообразное, с прожевкой, с обильными: ну-с, да-с. У него был особенный тихий смешок (Толстого Льва бросавший в пот), но когда хохотал, то закатывался и ревел оглушительно (издали заслышав эти рулады, Тургенев убегал).

Такие средства познания, как диалектический материализм, необыкновенно напоминают недобросовестные рекламы патентованных снадобий, врачующих сразу все болезни. Слу-

чается все же, что такое средство помогает при насморке. Есть, есть классовый душок в отношении к Чернышевскому русских писателей, современных ему. Тургенев, Григорович, Толстой называли его «клоповоняющим господином», всячески между собой над ним измываясь. Как-то в Спасском первые двое, вместе с Боткиным и Дружининым, сочинили и разыграли домашний фарс. В сцене, где горит постель, врывался Тургенев с криком… общими дружескими усилиями его уговорили произнести приписываемые ему слова, которыми в молодости он однажды будто бы обмолвился во время пожара на корабле: «Спасите, спасите, я единственный сын у матери». Из этого фарса вполне бездарный Григорович впоследствии сделал свою (вполне плоскую) «Школу гостеприимства», наделив одно из лиц, желчного литератора Чернушина, чертами Николая Гавриловича: кротовые глаза, смотревшие как-то вбок, узкие губы, приплюснутое, скомканное лицо, рыжеватые волосы, взбитые на левом виске, и эвфемический запас пережженного рома. Любопытно, что пресловутый взвизг («Спасите» и т. д.) дан как раз Чернушину, чем поощряется мысль Страннолюбского о какой-то мистической связи между Чернышевским и Тур-

геневым. «Я прочел его отвратительную книгу (диссертацию), — пишет последний в письме к товарищам по насмешке. — Рака! Рака! Рака! Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете». «Из этого „рака“, — суеверно замечает биограф, — получился семь лет спустя **Ракеев** (жандармский полковник, арестовавший про́клятого), а самое письмо было Тургеневым написано как раз 12-го июля *в день рождения* Чернышевского…» (нам кажется, что Странно-любский перебарщивает).

В тот же год появился «Рудин», но напал на него Чернышевский (за карикатурное изображение Бакунина) только в 60 году, когда Тургенев уже был не нужен «Современнику», который он покинул из-за добролюбовского змеиного шипка на «Накануне». Толстой не выносил нашего героя: «Его так и слышишь, — писал он о нем, — тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности… и возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза». «Аристократы становились грубыми хамами, — замечает по этому поводу Стеклов, — когда заговаривали с нисшими или о нисших по общественному положению». «Нисший», впрочем, не оставался в долгу и, зная, как Тургеневу дорого

всякое словечко против Толстого, щедро говорил о «пошлости и хвастовстве» последнего, «хвастовстве бестолкового павлина своим хвостом, не прикрывающим его пошлой задницы» и т. д. «Вы не какой-нибудь Островский или Толстой, — добавлял Николай Гаврилович, — вы наша честь» (а «Рудин» уже вышел, — два года как вышел).

Журналы по мере сил теребили его. Дудышкин («Отечественные Записки») обиженно направлял на него свою тростниковую дудочку: «Поэзия для вас — главы политической экономии, переложенные на стихи». Недоброжелатели мистического толка говорили о «прелести» Чернышевского, о его физическом сходстве с бесом (напр., проф. Костомаров). Другие, попроще, как Благосветлов (считавший себя франтом и державший, несмотря на радикализм, настоящего, неподкрашенного арапа в казачках), говорили о его грязных калошах и пономарско-немецком стиле. Некрасов с вялой улыбкой заступался за «дельного малого» (им же привлеченного к журналу), признавая, что тот успел наложить на «Современник» печать однообразия, набивая его бездарными повестями о взятках и доносами на квартальных; но он хвалил помощника за плодотворный труд: благодаря ему в 58 году журнал имел 4700 подписчиков, а

через три года — 7000. С Некрасовым Николай Гаврилович был дружен, но не более; есть намек на какие-то денежные расчеты, которыми он остался недоволен. В 83 году, чтобы старика развлечь, Пыпин предложил ему написать «портреты прошлого». Свою первую встречу с Некрасовым Чернышевский изобразил со знакомыми нам дотошностью и кропотливостью (дав сложную схему всех взаимных передвижений по комнате, чуть ли не с числом шагов), звучащими каким-то оскорблением, наносимым честно поработавшему времени, ежели представить себе, что со дня этих маневров прошло тридцать лет. Как поэта он ставил Некрасова выше всех (и Пушкина, и Лермонтова, и Кольцова). У Ленина «Травиата» исторгала рыдания; так и Чернышевский признавался, что поэзия сердца все же милее ему поэзии мысли, и обливался слезами над иными стихами Некрасова (даже ямбами!), высказывающими все, что он сам испытал, все терзания его молодости, все фазы его любви к жене. И то сказать: пятистопный ямб Некрасова особенно чарует нас своей увещевательной, просительной, пророчущей силой и этой своеродной цезурой на второй стопе, цезурой, которая у Пушкина, скажем, является в смысле **пения** стиха органом

рудиментарным, но которая у Некрасова становится действительно органом дыхания, словно из перегородки она превратилась в провал, или словно обе части строки растянулись, так что после второй стопы образовался промежуток, полный музыки. Вслушиваясь в эти впалые строки, в этот гортанный, рыдающий говорок: «Не говори, что дни твои унылы, тюремщиком больного не зови: передо мной холодный мрак могилы, перед тобой — объятия любви! Я знаю, ты другого полюбила, щадить и ждать (слышите клекот!) наскучило тебе… О погоди! близка моя могила — —» — вслушиваясь в это, Чернышевский не мог не думать о том, что напрасно жена торопится ему изменять, а близостью могилы была та тень крепости, которая уже протягивалась к нему. Мало того: по-видимому, чувствовал это, — не в разумном, а орфеическом смысле, — и поэт, написавший эти строки, ибо именно их ритм («Не говори…») со странной навязчивостью перекликается с ритмом стихов, впоследствии посвященных им Чернышевскому: «Не говори, забыл он осторожность, он будет сам судьбы своей виной» и т. д.

Звуки Некрасова были, таким образом, **милы** Чернышевскому, т. е. как раз удовлетворяли

его незамысловатой эстетике, за которую он всю жизнь принимал собственную обстоятельную сентиментальность. Описав большой круг, вобрав многое, касавшееся отношения Чернышевского к разным отраслям познания, но все же ни на минуту не портя плавной кривой, мы теперь с новыми силами вернулись к его эстетике. Пора теперь подвести ей итог.

Подобно всем остальным нашим критикам-радикалам, падким на легкую поживу, он не селадонничал с пишущими дамами, энергично разделываясь с Евдокией Растопчиной или Авдотьей Глинкой. Неправильный, небрежный лепет не трогал его. Оба они, и Чернышевский, и Добролюбов, с аппетитом терзали литературных кокеток, — но в жизни… одним словом, смотри, что с ними делали, как скручивали и мучили их, хохоча (так хохочут русалки на речках, протекающих невдалеке от скитов и прочих мест спасения), дочки доктора Васильева.

Вкусы его были вполне добротны. Его эпатировал Гюго. Ему импонировал Суинберн (что совсем не странно, если вдуматься). В списке книг, прочитанных им в крепости, фамилия Флобера написана по-французски через «о», — и действительно, он его ставил ниже Захер-Мазоха

и Шпильгагена. Он любил Беранже, как его любили средние французы. «Помилуйте, — восклицает Стеклов, — вы говорите, что этот человек был непоэтичен? Да знаете ли вы, что он со слезами восторга декламировал Беранже и Рылеева!» Его вкусы только окаменели в Сибири, — и по странной деликатности исторической судьбы, Россия за двадцать лет его изгнания не произвела (до Чехова) ни одного настоящего писателя, начала которого он не видел воочию в деятельный период жизни. Из разговоров с ним в Астрахани выясняется: «Да-с, графский-то титул и сделал из Толстого великого-писателя-земли-русской»; когда же к нему приставали, кто же лучший современный беллетрист, то он называл Максима Белинского.

Юношей он записал в дневнике: «Политическая литература — высшая литература». Впоследствии, пространно рассуждая о Белинском (Виссарионе, конечно), о котором распространяться, собственно, не полагалось, он ему следовал, говоря, что «литература не может не быть служительницей того или иного направления идей» и что писатели, «неспособные искренне одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг нас… великого

ничего не произведут ни в каком случае», ибо «история не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеей прекрасного». Тому же Белинскому, полагавшему, что «Жорж Занд безусловно может входить в реестр имен европейских поэтов, тогда как помещение рядом имен Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляет и приличие, и здравый смысл» и что «не только Сервантес, Вальтер Скотт, Купер, как художники по преимуществу, но и Свифт, Стерн, Вольтер, Руссо имеют несравненно, неизмеримо высшее значение во всей исторической литературе, чем Гоголь», Чернышевский вторил тридцать лет спустя (когда, правда, Жорж Занд поднялась уже на чердак, а Купер спустился в детскую), говоря, что «Гоголь фигура очень мелкая, сравнительно, например, с Диккенсом, или Фильдом, или Стерном».

Бедный Гоголь! Его возглас (как и пушкинский) «Русь!» охотно повторяется шестидесятниками, но уже для тройки нужны шоссейные дороги, ибо даже русская тоска стала утилитарной. Бедный Гоголь! Чтя семинариста в Надеждине (писавшем литературу через три «т»), Чернышевский находил, что влияние его на Гоголя было бы благотворней влияния Пушкина, и сожалел,

что Гоголь не знал таких вещей, как принцип. Бедный Гоголь! Вот и отец Матвей, этот мрачный забавник, тоже заклинал его от Пушкина отречься…

Счастливее оказался Лермонтов. Его проза исторгла у Белинского (имевшего слабость к завоеваниям техники) неожиданное и премилое сравнение Печорина с паровозом, сокрушающим неосторожно попадающихся под его колеса. В его стихах разночинцы почуяли то, что позже стало называться «надсоновщиной». В этом смысле Лермонтов — первый надсон русской литературы. Ритм, тон, бледный, слезами разбавленный стих гражданских мотивов до «Вы жертвою пали» включительно, — все это пошло от таких лермонтовских строк, как: «Прощай, наш товарищ, недолго ты жил, певец с голубыми очами, лишь крест деревянный себе заслужил да вечную память меж нами». Очарование Лермонтова, даль его поэзии, райская ее живописность и прозрачный привкус неба во влажном стихе — были, конечно, совершенно недоступны пониманию людей склада Чернышевского.

Мы теперь подходим к его самому уязвимому месту; ибо так уже повелось, что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского кри-

тика служит его отношение к Пушкину. Так будет, покуда литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя. Тогда, пожалуйста, вы свободны: можете раскритиковать Пушкина за любые измены его взыскательной музе и сохранить при этом и талант свой и честь. Браните же его за шестистопную строчку, вкравшуюся в пятистопность «Бориса Годунова», за метрическую погрешность в начале «Пира во время чумы», за пятикратное повторение слова «поминутно» в нескольких строках «Метели», но, ради Бога, бросьте посторонние разговоры.

Страннолюбский проницательно сравнивает критические высказывания шестидесятых годов о Пушкине с отношением к нему шефа жандармов Бенкендорфа или управляющего Третьим отделением фон Фока. Действительно, у Чернышевского, так же как у Николая I или Белинского, высшая похвала литератору была: дельно. Когда Чернышевский или Писарев называли пушкинские стихи «вздором и роскошью», то они только повторяли Толмачева, автора «Военного красноречия», в тридцатых годах сказавшего о том же предмете: «Пустяки и побрякушки». Говоря,

что Пушкин был «только слабым подражателем Байрона», Чернышевский чудовищно точно воспроизводил фразу графа Воронцова: «Слабый подражатель лорда Байрона». Излюбленная мысль Добролюбова, что «у Пушкина недостаток прочного, глубокого образования», — дружеское аукание с замечанием того же Воронцова: «Нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно». «Для гения недостаточно смастерить Евгения Онегина», — писал Надеждин, сравнивая Пушкина с портным, изобретателем жилетных узоров, и заключая умственный союз с Уваровым, министром народного просвещения, сказавшим по случаю смерти Пушкина: «Писать стишки не значит еще проходить великое поприще».

Для Чернышевского гений был здравый смысл. Если Пушкин был гений, рассуждал он, дивясь, то как истолковать количество помарок в его черновиках? Ведь это уже не «отделка», а черная работа. Ведь здравый смысл высказывается сразу, ибо **знает**, что хочет сказать. При этом, как человек, творчеству до смешного чуждый, он полагал, что «отделка» происходит «на бумаге», а «настоящая работа», т. е. составление общего плана — «в уме», — признак того опасного дуализма, той

трещины в его «материализме», откуда выползла не одна змея, в жизни ужалившая его. Своеобразность Пушкина вообще внушала ему серьезные опасения. «Поэтические произведения хороши тогда, когда, прочитав их, **каждый** (разрядка моя) говорит: да, это не только правдоподобно, но иначе и быть не могло, потому что всегда так бывает».

Пушкина нет в списке книг, доставленных Чернышевскому в крепость, да и немудрено: несмотря на заслуги Пушкина («изобрел русскую поэзию и приучил общество ее читать»), это все-таки был прежде всего сочинитель остреньких стишков о ножках (причем «ножки» в интонации шестидесятых годов — когда вся природа омещанилась, превратившись в «травку» и «пичужек», — уже значило не то, что разумел Пушкин, — а скорее немецкое «фюсхен»). Особенно возмутительным казалось ему (как и Белинскому), что Пушкин стал так «бесстрастен» к концу жизни. «Прекратились те приятельские отношения, памятником которых осталось стихотворение „Арион“», — вскользь поясняет Чернышевский, но как полно было священного значения это **вскользь** для читателя «Современника» (которого мы вдруг представили себе рассеянно и жадно кусающим

яблоко, — переносящим на яблоко жадность чтения и опять глазами рвущим строки). Поэтому Николая Гавриловича немало, должно быть, раздражала, как лукавый намек, как посягательство на гражданские лавры, которых производитель «пошлой болтовни» (его отзыв о «Стамбул гяуры нынче славят») был недостоин, авторская ремарка в предпоследней сцене «Бориса Годунова»: «Пушкин идет, окруженный народом».

«Перечитывая самые бранчивые критики, — писал как-то Пушкин осенью, в Болдине, — я нахожу их столь забавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать; кажется, если бы я хотел над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего придумать, как только их перепечатать без всякого замечания». Да ведь именно это и сделал Чернышевский со статьей Юркевича: карикатурное повторение! И вот, «кружащаяся пылинка попала в пушкинский луч, проникающий между штор русской критической мысли», по образному и злому выражению биографа. Мы имеем в виду следующую магическую гамму судьбы: в саратовском дневнике Чернышевский применил к своему жениховству цитату из «Египетских Ночей», с характерным для него, бесслухого, искажением и невозможным заключительным слогом: «Я при-

нял вызов наслаждения, как вызов битвы принял бы». За это «бы» судьба, союзница муз (сама знающая толк в этой частице), ему и отомстила, — да с какой изощренной незаметностью в нарастании кары! Казалось, какое имеет отношение к этой злосчастной цитате замечание Чернышевского (в 62 году), что: «Если бы человек мог все свои мысли, касающиеся общественных дел, заявлять в… собраниях, ему бы незачем делать из них журнальных статей»? Однако Немезида здесь уже просыпается. «Вместо того, чтобы писать, он бы говорил, — продолжает Чернышевский, — а если мысли эти должны быть известны всем, не принимавшим участия в собрании, их бы записал стенограф». И развивается возмездие: в Сибири, где одни лиственницы да якуты слушали его, ему не давал покоя образ «эстрады» и «залы», в которой так удобно собрана, так отзывчиво зыблется публика, ибо в конце концов он, как пушкинский импровизатор (с поправкой на «бы»), профессией своей — а потом несбыточным идеалом — избрал рассуждения на заданную тему; на самом закате жизни он сочиняет произведение, в котором мечту воплощает: из Астрахани, незадолго до смерти, он отправляет Лаврову свои «Вечера у княгини Старобельской» для «Русской Мысли» (не

нашедшей возможным их напечатать), а затем посылает «Вставку» — прямо в типографию: «К тому месту, где говорится, что общество перешло из столового салона в салон, приготовленный для слушания сказки Вязовского, и описывается устройство этой аудитории… распределение стенографов и стенографисток на два отдела по двум столам или не обозначено там, или обозначено неудовлетворительно. В моей черновой рукописи это место читается так: „По сторонам эстрады стояли два стола для стенографов… Вязовский подошел к стенографам, пожал им руки и разговаривал с ними, пока общество выбирало места“. Те строки беловой рукописи, которые по смыслу соответствуют цитируемому мною месту черновой, должны быть заменены следующими строками: „Мужчины стесненной рамою стали у подмостков, вдоль стен за последними стульями; музыканты со своими пюпитрами занимали обе стороны подмостков… Импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон — —“». Виноват, виноват, мы тут всё спутали, — подвернулась выписка из «Египетских Ночей». Восстановим: «Между эстрадой и передним полукругом аудитории (пишет Чернышевский в **несуществующую** типографию),

несколько правее и левее эстрады, стояли два стола; за тем, который был налево перед эстрадой, если смотреть из середины полукругов к эстраде...» и т. д. и т. д. — еще много слов в таком же роде, все равно не выражающих ничего.

«Вот вам тема, — сказал ему Чарский: — поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением».

Автора далеко завели раскат и обращение пушкинской идеи в жизни Чернышевского; между тем новый герой, имя которого два-три раза нетерпеливо пробивалось в нашу речь, ждет своего выхода. Теперь как раз пора ему появиться, — и вот он подходит, в наглухо застегнутом, форменном сюртуке с синим воротом, разящий честностью, нескладный, с маленькими близорукими глазами и жидковатыми бакенбардами (barbe en collier[43], которая Флоберу казалась столь симптоматичной); подает руку выездом, т. е. странно суя ее вперед с оттопыренным большим пальцем, и представляется простуженно-конфиденциальным баском: Добролюбов.

Их первую встречу (летом 56 года) Чернышевский спустя чуть ли не тридцать лет (когда писал

---

[43] Примечания: 43
Голландская бородка *(фр.)*.

и о Некрасове) вспоминал со знакомой нам уже детальностью — в сущности, болезненной и бессильной, но долженствующей оттенить безупречность мысли в сделках со временем. Дружба соединила этих двух людей вензельной связью, которую сто веков не способны распутать (напротив: она лишь укрепляется в сознании потомков). Тут не место распространяться о литературной деятельности младшего. Скажем только, что он был топорно груб и топорно наивен; что в «Свистке» он вышучивал Пирогова, пародируя Лермонтова (вообще пользование канвой лермонтовских стихов для шуток было так в ходу, что в конце концов становилось карикатурой на самое искусство пародии); скажем еще, что, по выражению Страннолюбского, «от толчка, данного Добролюбовым, литература покатилась по наклонной плоскости с тем неизбежным окончанием, когда, докатившись до нуля, она берется в кавычки: студент привез „литературу“». Что еще сказать? Юмор Добролюбова? О, благословенные времена, когда «комар» был **сам по себе** смешон, комар, севший на нос, смешнее вдвое, а комар, влетевший в присутственное место и укусивший столоначальника, заставлял слушателей стонать и корчиться от смеха!

Гораздо занимательнее тупой и тяжеловесной критики Добролюбова (вся эта плеяда радикальных литераторов писала, в сущности, **ногами**) та легкомысленная сторона его жизни, та лихорадочная романтическая игривость, которая впоследствии послужила Чернышевскому материалом для изображения «любовных интриг» Левицкого (в «Прологе»). Добролюбов был чрезвычайно влюбчив (пускай тут мелькнет: дуется в дурачки с генералом, не простым, со звездой: влюблен в его дочку). У него была немка в Старой Руссе, крепкая, тягостная связь. От поездки к ней Чернышевский удерживал его в полном смысле слова: долго боролись, оба вялые, тощие, потные, — шлепались об пол, о мебель, — все это молча, только слышно сопение; потом, тыкаясь друг в друга, оба искали под опрокинутыми стульями очки. В начале 59 года до Николая Гавриловича дошла сплетня, что Добролюбов (совсем как Дантес), дабы прикрыть свою «интригу» с Ольгой Сократовной, хочет жениться на ее сестре (имевшей, впрочем, жениха). Обе безбожно Добролюбова разыгрывали; возили на маскарад переодетого капуцином или мороженником, поверяли ему свои тайны. Прогулки с Ольгой Сократовной «совершенно помутили» его. «Я

знаю, что тут ничего нельзя добиться, — писал он приятелю, — потому что ни один разговор не обходится без того, что хотя человек я и хороший, но уж слишком неуклюж и почти противен. Я понимаю, что я и не должен ничего добиваться, потому что Николай Гаврилович все-таки мне дороже ее. Но в то же время я не имел сил отстать от нее». Когда сплетня дошла, Николай Гаврилович, не обольщавшийся насчет скромности жены, все же почувствовал обиду: измена была двойная; у него произошло с Добролюбовым откровенное объяснение, а вскоре после этого он уехал в Лондон «ломать Герцена» (как впоследствии выразился), т. е. дать ему нагоняй за нападки в «Колоколе» на того же Добролюбова.

Быть может, впрочем, целью этого свидания было не одно только заступничество за друга: именем Добролюбова, особенно потом, в связи с его смертью, Чернышевский орудовал весьма умело «в порядке революционной тактики». По иным донесениям из прошлого, он посетил Герцена главным образом для того, чтобы переговорить об издании «Современника» за границей: все предчувствовали, что его скоро закроют. Но вообще этот вояж окружен такой дымкой и так мало следа оставил в писаниях Чернышевского,

что хочется, вопреки факту, счесть его за апокриф. Он, всю жизнь занимавшийся Англией, питавший душу Диккенсом и разум «Таймсом», как бы он должен был захлебнуться, как много набрать впечатлений, как настойчиво потом сворачивать на это воспоминание! Чернышевский, однако, о своей поездке никогда потом не говорил, а если уж очень приставали, отвечал кратко: «Да что там много рассказывать, — туман был, качало, ну что еще может быть?» Таким образом, сама жизнь (в который раз) опровергла его же аксиому: «Осязаемый предмет действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем».

Как бы то ни было, 26 июня 1859 года Чернышевский прибыл в Лондон (все думали, что он в Саратове) и оставался там до 30-го. Среди тумана этих четырех дней пробивается косой луч: Тучкова-Огарева идет через зал в солнечный сад, неся на руках годовалую дочку в кружевной пелериночке. По залу (действие происходит в Патнэй, у Герцена) ходит взад и вперед с Александром Ивановичем (тогда были очень приняты эти комнатные прогулки) среднего роста господин, с лицом некрасивым, «но озаренным удивительным выражением самоотверженности и покорности судьбе» (что было, вернее всего, лишь

игрою памяти мемуаристки, вспоминавшей это лицо сквозь призму судьбы, уже свершившейся). Герцен познакомил ее со своим собеседником. Чернышевский погладил ребенка по волосам и проговорил своим тихим голосом: «У меня тоже есть такие, но я почти никогда их не вижу» (он путал имена своих детей: в Саратове находился его маленький Виктор, вскоре там умерший, ибо судьба детей таких описок не прощает, — а он посылал поцелуй «Сашурке», который уже вернулся к нему). «Поздоровайся, подай рученьку», — скороговоркой произнес Герцен и потом сразу стал отвечать на что-то, сказанное до того Чернышевским: «…ну да, — вот и посылали их в рудники»; а Тучкова проплыла в сад, и косой луч погас навеки.

Диабет и нефрит в придачу к туберкулезу вскоре доконали Добролюбова. Он умирал поздней осенью, в 61 году; Чернышевский навещал его ежедневно, а от него шел по своим, удивительно скрытым от слежки, заговорщицким делам. Принято считать, что прокламация «К барским крестьянам» написана нашим героем. «Разговоров было мало», — вспоминает Шелгунов (писавший «К солдатам»); и, по-видимому, даже Владислав Костомаров, печатавший эти

воззвания, не знал с полной достоверностью об авторстве Чернышевского. По слогу они очень напоминают растопчинские ернические афишки: «Так вот она какая, в исправду-то воля бывает («мужицкий надрыв»!)… И чтобы суд был правдивый и ровный всем был бы суд… Что толку-то, если в одном селе булгу поднять». Ежели это и писал Чернышевский — «булга», кстати, волжское слово, — то во всяком случае кто-то другой подсластил.

По сведениям народовольческим, Чернышевский в июле 61 года предложил Слепцову и его друзьям организовать основную пятерку — ядро «подземного» общества. Система этих пятерок, потом вошедших в «Землю и Волю», состояла в том, что член каждой набирал, кроме того, свою, зная, таким образом, только восемь лиц. Всех членов знал только центр. Всех членов знал Чернышевский. Нам кажется, что тут есть некоторая стилизация.

Но повторяем: он был безупречно осторожен. После студенческих беспорядков в октябре 61 года надзор за ним установился постоянный, но работа сыщиков не отличалась тонкостью: у Николая Гавриловича служила в кухарках жена швейцара, рослая, румяная старуха с несколько

неожиданным именем: Муза. Ее без труда подкупили — пятирублевкой на кофе, до которого она была весьма лакома. За это Муза доставляла содержание мусорной корзины. Зря.

Между тем 17 ноября 1861 г., имея двадцать пять лет от роду, Добролюбов скончался. Его хоронили на Волковом кладбище, «в простом дубовом гробу» (гроб в таких случаях всегда прост), рядом с Белинским. «Вдруг вышел энергичный бритый господин», — вспоминает очевидец (внешность Чернышевского была все еще мало известна), и так как народу собралось немного и это его раздражало, он поговорил об этом с обстоятельной иронией. Покамест он говорил, Ольга Сократовна сотрясалась от плача, опираясь на руку одного из заботливых студентов, всегда бывших при ней; другой же держал, кроме своей фуражки, енотовую шапку **самого**, который, в распахнутой шубе — несмотря на мороз, — вынул тетрадь и сердитым наставительным голосом стал читать по ней земляные стихи Добролюбова о честности и смерти; сиял иней на березах; а немного в сторонке, рядом с дряхлой матерью одного из могильщиков, смиренно стоял в новых валенках агент Третьего отделения. «Да-с, — закончил Чернышевский, — тут дело не в том, господа, что

цензура, кромсавшая его статьи, довела Добролюбова до болезни почек. Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему незачем было жить дольше. Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби. Честность — вот была его смертельная болезнь», — и свернутой в трубку тетрадью указав третье, свободное, место, Чернышевский воскликнул: «Нет для него человека в России!» (был: это место вскоре затем занял Писарев).

Трудно отделаться от впечатления, что Чернышевский, в юности мечтавший предводительствовать в народном восстании, теперь наслаждался разреженным воздухом опасности, окружавшим его. Эту значительность в тайной жизни страны он приобрел неизбежно, с согласия своего века, семейное сходство с которым он сам в себе ощущал. Теперь, казалось, ему необходим лишь день, лишь час исторического везения, мгновенного, страстного союза случая с судьбой, чтобы взвиться. Революция ожидалась в 63 году, и в списке будущего конституционного министерства он значился премьер-министром. Как он берег в себе этот драгоценный жар! Таинственное «что-то», о котором, вопреки своему «марксизму», говорит Стеклов и которое в Сиби-

ри угасло (хотя и «ученость», и «логика», и даже «непримиримость» остались), несомненно **было** в Чернышевском и проявилось с необыкновенной силой перед самой каторгой. Притягивающее и опасное, оно-то и пугало правительство пуще всех прокламаций. «Эта бешеная шайка жаждет крови, ужасов, — взволнованно говорилось в доносах, — избавьте нас от Чернышевского…»

«Безлюдие… Россыпи гор… Тьма озер и болот… Недостаток в самых необходимейших вещах… Неисправность почтосодержателей… (Все это) утомляет и гениальное терпение» (так в «Современнике» он выписывал из книги географа Сельского о Якутской области, — думая кое о чем, предполагая кое-что, — быть может, предчувствуя).

В России цензурное ведомство возникло раньше литературы; всегда чувствовалось его роковое старшинство: так и подмывало по нему щелкнуть. Деятельность Чернышевского в «Современнике» превратилась в сладострастное издевательство над цензурой, представляющей собой и впрямь одно из замечательнейших отечественных учреждений наших. И вот, в то время когда власти опасались, например, что «под музыкальными знаками могут быть скрыты

злонамеренные сочинения», а посему поручали специальным лицам за хороший оклад заняться расшифровыванием нот, Чернышевский в своем журнале, под прикрытием кропотливого шутовства, делал бешеную рекламу Фейербаху. Когда в статьях о Гарибальди или Кавуре (страшно представить себе, сколько саженей мелкой печати этот неутомимый человек перевел из «Таймса»), в комментариях к итальянским событиям он с долбящим упорством ставил в скобках чуть ли не после каждой второй фразы: Италия, в Италии, я говорю об Италии, — развращенный уже читатель знал, что речь о России и крестьянском вопросе. Или еще: он делал вид, что несет что попало, ради одной пустой и темной болтовни, — но в полосах и пятнах слов, в словесном камуфляже вдруг проскакивала нужная мысль. Впоследствии для сведения Третьего отделения была тщательно составлена Владиславом Костомаровым вся гамма этого «буффонства»; работа — подлая, но по существу верно передающая «специальные приемы Чернышевского».

Другой Костомаров, профессор, где-то говорит, что Чернышевский играл в шахматы мастерски. На самом-то деле ни Костомаров, ни Чернышевский ничего в шахматах не смыслили. В

юности, правда, Николай Гаврилович как-то купил шахматы, пытался даже осилить руководство, кое-как научился ходам, довольно долго возился с этим (возню обстоятельно записывая) и наконец, наскучa пустой забавой, всё отдал приятелю. Пятнадцать лет спустя (помня, что Лессинг с Мендельсоном сошелся за шахматной доской) он основал Шах-клуб, который был открыт в январе 62 года, просуществовал весну, постепенно хирея, и сам бы угас, если б не был закрыт в связи с «петербургскими пожарами». Это был просто литературно-политический кружок, помещавшийся в доме Руадзе. Чернышевский приходил, садился за столик и, пристукивая ладьей (которую называл «пушкой»), рассказывал невинные анекдоты. Приходил Серно-Соловьевич — (тургеневское тире) и в уединенном углу заводил с кем-нибудь беседу. Было довольно пусто. Пьющая братия — Помяловский, Курочкин, Кроль — горланила в буфете. Первый, впрочем, кое-что проповедовал и свое: идею общинного литературного труда, — организовать, мол, общество писателей-тружеников для исследования разных сторон нашего общественного быта, как то: нищие, мелочные лавки, фонарщики, пожарные — и все добытые сведения помещать в

особом журнале. Чернышевский его высмеял, и пошел вздорный слух, что Помяловский «бил ему морду». «Это вранье, я слишком вас уважаю для этого», — писал к нему Помяловский.

В зале того же Руадзе, 2 марта 62 года, состоялось первое (ежели не считать защиты диссертации и надгробной речи на морозе) публичное выступление Чернышевского. Официально выручка с вечера шла недостаточным студентам; на самом же деле он был в пользу политических заключенных Михайлова и Обручева, недавно взятых. Рубинштейн с блеском исполнил весьма возбудительный марш, профессор Павлов говорил о тысячелетии Руси, — причем двусмысленно сказал, что если правительство остановится на первом шаге (освобождение крестьян), «то оно остановится на краю пропасти, — имяяй уши слышати, да слышит» (его услышали, он был немедленно выслан). Некрасов прочел скверные, но «сильные» стихи, посвященные памяти Добролюбова, а Курочкин — перевод «Птички» Беранже (томление узницы и восторг внезапной свободы); о Добролюбове говорил и Чернышевский.

Встреченный крупными рукоплесканиями (у молодежи в те годы было принято держать ладони вогнутыми при хлопании, так что полу-

чалось подобие пушечной пальбы), он некоторое время стоял, мигая и улыбаясь. Увы, его наружность не понравилась дамам, жадно ждавшим **трибуна**, — портретов которого было не достать. Неинтересное, дескать, лицо, прическа а ля мужик, и почему-то не фрак, а жакетка с тесьмой и ужасный галстук — «катастрофа красок» (Рыжкова, «Записки шестидесятницы»). Кроме того, он как-то не подготовился, ораторствовать ему было внове, и, стараясь скрыть ажитацию, он взял разговорный тон, который его друзьям показался слишком скромным, а недоброжелателям — слишком развязным. Он сначала поговорил о своем портфеле, из которого вынул тетрадь, объясняя, что его замечательнейшая часть — замок с зубчатым колесиком: «Вот-с, извольте видеть, оно повертывается, и портфель заперт, а если хотите запереть еще безусловнее, оно повертывается другим манером и тогда снимается и кладется в карман, а на том месте, где оно было, на пластинке, вырезаны арабески: очень, очень мило». Затем, тонким, назидательным голосом он принялся читать всем знакомую добролюбовскую статью, но вдруг оборвал и (как в авторских отклонениях в «Что делать?»), обращаясь с публикой запанибрата, стал чрезвычайно

подробно объяснять, что Добролюбовым он де не руководил; при этом не переставая играл часовой цепочкой, — это влепилось в память всех мемуаристов и тогда же послужило темой журнальным зубоскалам; но, как подумаешь, он, быть может, потому часы теребил, что свободного времени у него и впрямь оставалось немного (всего четыре месяца!). Его тон, «неглиже с отвагой», как говорили в семинарии, и полное отсутствие революционных намеков публику покоробили; он не имел никакого успеха, между тем как Павлова чуть ли не качали. Николадзе замечает, что тотчас по высылке Павлова друзья поняли и оценили осторожность Чернышевского; сам-то он — впоследствии, в своей сибирской пустыне, где только в бреду ему иногда являлась живая и жадная аудитория, — пронзительно жалел о вялости, о фиаско, пеняя на себя, что не ухватился за тот единственный случай (раз все равно был обречен на гибель!) и с кафедры в зале Руадзе не сказал железной и жгучей речи, той самой речи, которую герой его романа собирался, верно, сказать, когда, по возвращении на волю, сел в пролетку и крикнул: «В Пассаж!»

А события шибко пошли той ветреной весной. Пожары! И вдруг — на этом оранжево-черном

фоне — видение: бегом, держась за шляпу, несется Достоевский: куда?

Духов день (28 мая 1862 г.), дует сильный ветер; пожар начался на Лиговке, а затем мазурики подожгли Апраксин Двор. Бежит Достоевский, мчатся пожарные, «и на окнах аптек в разноцветных шарах вверх ногами на миг отразились». А там густой дым повалил через Фонтанку по направлению к Чернышеву переулку, откуда вскоре поднялся новый черный столб… Между тем Достоевский прибежал. Прибежал к сердцу **черноты**, к Чернышевскому, и стал истерически его умолять **приостановить** все это. Тут занятны два момента: вера в адское могущество Николая Гавриловича и слухи о том, что поджоги велись по тому самому плану, который был составлен еще в 1849 году петрашевцами.

Агенты, тоже не без мистического ужаса, доносили, что ночью в разгаре бедствия «слышался смех из окна Чернышевского». Полиция наделяла его дьявольской изворотливостью и во всяком его действии чуяла подвох. Семья Николая Гавриловича уехала на лето в Павловск, и вот, через несколько дней после пожаров, а именно 10 июня (сумерки, комары, музыка), некто Любецкий, адъютант образцового лейб-гвардии

уланского полка, лихой малый, «с фамильей как поцелуй», при выходе «из вокзала» заметил двух дам, резвившихся как шалые, и, по сердечной простоте приняв их за молоденьких камелий, «произвел попытку поймать обеих за талии». Бывшие при них четыре студента окружили его и, угрожая ему мщением, объявили, что одна из дам — жена литератора Чернышевского, а другая — ее сестра. Что же, по мнению полиции, делает муж? Он домогается отдать дело на суд общества офицеров, — не из соображений чести, а лишь для того, чтобы под рукой достигнуть сближения офицеров со студентами. 5 июля ему пришлось по поводу своей жалобы побывать в Третьем отделении. Потапов, начальник оного, отклонил его домогательство, сказав, что, по его сведениям, улан готов извиниться. Тогда Чернышевский сухо отказался от всяких притязаний и, переменив разговор, спросил: «Скажите, — вот я третьего дня отправил семью в Саратов, и сам собираюсь туда на отдых («Современник» уже был закрыт); но если мне нужно будет увезти жену за границу, на воды, — она, видите ли, страдает нервическими болями, — могу ли выехать беспрепятственно?» — «Разумеется, можете», — добродушно ответил Потапов; а через два дня произошел арест.

Всему этому предшествовало вот какое событие: в Лондоне открылась всемирная выставка (девятнадцатый век необыкновенно любил выставлять свои богатства, пышное и безвкусное приданое, которое нынешний промотал); туда съехались туристы и негоцианты, корреспонденты и соглядатаи; как-то на громадном банкете Герцен, в припадке беспечности, у всех на глазах передал собиравшемуся в Россию Ветошникову письмо, в котором между прочим (письмо было, собственно, от Огарева) просил Серно-Соловьевича обратить внимание Чернышевского на сделанное в «Колоколе» объявление о готовности печатать «Современник» за границей. Не успела легкая нога передатчика коснуться русских песков, как он был схвачен.

Чернышевский жил тогда близ Владимирской церкви (позднее астраханские его адреса тоже определялись близостью к тому или другому храму) в доме Есауловой, где до него, покуда не вышел в министры, жил Муравьев, — изображенный им с таким беспомощным отвращением в «Прологе». 7 июля у него сидели два приятеля: доктор Боков (впоследствии изгнаннику посылавший врачебные советы) и Антонович (член «Земли и Воли», не подозревавший, несмотря на

близкую с Чернышевским дружбу, что и тот к обществу причастен). Сидели в зале, и тут же сел с видом гостя приземистый, неприятный, в черном мундире, с волчьим углом лица, полковник Ракеев, приехавший Чернышевского арестовать. Опять происходит любопытное, «волнующее игрока в истерике» (Страннолюбский) соприкосновение исторических узоров: это был тот самый Ракеев, который, олицетворяя собой подлую торопь правительства, умчал из столицы в посмертную ссылку гроб Пушкина. Поболтав для приличия десять минут, он с любезной улыбкой, от которой доктор Боков «внутренне похолодел», заявил Чернышевскому, что хочет поговорить с ним наедине. «А, тогда пойдем в кабинет», — ответил тот и сам бросился туда первый, да так стремительно, что Ракеев — не то что растерялся — слишком был опытен, — но в своей роли гостя не счел возможным столь же прытко последовать за ним. Чернышевский же тотчас вернулся, судорожно двигая кадыком и запивая что-то холодным чаем (**проглоченные бумаги**, по жуткой догадке Антоновича), и, глядя поверх очков, пропустил гостя вперед. Его друзья от нечего делать (чересчур неуютно ждалось в зале, где почти вся мебель была в саванах) отправились гулять («…не

может быть… я не думаю…» — повторял Боков), а когда воротились к дому, четвертому по Большой Московской, с тревогой увидели, что теперь у двери стоит — в каком-то кротком и тем более гнусном ожидании — казенная карета. Сперва пошел проститься с Чернышевским Боков, затем — Антонович. Николай Гаврилович сидел у письменного стола, играл ножницами, а полковник сидел сбоку, заложив ногу на ногу; беседовали — всё ради приличия — о преимуществах Павловска перед другими дачными местностями. «Общество, главное, отличнейшее», — покашливая, говорил полковник.

«А вы разве тоже уходите и не подождете меня?» — обратился Чернышевский к апостолу. «Мне, к сожалению, пора…» — смутясь душой, ответил тот. «Ну что ж, тогда до свидания», — сказал Николай Гаврилович шутливым тоном и, высоко подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича: тип товарищеского прощания, ставший впоследствии весьма распространенным в среде русских революционеров.

«Итак, — восклицает Страннолюбский в начале лучшей главы своей несравненной монографии, — Чернышевский взят!» Весть об аресте облетает город ночью. Не одна грудь наполняется

гремучим негодованием, не одна рука сжимается… Но и немало было злорадных усмешек: ага, убрали буяна, убрали «дерзкого, вопиявшего невежу», как выразилась — впрочем, придурковатая — писательница Кохановская. Далее Страннолюбский выпукло описывает сложную работу, которую властям пришлось проделать для того, чтобы создать улики, «которые должны были быть, но которых не было», ибо получилось курьезнейшее положение: «Юридически не за что было зацепиться, и приходилось ставить леса, дабы закону влезть и работать». Посему действовали «подставными величинами», с таким расчетом, чтобы все подставки осторожно убрать, лишь только законом огороженная пустота заполнится **настоящим**. Дело, затеянное против Чернышевского, было призраком; но это был призрак действительной вины; и вот — извне, искусственно, окольными путями — удалось найти некое решение задачи, почти совпадавшее с решением подлинным.

У нас есть три точки: Ч, К, П. Проводится один катет, ЧК. К Чернышевскому власти подобрали отставного уланского корнета Владислава Дмитриевича Костомарова, еще в августе прошлого года, в Москве, за тайное печатание возмутитель-

ных изданий разжалованного в рядовые, — человека с безуминкой, с печоринкой, при этом стихотворца: он оставил в литературе сколопендровый след, как переводчик иностранных поэтов. Проводится другой катет, КП. Писарев в «Русском Слове» пишет об этих переводах, браня автора за «драгоценная тиара занялась на нем как **фара**» («из Гюго»), хваля за «простую и сердечную» передачу куплетов Бернса («Прежде всего, прежде всего да будут все честны… Молитесь все… чтоб человеку человек был брат прежде всего»), а по поводу того, что Костомаров *доносит* читателю, что Гейне умер нераскаянным грешником, критик ехидно советует «грозному обличителю» «полюбоваться на собственную общественную деятельность». Ненормальность Костомарова сказывалась в витиеватой графомании, в бессмысленном, лунатическом (даром, что на заказ) составлении подложных писем с нанизанными французскими фразами; наконец, в застеночной игривости: свои донесения Путилину (сыщику) он подписывал: «Феофан Отченашенко» или «Венцеслав Лютый». Да и был он действительно лют в своей молчаливой мрачности, фатален и лжив, хвастлив и придавлен. Наделенный курьезными способностями, он умел писать женским

почерком, — сам объясняя это тем, что в нем «в полнолуние гащивает душа царицы Тамары». Множественность почерков в придачу к тому обстоятельству (еще одна шутка судьбы!), что его обычная рука напоминала руку Чернышевского, значительно повышала цену этого сонного предателя. Для косвенного подтверждения того, что воззвание «К барским крестьянам» написано Чернышевским, Костомарову было задано, во-первых, изготовить записочку, будто бы от Чернышевского, содержащую просьбу изменить одно слово в этом воззвании; а во-вторых — письмо (к «Алексею Николаевичу»), в котором находилось бы доказательство деятельного участия Чернышевского в революционном движении. То и другое Костомаров и состряпал. Подделка почерка совершенно очевидна: вначале она еще старательна, но потом фальсификатору работа как бы надоела, и он торопится кончить: взять хотя бы слово «я», которое в подлинных рукописях Чернышевского кончается отводной чертой, прямой и твердой, — даже слегка загибающейся в правую сторону, — а тут, в подложном письме, эта черта с какой-то странной лихостью загибается влево, к голове, словно буква козыряет.

Пока шли эти приготовления, Николай Гаври-

лович сидел в Алексеевском равелине, в близком соседстве с двадцатидвухлетним Писаревым, заключенным туда за четыре дня до того: проводится гипотенуза, ЧП, и роковой треугольник утвержден. Самым сидением Чернышевский сперва не тяготился: отсутствие назойливых посетителей показалось даже отдохновением… но тишина неизвестности вскоре стала его раздражать. «Глубокий» половик поглощал без остатка шаги часовых, ходивших по коридору… Оттуда лишь доносился классический бой часов, долго дрожавший в ушах… Это была жизнь, для изображения своего требующая от писателя обилия многоточий… Это было то русское недоброе уединение, из которого возникала русская мечта о доброй толпе. Приподняв угол зеленой шерстяной занавески, часовой в дверной глазок мог наблюдать заключенного, сидящего на зеленой деревянной кровати или на зеленом же стуле, в байковом халате, в картузе, — собственный головной убор разрешался, если это только не был **цилиндр**, — что делает честь правительственному чувству гармонии, но создает по закону негатива образ довольно назойливый (Писарев, тот сидел в феске). Перо полагалось гусиное; писать можно было на зеленом столике

с выдвижным ящиком, дно которого, как пятка Ахиллеса, одно оставалось неокрашенным.

Проходит осень. В тюремном дворе росла небольшая рябина. Арестант номер девятый гулять не любил; однако вначале выходил ежедневно, соображая (крючок мысли, крайне для него характерный), что в это время камера обыскивается, — следовательно, отказ от прогулки внушил бы администрации подозрение, что он у себя что-то прячет; когда же убедился, что это не так (путем оставляемых там и сям пометных ниточек), то с легким сердцем засел за писание: окончил к зиме перевод Шлоссера, принялся за Гервинуса, за Маколея. Писал кое-что и свое. Вспомним «Дневник» — и, из давно пробежавшего параграфа, подберем концы строк, относившихся к его писаниям в крепости… или нет, — вернемся, пожалуй, еще дальше назад, к «теме слез», начавшей свое обращение на первых страницах нашего таинственно вращающегося рассказа.

Перед нами знаменитое письмо Чернышевского к жене, от 5 декабря 62 года: желтый алмаз среди праха его многочисленных трудов. Мы смотрим на этот жесткий, некрасивый, но удивительно четкий почерк, с решительными взмахами словесных хвостов, с петлистыми

«рцы» и «покоями», с широкими, истыми крестами твердых знаков, — и давно не испытанное, чистое чувство, от которого вдруг становится легче дышать, охватывает нас. Этим письмом Страннолюбский справедливо обозначает начало недолгого расцвета Чернышевского. Весь пыл, вся мощь воли и мысли, отпущенные ему, все то, что должно было грянуть в час народного восстания, грянуть и хоть на краткое время зажать в себе верховную власть… рвануть узду и, может быть, обагрить кровью губу России, — все это теперь нашло болезненный исход в его переписке. Можно прямо сказать, что это и было венцом и целью всей его глухо, издавна нараставшей жизненной диалектики, — эти железным бешенством прохваченные послания к комиссии, разбиравшей его дело, которые он вкладывал в письма к жене, эта торжествующая ярость аргументов, эта цепями бряцающая мегаломания. «Люди будут вспоминать нас с благодарностью», — писал он Ольге Сократовне, — и оказался прав: именно этот звук и отозвался, разлившись по всему оставшемуся простору века, заставляя искренним и благородным умилением биться сердца миллионов интеллигентных провинциалов. Мы уже упоминали о той части письма, где говорит-

ся о планах составления словарей. После слов «как был Аристотель» идут слова: «А впрочем, я заговорил о своих мыслях: они — секрет; ты никому не говори о том, что я сообщаю тебе одной». «Тут, — комментирует Стеклов, — на эти две строки упала капля слезы, и Чернышевский должен был повторить расплывшиеся буквы». Это-то вот и неточно. Капля упала **до** начертания этих двух строк, у сгиба; Чернышевскому пришлось наново написать два слова (в начале первой строки и в начале второй), попавшие было на мокрое место, а потому недописанные (се… секрет, о т… о том).

Через два дня, все более сердясь и все более веря в свою неуязвимость, он начал «ломать» своих судей. Это второе письмо к жене можно разделить на пункты: 1) Я тебе говорил по поводу слухов о возможном аресте, что я не запутан ни в какое дело и что правительству придется извиняться, если меня арестуют. 2) Я так полагал, потому что знал, что за мною следят, — хвалились, что следят очень хорошо, — я положился на эту похвальбу, — ибо мой расчет был, что, зная, как я живу и что делаю, будут знать, что подозрения напрасны. 3) Расчет был глуп. Ибо я знал также, что у нас ничего не умеют делать как следует. 4) Таким образом, моим арестованием

компрометировали правительство. 5) Что «нам» делать? Извиниться? Но что, если он не примет извинения, а скажет: вы компрометировали правительство, моя обязанность это ему объяснить. 6) Поэтому будем отдалять неприятность. 7) Но правительство спрашивает по временам, виновен ли Чернышевский, — и правительство наконец добьется ответа. 8) Этого ответа я и жду.

«Копия с довольно любопытного письма Чернышевского, — карандашом приписал Потапов. — Но он ошибается: извиняться никому не придется».

А еще спустя несколько дней он начал писать «Что делать?» — и уже 15 января послал первую порцию Пыпину; через неделю послал вторую, и Пыпин передал обе Некрасову для «Современника», который с февраля был опять разрешен. Тогда же разрешено было и «Русское Слово», после такого же восьмимесячного запрета; и, нетерпеливо ожидая журнальной поживы, опасный сосед уже обмакнул перо.

Отрадно констатировать, что тогда какая-то тайная сила все-таки решилась попробовать хотя бы от **этой** беды Чернышевского спасти. Ему приходилось особенно тяжело, — как было не сжалиться? 28-го числа, из-за того, что началь-

ство, раздраженное его нападками, не давало ему свидания с женой, он начал голодовку: голодовка была еще тогда в России новинкой, а экспонент попался нерасторопный. Караульные заметили, что он чахнет, но пища как будто съедается… Когда же дня через четыре, пораженные тухлым запахом в камере, сторожа ее обыскали, то выяснилось, что твердая пища пряталась между книг, а щи выливались в щели. В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня, врач при крепости, осмотрев арестанта, нашел, что он бледен, язык довольно чистый, пульс несколько слабее, — и в этот же день, в этот же час Некрасов, проездом на извозчике от гостиницы Демута к себе домой, на угол Литейной и Бассейной, потерял сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием «Что делать?». Припомнив с точностью отчаяния весь свой маршрут, он не припомнил того, что, подъезжая к дому, положил сверток рядом с собой, чтобы достать кошелек, — а тут как раз сани сворачивали… скрежетание относа… и «Что делать?» незаметно скатилось: вот это и была попытка тайной силы — в данном случае центробежной — конфисковать книгу, счастливая судьба которой должна была так гибельно отразиться на судьбе ее автора.

Но попытка не удалась: на снегу, у Мариинской больницы, розовый сверток поднял бедный чиновник, обремененный большой семьей. Придя восвояси, он надел очки, осмотрел находку… увидел, что это начало какого-то сочинения, и, не вздрогнув, не опалив вялых пальцев, отложил. «Уничтожь!» — напрасно молил безнадежный голос. В «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции» напечатано было объявление о пропаже. Чиновник отнес сверток по означенному адресу, за что и получил обещанное: пятьдесят рублей серебром.

Тем временем Николаю Гавриловичу стали давать капли для возбуждения аппетита; два раза он их принимал, а потом, сильно страдая, объявил, что не будет более, ибо не ест не по отсутствию аппетита, а по капризу. 6-го утром, «по неопытности в различении симптомов страдания», он голодовку прекратил и позавтракал. 12-го Потапов уведомил коменданта, что комиссия не может дозволить Чернышевскому свидание с женой, покамест он совершенно не поправится. На другой же день комендант донес, что Чернышевский здоров и вовсю пишет. Ольга Сократовна явилась с бурными жалобами — на свое здоровье, на Пыпиных, на безденежье, и по-

том, сквозь слезы, стала смеяться над бородкой, отрощенной мужем, и, вконец расстроившись, принялась его обнимать.

«Будет, голубка, будет», — приговаривал он совершенно спокойно, — тем комнатным тоном, которого неизменно придерживался в сношениях с ней; любил же ее страстно, безнадежно. «Ни у меня, ни у кого другого не может быть оснований думать, что меня не отпустят на свободу», — сказал он ей с особенным ударением на прощание.

Прошел еще месяц. 23 марта была очная ставка с Костомаровым. Владислав Дмитриевич смотрел исподлобья и явно завирался. Чернышевский, брезгливо усмехаясь, отвечал отрывисто и презрительно. Его перевес бил в очи. «И подумать, — восклицает Стеклов, — что в это время он писал жизнерадостное „Что делать?“».

Увы! писать «Что делать?» в крепости было не столь поразительно, сколь безрассудно, — хотя бы потому, что оно было присоединено к делу. Вообще история появления этого романа исключительно любопытна. Цензура разрешила печатание его в «Современнике», рассчитывая на то, что вещь, представляющая собой «нечто в высшей степени антихудожественное», наверное уронит авторитет Чернышевского, что его просто

высмеют за нее. И действительно, чего стоят, например, «легкие» сцены в романе: «Верочка была должна выпить полстакана за свою свадьбу, полстакана за свою мастерскую, полстакана за саму Жюли (бывшую парижскую проститутку, а ныне подругу жизни одного из героев!). Подняли они с Жюли шум, крик, гам… Принялись бороться, упали обе на диван… и уже не захотели встать, а только продолжали кричать, хохотать, и обе заснули». Иногда слог смахивает не то на солдатскую сказку, не то на… Зощенко: «После чаю… пришла она в свою комнату и прилегла. Вот она и читает в своей кроватке, только книга опускается от глаз, и думается Вере Павловне: что это последнее время стало мне несколько скучно иногда?» Много и прелестных безграмотностей, — вот образец: когда медик, заболевший воспалением легких, призвал коллегу, то: «Долго они щупали бока одному из себя».

Но никто не смеялся. Даже русские писатели не смеялись. Даже Герцен, находя, что «гнусно написано», тотчас оговаривался: «с другой стороны, много хорошего, здорового». Все же, далее, не удержавшись, он замечает, что роман оканчивается не просто фаланстером, а «фаланстером в борделе». Ибо, конечно, случилось неизбежное:

чистейший Чернышевский — никогда таких мест не посещавший, — в бесхитростном стремлении особенно красиво обставить общинную любовь, невольно и бессознательно, по простоте воображения, добрался как раз до ходячих идеалов, выработанных традицией развратных домов; его веселый вечерний бал, основанный на свободе и равенстве отношений (то одна, то другая чета исчезает и потом возвращается опять), очень напоминает, между прочим, заключительные танцы в «Доме Телье».

А все-таки нельзя без трепета трогать этот старенький (март 63 года) журнал с началом романа; тут же и «Зеленый Шум» («терпи, покуда терпится…»), и зубоскальный разнос «Князя Серебряного»… Вместо ожидаемых насмешек вокруг «Что делать?» сразу создалась атмосфера всеобщего благочестивого поклонения. Его читали, как читают богослужебные книги, — и ни одна вещь Тургенева или Толстого не произвела такого могучего впечатления. Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист. Казалось бы, увидя свой просчет, правительство должно было прервать печатание романа; оно поступило гораздо умнее.

Сосед Чернышевского тоже теперь записал. 8-го октября он послал из крепости для «Русского Слова» статью «Мысли о русских романах», причем сенат уведомил генерал-губернатора, что это не что иное, как разбор романа Чернышевского, с похвалами сему сочинению и подробным развитием материалистических идей, в нем заключающихся. Для характеристики Писарева указывалось, что он подвергался умопомешательству, от коего был пользуем: дементия меланхолика, — четыре месяца в 59 году провел в сумасшедшем доме.

Как отроком он каждую свою тетрадочку наряжал в радужную обертку, так зрелым мужем Писарев вдруг бросал спешную работу, чтобы тщательно раскрашивать политипажи в книгах, или, отправляясь в деревню, заказывал портному красно-синюю летнюю пару из сарафанного ситца. Его душевная болезнь отличалась каким-то извращенным эстетизмом. Однажды среди студенческого сбора он вдруг встал, поднял, изящно изогнувшись, руку, как будто просил слова, и в этой скульптурной позе упал без чувств. В другой раз, при общем переполохе, он стал раздеваться в гостях, с веселой быстротой скидывая бархатный пиджак, пестрый жилет, клетчатые

панталоны… тут его одолели. Забавно, что есть комментаторы, которые зовут Писарева «эпикурейцем», ссылаясь, например, на его письма к матери, — невыносимые, желчные, закушенные фразы о том, что жизнь прекрасна; или еще: для обрисовки его «трезвого реализма» приводится — с виду деловое, ясное — а в действительности совершенно безумное его письмо из крепости к незнакомой девице, с предложением руки: «Та женщина, которая согласится осветить и согреть мою жизнь, получит от меня всю ту любовь, которую оттолкнула Раиса, бросившись на шею своему красивому орлу».

Теперь, заключенный на четыре года за небольшое участие в той общей тогдашней смуте, которая, собственно, основывалась на слепой вере в печатное, и особенно тайно-печатное, слово, Писарев из крепости писал о «Что делать?» по мере того, как роман появлялся в «Современнике», получаемом им. Хотя сенат вначале и выражал опасение, что его похвалы могут иметь вредное влияние на молодое поколение, но в данном случае правительству было всего важнее получить этим путем полную картину тлетворности Чернышевского, которую Костомаров только наметил в списке его «специальных приемов».

«Правительство, — говорит Страннолюбский, — с одной стороны, дозволяя Чернышевскому производить в крепости роман, а с другой — дозволяя Писареву, его соузнику, производить об этом же романе статьи, действовало вполне сознательно, с любопытством выжидая, чтобы Чернышевский весь выболтался, и наблюдая, что из этого получится — в связи с обильными выделениями его соседа по инкубатору».

Тут дело шло гладко и обещало многое, но с Костомаровым приходилось поднажать, так как требовались кое-какие определенные доказательства вины, а Чернышевский продолжал обстоятельно кипеть и издеваться, обзывая комиссию «шалунами» и «бестолковым омутом, который совершенно глуп». Поэтому Костомарова повезли в Москву, и там мещанин Яковлев, его бывший переписчик, пьяница и буян, дал важное показание (получил за это пальто, которое пропил так шумно в Твери, что был посажен в смирительный дом): переписывая по случаю летнего времени в беседке сада, он будто бы слышал, как Николай Гаврилович и Владислав Дмитриевич, ходя между собой под руку (черточка верная!), говорили о поклоне от их доброжелателей барским крестьянам (трудно разобраться

в этой смеси правды и подсказки). На втором допросе, в присутствии заново заряженного Костомарова, Чернышевский не совсем удачно сказал, что только раз был у него, да не застал; потом добавил с силой: «Поседею, умру, не изменю моего показания». Показание о том, что не он автор воззвания, написано им дрожащим почерком, — скорее не с перепуга, а от бешенства.

Как бы то ни было, дело подходило к концу. Последовало определение сената: с большим благородством он признавал противозаконное сношение с Герценом недоказанным (как **определил** сенат Герцен, смотри ниже в кавычках). Что же касается воззвания «К барским крестьянам»… тут уже созрел плод на шпалерах подлогов и подкупов: полное нравственное убеждение сенаторов, что Чернышевский воззвание сочинил, обращалось в юридическое доказательство письмом к «Алексею Николаевичу» (имелся в виду как будто Плещеев, мирный поэт, «блондин во всем», — но почему-то никто особенно на этом не настаивал). Так в лице Чернышевского был осужден его — очень похожий — призрак; вымышленную вину чудно подгримировали под настоящую. Приговор был сравнительно мягок — сравнительно с тем, что вообще можно

придумать в этом направлении: сослать на четырнадцать лет в каторжную работу в рудниках и затем поселить в Сибири навсегда. От «диких невежд» сената определение было передано «седым злодеям» Государственного совета, вполне присоединившимся, а затем пошло к государю, который его и утвердил, наполовину уменьшив срок каторги. 4-го мая 64 г. приговор был объявлен Чернышевскому, а 19-го, часов в 8 утра, на Мытнинской площади, он был казнен.

Моросило, волновались зонтики, площадь выслякощило, все было мокро: жандармские мундиры, потемневший помост, блестящий от дождя гладкий, черный столб с цепями. Вдруг показалась казенная карета. Из нее вышли необычайно быстро, точно выкатились, Чернышевский в пальто и два мужиковатых палача; все трое скорым шагом прошли по линии солдат к помосту. Публика колыхнулась, жандармы оттеснили первые ряды; раздались там и сям сдержанные крики: «Уберите зонтики!» Покамест чиновник читал уже известный ему приговор, Чернышевский нахохленно озирался, перебирал бородку, поправлял очки и несколько раз сплюнул. Когда чтец, запнувшись, едва выговорил «сацалических идей», Чернышевский улыбнулся и тут же, кого-

то узнав в толпе, кивнул, кашлянул, переступил: из-под пальто черные панталоны гармониками падали на калоши. Близко стоявшие видели на его груди продолговатую дощечку с надписью белой краской: «государственный преступ» (последний слог не вышел). По окончании чтения палачи опустили его на колени; старший наотмашь скинул фуражку с его длинных, назад зачесанных, светло-русых волос. Суженное книзу лицо с большим, лоснящимся лбом было теперь опущено, и с треском над ним преломили плохо подпиленную шпагу. Затем взяли его руки, казавшиеся необычайно белыми и слабыми, в черные цепи, прикрепленные к столбу: так он должен был простоять четверть часа. Дождь пошел сильнее: палач поднял и нахлобучил ему на голову фуражку, — и неспешно, с трудом, — цепи ме шали, — Че рнышевский поправил ее. Слева, за забором, виднелись леса строившегося дома; с той стороны рабочие полезли на забор, было слышно ерзанье сапог, взлезли, повисли и поругивали преступника издалека. Шел дождь; старший палач посматривал на серебряные часы. Чернышевский чуть поворачивал руками, не поднимая глаз. Вдруг из толпы чистой публики полетели букеты. Жандармы, прыгая, пытались

перехватить их на лету. Взрывались на воздухе розы; мгновениями можно было наблюдать редкую комбинацию: городовой в венке. Стриженые дамы в черных бурнусах метали сирень. Между тем Чернышевского поспешно высвободили из цепей, и мертвое тело повезли прочь. Нет, — описка: увы, он был жив, он был даже весел! Студенты бежали подле кареты, с криками: «Прощай, Чернышевский! **До свиданья!**» Он высовывался из окна, смеялся, грозил пальцем наиболее рьяным бегунам.

«Увы, жив», — воскликнули мы, — ибо как не предпочесть казнь смертную, содрогания висельника в своем ужасном коконе, тем похоронам, которые спустя двадцать пять бессмысленных лет выпали на долю Чернышевского. Лапа забвения стала медленно забирать его живой образ, как только он был увезен в Сибирь. О, да, разумеется: «Выпьем мы за того, кто „Что делать?“ писал…» Но ведь мы пьем за прошлое, за прошлый блеск и соблазн, за великую тень, — а кто станет пить за дрожащего старичка с тиком, где-то в легендарной дали и глуши делающего плохие бумажные кораблики для якутских детей? Утверждаем, что его книга оттянула и собрала в себе весь жар его личности, — жар, которого нет в беспомощно-рас-

судочных ее построениях, но который таился как бы промеж слов (как бывает горяч только хлеб) и неизбежно обречен был рассеяться со временем (как лишь хлеб умеет становиться черствым). Кажется, ныне одни марксисты еще способны интересоваться призрачной этикой, заключенной в этой маленькой, мертвой книге. Легко и свободно следовать категорическому императиву общей пользы — вот «разумный эгоизм», находимый исследователями в «Что делать?». Напомним ради забавы домысел Каутского, что идея эгоизма связана с развитием товарного производства, и заключение Плеханова, что Чернышевский все-таки «идеалист», так как у него получается, что массы должны догнать интеллигенцию из расчета, расчет же есть **мнение**. Но дело обстоит проще: мысль, что расчет — основа всякого поступка (или подвига), приводит к абсурду: сам по себе расчет бывает героический. Всякая вещь, попадая в фокус человеческого мышленья, одухотворяется. Так облагородился «расчет» материалистов; так материя у лучших знатоков ее обратилась в бесплотную игру таинственных сил. Этические построения Чернышевского — своего рода попытка построить все тот же перпетуум-мобиле, где двигатель-материя движет

другую материю. Нам очень хочется, чтоб это вертелось: эгоизм-альтруизм-эгоизм-альтруизм… но от трения останавливается колесо. Что делать? Жить, читать, думать. Что делать? Работать над своим развитием, чтобы достигнуть цели жизни: счастья. Что делать? (Но судьба самого автора, вместо дельного знака вопроса, поставила насмешливый восклицательный знак.)

Чернышевского перевели бы на поселение гораздо скорее, если бы не дело каракозовцев: на их суде выяснилось, что ему хотели дать возможность бежать и возглавить революционное движение — или хотя бы издавать в Женеве журнал, — причем, высчитывая даты, судьи нашли в «Что делать?» предсказание даты покушения на царя. И точно: Рахметов, уезжая за границу, «высказал, между прочим, что года через три он возвратится в Россию, потому что, кажется, в России, не теперь, а тогда, года через три (многозначительное и типичное для автора повторение), нужно ему быть». Между тем последняя часть романа подписана 4-ым апреля 63 года, а ровно день в день три года спустя и произошло покушение. Так, даже цифры, золотые рыбки Чернышевского, подвели его.

Рахметов ныне забыт; но в те годы он создал це-

лую школу жизни. С каким пиететом впитывался читателями этот спортивно-революционный элемент романа: Рахметов принял **боксерскую дьету** — и диалектическую: «Поэтому, если подавались фрукты, он абсолютно ел яблоки, абсолютно не ел абрикосов; апельсины ел в Петербурге, не ел в провинции, — видите, в Петербурге простой народ ест их, а в провинции не ест».

Откуда вдруг мелькнуло это молодое кругленькое лицо с большим, по-детски выпуклым лбом и щеками, как два горшочка? Кто эта похожая на госпитальную сиделочку девушка в черном платье с белым отложным воротничком и шнурком часиков? Приехав в Севастополь в 72 году, она пешком исходила окрестные села для ознакомления с бытом крестьян: была она в своем периоде **рахметовщины**, — спала на соломе, питалась молоком да кашей… И, возвратившись к первоначальному положению, мы опять повторим: в сто крат завиднее мгновенная судьба Перовской, чем угасание славы бойца! Ибо по мере того как, переходя из рук в руки, истрепывались книжки «Современника» с романом, чары Чернышевского слабели; и уважение к нему, давно ставшее задушевной условностью (которая, вынутая **из-за** души, оказывается мертвой), уже

не могло встрепенуться при кончине его в 89 году. Похороны прошли тихо. Откликов в газетах было немного. На панихиде по нем в Петербурге приведенные для парада друзьями покойного несколько рабочих в партикулярном платье были приняты студентами за сыщиков, — одному даже пустили «гороховое пальто»; что восстановило некое равновесие: не отцы ли этих рабочих ругали коленопреклоненного Чернышевского через забор?

На другой день после той шутовской казни, в сумерки, «с кандалами на ногах и думой в голове», Чернышевский навсегда покинул Петербург. Он ехал в тарантасе, и так как «читать по дороге книжки» разрешили ему только за Иркутском, то первые полтора месяца пути он очень скучал. 23-го июля его привезли наконец на рудники Нерчинского горного округа, в Кадаю: пятнадцать верст от Китая, семь тысяч — от Петербурга. Работать ему приходилось мало, жил он в плоско проконопаченном домишке, страдал от ревматизма. Прошло два года. Вдруг случилось чудо: Ольга Сократовна собралась к нему в Сибирь.

Когда он сидел в крепости, она, говорят, рыскала по провинции, так мало заботясь об участи мужа, что родные даже подумывали, не помеша-

лась ли она. Накануне шельмования прискакала в Петербург… 20-го утром уже ускакала. Мы никогда бы не поверили, что она способна на поездку в Кадаю, если бы не знали этой ее способности легко и лихорадочно передвигаться. Как он ее ждал! Выехав в начале лета 66 года с семилетним Мишей и доктором Павлиновым (мы опять вступаем в область красивых имен), она добралась до Иркутска, где ее задержали на два месяца; там она стояла в гостинице с драгоценно-дурацким названием — быть может, исковерканным биографами, но вернее всего с особенным вниманием подобранным лукавой судьбой: Hôtel d'Amour et Ко. Доктора Павлинова не пустили дальше: вместо него поехал жандармский ротмистр Хмелевский (усовершенное издание павловского удальца), пылкий, пьяный и наглый. Приехали 23-го августа. Чтобы отпраздновать встречу супругов, один из ссыльных поляков, бывший повар Кавура, о котором Чернышевский некогда так много и так зло писал, напек тех печений, которыми объедался покойный барин. Но свидание не удалось: удивительно, как все то горькое и героическое, что жизнь изготовляла для Чернышевского, непременно сопровождалось привкусом гнусного фарса. Хмелевский,

виясь, не отступал от Ольги Сократовны, в цыганских глазах которой скользило что-то загнанное, но и манящее, — вопреки ее воле, быть может. За ее благосклонность он даже будто бы предложил устроить побег мужу, но тот решительно отказался. Словом, от постоянного присутствия бесстыдника было так тяжело (а какие мы строили планы!), что Чернышевский сам уговаривал жену пуститься в обратный путь, и 27-го августа она это и сделала, пробыв, таким образом, после трехмесячного странствия, всего четыре дня — **четыре** дня, читатель! — у мужа, которого теперь покидала на семнадцать с лишним лет. Некрасов посвятил ей «Крестьянских Детей». Жаль, что он ей не посвятил своих «Русских Женщин».

В последних числах сентября Чернышевского перевели на Александровский завод, в тридцати верстах от Кадаи. Зиму он там провел в тюрьме, с каракозовцами и мятежными поляками. Темница была снабжена монгольской особенностью — «палями»: столбами, тесно вкопанными встоячь вокруг тюрьмы; «палисад без сада», острил один из ссыльных, бывший офицер Красовский. В июне следующего года, по окончании срока испытуемости, Чернышевский был выпущен в вольную команду и снял комнату у дьячка,

необыкновенно с лица на него похожего: полуслепые, серые глаза, жиденькая бородка, длинные спутанные волосы… Всегда пьяненький, всегда вздыхающий, он сокрушенно отвечал на расспросы любопытных: «Все пишет, пишет, сердечный!» Но Чернышевский прожил там не больше двух месяцев. Его имя всуе упоминалось на политических судах. Блаженненький мещанин Розанов показывал, что революционеры хотят поймать и посадить в клетку «птицу из царской крови, чтобы выменять Чернышевского». От графа Шувалова была иркутскому генерал-губернатору депеша: «Цель эмиграции — освободить Чернышевского, прошу принять всевозможные меры относительно его». Между тем Красовский, выпущенный вместе с ним, бежал (и погиб в тайге, ограбленный), так что были все причины водворить опасного ссыльного опять в тюрьму и на месяц лишить права переписки.

Невыносимо страдая от сквозняков, он никогда не снимал ни халатика на меху, ни барашковой шапки. Передвигался, как лист, гонимый ветром, нервной, пошатывающейся походкой, и то тут, то там слышался его визгливый голосок. Усугубилась его манера логических рассуждений — «в духе тезки его тестя», как вычурно выра-

жается Страннолюбский. Жил он в «конторе»: просторной комнате, разделенной перегородкой; в большей части шли по всей стене низкие нары, вроде помоста; там, как на сцене (или вот как в зоологических садах выставляют грустного хищника среди скал его родины), стояли кровать и небольшой стол, что было, по существу, обстановкой всей его жизни. Он вставал за полдень, целый день пил чай да полеживал, все время читая, а по-настоящему садился писать в полночь, так как днем непосредственные соседи его, поляки-националисты, совершенно к нему равнодушные, затеяв игру на скрипках, его терзали несмазанной музыкой: по профессии они были колесники. Другим же ссыльным он зимними вечерами читал. Как-то раз заметили, что, хотя он спокойно и плавно читает запутанную повесть, со многими «научными» отступлениями, смотрит-то он в пустую тетрадь. Символ ужасный!

Тогда-то он написал и новый роман. Еще полный успеха «Что делать?», он многого ждал от него — ждал главным образом денег, которые, печатаясь за границей, роман должен был так или иначе принести его семье. «Пролог» весьма автобиографичен. Уже однажды упомянув о нем, мы говорили о своеобразной попытке реабили-

тации Ольги Сократовны; такая же, по мнению Страннолюбского, скрыта в нем попытка реабилитации самой личности автора, ибо, с одной стороны подчеркивая влияние Волгина, доходившее до того, что «сановники заискивали перед ним через его жену» (полагая, что у него «связи с Лондоном», т. е. с Герценом, которого смертельно боялись новоиспеченные либералы), автор, с другой стороны, упорно настаивает на мнительности, робости, бездейственности Волгина: «ждать и ждать, как можно дольше, как можно тише ждать». Получается впечатление, что упрямый Чернышевский как бы желает иметь последнее слово в споре, хорошенько закрепив то, что повторял своим судьям: меня должно рассматривать на основании моих поступков, а поступков не было и не могло быть.

О «легких» сценах в «Прологе» лучше умолчим. Сквозь их болезненно-обстоятельный эротизм слышится нам такая дребезжащая нежность к жене, что малейшая из них цитата показалась бы чрезмерно глумливой. Зато послушаем вот этот чистый звук — в его письмах к ней за те годы: «Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя»… «Я был бы здесь даже один из самых счастливых людей на целом свете,

если бы не думалось, что эта очень выгодная лично для меня судьба слишком тяжело отзывается на твоей жизни, мой милый друг»… «Прощаешь ли мне горе, которому я подверг тебя?»…

Надежды Чернышевского на литературные доходы не сбылись: эмигранты не только злоупотребляли его именем, но еще воровски печатали его произведения. И вовсе уже пагубными для него были попытки его освободить, попытки сами по себе смелые, но кажущиеся бессмысленными нам, видящим с изволока времени разность между образом «скованного великана» и тем настоящим Чернышевским, которого только бесили старания спасителей: «Эти господа, — говаривал он потом, — даже не знали, что я и верхом ездить не умею». Вследствие этого внутреннего противоречия и получалась чушь (особый оттенок коей нам уже давно известен). Если верить молве, Ипполит Мышкин, под видом жандармского офицера явившийся в Вилюйск к исправнику с требованием о выдаче ему заключенного, испортил все дело тем, что надел аксельбант на левое плечо вместо правого. До этого, а именно в 71 году, была уже попытка Лопатина, в которой все несуразно: и то, как в Лондоне он вдруг бросил переводить «Капитал», чтобы Марксу,

научившемуся читать по-русски, доставить «ден гроссен руссишен гелертен», и путешествие в Иркутск, под видом члена географического общества (причем сибирские обыватели принимали его за ревизора инкогнито), и арест вследствие доноса из Швейцарии, и бегство, и поимка, и его письмо генерал-губернатору Восточной Сибири, в котором он с непонятной откровенностью рассказывал о своих планах. Все это только ухудшало судьбу Чернышевского. Юридически поселение должно было начаться 10-го августа 70 года. Но только 2-го декабря его перевезли в другое место, в место, оказавшееся гораздо хуже каторги, — в Вилюйск.

«Убранный Богом в долгий ящик Азии, — говорит Страннолюбский, — в глубину Якутской области, далеко на северо-восток, Вилюйск представлял собой поселок, стоявший на огромной куче песку, нанесенного рекой, и окруженный бесконечным моховым болотом, покрытым почти сплошь таежником». Обитатели (500 душ) были: казаки, полудикие якуты и небольшое число мещан (о которых Стеклов выражается весьма живописно: «Местное общество состояло из пары чиновников, пары церковников и пары купцов» — словно речь идет о ковчеге). Там Чернышевско-

го поместили в лучшем доме, а лучшим домом в Вилюйске оказался острог. Дверь его сырой камеры была обита черной клеенкой; два окна, и так упиравшихся в частокол, были забраны решетками. За отсутствием каких-либо других ссыльных, он очутился в совершенном одиночестве. Отчаяние, бессилье, сознание обмана, чувство несправедливости, подобное пропасти, уродливые недостатки полярного быта — все это едва не свело его с ума. Под утро 10-го июля 72 года он вдруг стал ломать железными щипцами замок входной двери, весь трясясь, бормоча и вскрикивая: «Не приехал ли государь или министр, что урядник осмеливается запирать ночью двери?» К зиме он немного успокоился, но время от времени доносили… и тут попадается нам одно из тех редких сочетаний, которые составляют гордость исследователя.

Когда-то, а именно в 53 году, отец ему писал (по поводу его «Опыта словаря Ипатьевской летописи»): «Лучше бы написал какую-нибудь сказочку… сказочка еще и ныне в моде бонтонного мира». Через много лет, Чернышевский сообщает жене, что хочет написать «ученую сказочку», задуманную в остроге, в которой ее изобразит в виде двух девушек: «Это будет недурная ученая сказочка

(повторение отцовского ритма). Если б ты знала, сколько я хохотал сам с собой, изобретая разные шумные резвости младшей… Сколько плакал от умиления, изображая патетические раздумья… старшей». «Чернышевский, — доносили его тюремщики, — по ночам то поет, то танцует, то плачет навзрыд».

Почта из Якутска шла раз в месяц. Январская книга петербургского журнала получалась только в мае. Развившуюся у него болезнь (зоб) он пытался сам лечить по учебнику. Изнурительный катар желудка, который он знал студентом, повторился тут с новыми особенностями. «Меня тошнит от „крестьян“, и от „крестьянского землевладения“», — писал он сыну, думавшему его заинтересовать присылкой экономических книг. Пища была отвратительная. Питался он почти только кашей: прямо из горшка — серебряной столовой ложкой, почти четверть которой сточилась о глиняные стенки в течение тех двадцати лет, за которые он сточился сам. В теплые летние дни он часами, бывало, стоял, закатав панталоны, в мелкой речке, что вряд ли было полезно, или, завернув голову полотенцем от комаров, похожий на русскую бабу, со своей плетеной корзиной для грибов гулял по лесным

тропинкам, никогда в глушь не углубляясь. Забывал сигарочницу под лиственницей, которую не скоро научился отличать от сосны. Собранные цветы (названий которых он не знал) завертывал в папиросную бумагу и посылал сыну Мише, у которого таким образом составился «небольшой гербарий вилюйской флоры»: так и Волконская внукам своим завещала «коллекцию бабочек, флору Читы». Однажды у него на дворе появился орел… «прилетевший клевать его печень, — замечает Страннолюбский, — но не признавший в нем Прометея».

Удовольствие, которое в юности он испытывал от стройного распределения петербургских вод, получило теперь позднее эхо: от нечего делать он выкапывал каналы, — и чуть не затопил одну из излюбленных вилюйцами дорог. Жажду просветительства он утолял тем, что учил якутов манерам, но по-прежнему туземец снимал шапку за двадцать шагов и в таком положении кротко замирал. Дельность, толковость свелись к тому, что он водоносцу советовал коромыслом заменить волосяную дужку, резавшую ладони; но якут не изменил рутине. В городке, где только и делали, что играли в стуколку да страстно обсуждали цену на дабу, его тоска по общественной

деятельности отыскала староверов, записку по делу которых, чрезвычайно подробную и длинную (со включением даже вилюйских дрязг), Чернышевский преспокойно отправил на имя государя, по-дружески предлагая ему помиловать их, потому что они его «почитают святым».

Он писал много, но почти все сжигал. Сообщал родным, что результаты его «ученых занятий», несомненно, будут приняты с сочувствием; труды эти — пепел, мираж. Из всей груды беллетристики, которую он в Сибири произвел, сохранились, кроме «Пролога», две-три повести, какой-то «цикл» недописанных «новелл»... Сочинял он и стихи. По ткани своей они ничем не отличаются от тех, которые когда-то ему задавали в семинарии, когда он так перекладывал псалом Давида: «Одна на мне лежала должность: чтобы отцовских пасть овец, и смладу петь я гимны начал, Творца чтоб ими восхвалять». В 75 году (Пыпину) и снова в 88 г. (Лаврову) он посылает «старо-персидскую поэму»: страшная вещь! В одной из строф местоимение «их» повторяется **семь** раз («от скудости стран их тела, их скелеты, и сквозь их лохмотья их ребра видать, широки их лица, и плоски черты их, на плоских чертах их бездушья печать»), а в чудовищных цепях родительных

падежей («От вопля томленья их жажды до крови...») на прощание, при очень низком солнце, сказывается знакомое тяготение автора к связности, к звеньям. Пыпину он пишет мучительные письма, упорно выражая желание наперекор администрации заниматься литературой: «Эта вещь „Академия Лазурных Гор“, подписанная „Дензиль Эллиот“ — будто бы с английского) — высоко литературного достоинства... Я терпелив, но — я надеюсь, что никто не имеет мысли мешать мне работать для моего семейства... Я знаменит в русской литературе небрежностью слога... Когда я хочу, я умею писать и всякими хорошими сортами слога».

Плачьте, о! о Лилебее.
Плачем с вами вместе мы.
Плачьте, о! об Акраганте:
Подкреплений наши ждут!

«Что такое (этот) гимн Деве Неба? — Эпизод из прозаического рассказа внука Эмпедокла... А что такое рассказ внука Эмпедокла? Один из бесчисленных рассказов в „Академии Лазурных Гор“». Герцогиня Кентерширская отправилась с компанией светских своих друзей на яхте **через Суэцкий канал** (разрядка моя) в Ост-Индию,

чтобы посетить свое маленькое царство у Лазурных Гор, близ Голконды. «Там занимаются тем, чем занимаются умные и добрые светские люди (рассказыванием рассказов), тем, что будет в следующих пакетах Дензиля Эллиота редактору „Вестника Европы“» (Стасюлевичу, — который ничего не напечатал из этого).

Кружится голова, буквы в глазах плывут и гаснут, — и вот снова мы тут подбираем «тему очков» Чернышевского. Родных он просил прислать ему новые, но, несмотря на старание особенно наглядно объяснить, все-таки напутал, и через полгода ему прислали номер «четыре с половиной вместо пять или пять с четвертью».

Страсти к наставлению он тем давал исход, что Саше писал о Фермате, Мише — о борьбе пап с императорами, жене — о медицине, Карлсбаде, Италии… Кончилось тем, чем и должно было кончиться: ему предложили прекратить писание «ученых писем». Это его так оскорбило и потрясло, что больше полугода он не писал писем вовсе (никогда власти не дождались от него тех смиренно-просительных посланий, которые, например, унтер-офицер Достоевский обращал из Семипалатинска к сильным мира сего). «От папаши нет никакого известия, — писала в 79 году Ольга Со-

кратовна сыну, — уж жив ли он, мой милый», — и за эту интонацию многое простится ей.

Еще один паяц с фамилией на «ский» выскакивает вдруг в статисты: 15-го марта 81 года «твой неизвестный ученик Витевский», как он рекомендуется сам, а по данным полиции — выпивающий врач Ставропольской земской больницы, с совершенно излишней горячностью протестуя против анонимного мнения, что Чернышевский ответствен за убийство царя, отправляет ему в Вилюйск телеграмму: «Твои сочинения исполнены мира и любви. Ты этого (т. е. убийства) совсем не желал». От его ли бесхитростных слов или от чего другого, но правительство смягчилось и в середине июня оказало острожному квартиранту заботливую любезность: стены его помещения были оклеены обоями гри-перль с бордюром, а потолок затянут бязью, что в общем стоило казне 40 рублей и 88 копеек, т. е. несколько дороже, чем пальто Яковлева и кофе Музы. А уже в следующем году торговля призраком Чернышевского закончилась тем, что после переговоров между «добровольной охраной» и исполнительным комитетом «Народной Воли» относительно спокойствия во время коронации было решено, что, если она обойдется благополучно, Черны-

шевского освободят: так меняли его на царей — и обратно (что получило впоследствии свое вещественное увенчание, когда его памятником советская власть заместила в Саратове памятник Александра Второго). Еще через год, в мае, было подано от имени его сыновей (он, конечно, об этом не знал) прошение, в самом что ни на есть пышном, душещипательном стиле; министр юстиции Набоков сделал соответствующий доклад, и «Государь соизволил перемещение Чернышевского в Астрахань».

В исходе февраля 83 года (отяжелевшее время уже влачило судьбу его с трудом) жандармы, ни словом не упомянув о резолюции, вдруг повезли его в Иркутск. Все равно, — оставить Вилюйск само по себе было счастьем, и не раз во время летнего пути по длинной Лене (так по-родственному повторяющей волжский изгиб) старик пускался в пляс, распевая гекзаметры. Но в сентябре путешествие кончилось и с ним — ощущение воли. В первую же ночь Иркутск показался все тем же казематом в сугубо уездной глуши. Поутру к нему зашел начальник жандармского управления Келлер. Николай Гаврилович сидел у стола, облокотившись, и не сразу откликнулся. «Государь вас помиловал», — сказал Келлер, и повторил

это еще громче, видя, что тот будто сонный или несмыслящий. «Меня?» — вдруг переспросил старик, встал со стула, положил руки к вестнику на плечи и, тряся головой, зарыдал. Вечером, чувствуя себя как бы выздоравливающим после долгой болезни, но еще слабым, со сладким туманом во всем теле, он пил с Келлером чай, без умолку говорил, рассказывал его детям «более или менее персидские сказки — об ослах, розах, разбойниках…» — как запомнилось одному из слушателей. Через пять дней его повезли в Красноярск, оттуда в Оренбург, — и глубокой осенью, в седьмом часу вечера, он на почтовых проезжал через Саратов; там, на постоялом дворе, у жандармского управления, в подвижном сумраке так качался от ветра фонарик, что никак нельзя было толком рассмотреть меняющееся, молодое, старое, молодое, теплым платком обмотанное, лицо Ольги Сократовны, опрометью прибежавшей на нечаянное свидание; и в ту же ночь неизвестно о чем думающий Чернышевский был отправлен дальше.

С большим мастерством, с живостью изложения необыкновенной (ее можно почти принять за сострадание), Страннолюбский описывает его водворение на жительство в Астрахани. Никто не

встречал его с распростертыми объятиями, никто даже не приглашал его, и очень скоро он понял, что все громадные замыслы, бывшие в ссылке единственной его подпорой, должны теперь растаять в какой-то глуповато-ясной и совершенно невозмутимой тишине.

К его сибирским болезням Астрахань прибавила желтую лихорадку. Он часто простужался. У него мучительно трепетало сердце. Много и неряшливо курил. А главное — был чрезвычайно нервен. Странно вскакивал посреди разговора, — словно это у него осталось от того порыва в день ареста, когда он бросился в кабинет, опережая рокового Ракеева. На улице его можно было принять за старичка мастерового: сутуленький, в плохоньком летнем костюме, в мятом картузе. «А скажите...», «А вы не думаете...», «А...»: к нему лезли с нелепыми разговорами случайные любопытные. Актер Сыробоярский все допытывался — «жениться ли, али нет?». Было два-три последних доносика, прошипевших как мокрый фейерверк. Знакомство он водил с местными армянами — мелочными торговцами. Люди образованные удивлялись тому, что он как-то не очень интересуется общественной жизнью. «Да чего вы хотите, — отвечал он невесело, — что

могу я в этом понять, — ведь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании…»

Гладко причесанная, с открытыми ушами, слишком для нее большими, и с «птичьим гнездом» чуть пониже макушки — вот она опять с нами (привезла из Саратова конфет, котят); на длинных губах та же насмешливая полуулыбка, еще резче страдальческая линия бровей, а рукава теперь шьются так, что торчат выше плеч. Ей уже за пятьдесят (1833—1918), но характер все тот же, болезненно-озорной; ее истеричность при случае доходит до судорог.

В течение этих последних шести лет жизни бедный, старый, никому не нужный Николай Гаврилович с постоянством машины переводит для издателя Солдатенкова том за томом «Всеобщей истории Георга Вебера», — причем, движимый давней, неудержимой потребностью высказаться, постепенно пытается, промеж Вебера, дать выбраться и собственным мыслям. Перевод свой он подписывает: «Андреев», и в рецензии на первый том («Наблюдатель», февраль 1884 г.) критик замечает, что это «своего рода псевдоним, потому что на Руси Андреевых столько же, как Ивановых и Петровых»; за этим следуют колкие

упреки в тяжеловатости слога и маленький выговор: «Господину Андрееву в своем предисловии незачем было распространяться о достоинствах и недостатках Вебера, давно знакомого русскому читателю. Уже в пятидесятых годах вышел его учебник и одновременно три тома „Курса всеобщей истории“ в переводе Е. и В. Корша… Ему бы не следовало игнорировать труды своих предшественников».

Этот Е. Корш, любитель архирусских терминов взамен принятых немецкими философами («затреба», «срочная затычка», «мань» — последнюю, впрочем, он сам выпустил в публику под усиленным караулом кавычек), был теперь восьмидесятилетним старцем, сотрудником Солдатенкова, и в этом качестве корректировал «астраханского переводчика», внося исправления, приводившие в бешенство Чернышевского, который и принялся в письмах к издателю «ломать» Евгения Федоровича по старой своей системе, сначала яростно требуя, чтобы корректура была передана другому, «лучше понимающему, что в России нет человека, который знал бы русский литературный язык так хорошо, как я», а затем, когда своего добился, употребляя свой знаменитый прием «двойной затычки»: «Разве

в самом деле интересуюсь я подобными пустяками? Впрочем, если Корш хочет продолжать читать корректуру, то попросите его не делать поправок, они действительно нелепы». С не менее мучительным наслаждением он ломал и Захарьина, по доброте душевной говорившего с Солдатенковым в том смысле, чтоб платить Чернышевскому помесячно (200 рублей) ввиду расточительности Ольги Сократовны. «Вы были одурачены наглостью человека, которого ум расстроен пьянством», — писал Чернышевский, и, пуская в ход весь аппарат своей поржавелой, скрипучей, но все такой же извилистой логики, сначала мотивировал свою досаду тем, что его считают вором, желавшим наживать капитал, а затем объяснял, что гнев его был, собственно, напоказ, ради Ольги Сократовны: «Благодаря тому, что она узнала о своем мотовстве из моего письма к Вам, и я не уступил ей, когда она просила меня смягчить выражения, конвульсий не было». Тут-то (в конце 88 года) и подоспела еще одна небольшая рецензия — уже на десятый том Вебера. Страшное состояние его души, уязвленное самолюбие, старческую взбалмошность и последние, безнадежные попытки перекричать тишину (что гораздо труднее, чем даже попытка

Лира перекричать бурю), — все это надобно помнить, когда читаешь сквозь его очки рецензию на внутренней стороне бледно-земляничной обложки «Вестника Европы»: «…К сожалению, из предисловия оказывается, что русский переводчик только в первых шести томах оставался верным своим простым обязанностям переводчика, но уже с шестого тома он сам возложил на себя новую обязанность… „очищать“ Вебера. Едва ли можно быть признательным ему за подобный перевод с „переодеванием“ автора, и притом столь авторитетного, как Вебер».

«Казалось бы, — замечает тут Страннолюбский (несколько путая метафоры), — что этим небрежным пинком судьба достойно завершила цепь возмездий, которую она ковала ему». Но это не так. Нам остается на рассмотр еще одна — самая страшная, и самая совершенная, и самая последняя казнь.

Из всех безумцев, рвавших в клочья жизнь Чернышевского, худшим был его сын; конечно — не младший, Михаил, который жизнь прожил смирную, с любовью занимаясь тарифными вопросами (служил по железнодорожному делу): он-то вывелся из положительной отцовской цифры и сыном был добрым, — ибо в то время,

как его блудный брат (получается нравоучительная картинка) выпускал (1896—98 гг.) свои «Рассказы-фантазии» и сборник никчемных стихов, он набожно начинал свое монументальное издание произведений Николая Гавриловича, которое почти довел до конца, когда в 1924 году, окруженный всеобщим уважением, умер — лет через десять после того, как Александр скоропостижно скончался в грешном Риме, в комнатке с каменным полом, объясняясь в нечеловеческой любви к итальянскому искусству и крича в пылу дикого вдохновения, что, если бы люди его послушали, жизнь пошла бы иначе, иначе! Сотворенный словно из всего того, чего отец не выносил, Саша, едва выйдя из отрочества, пристрастился ко всему диковинному, сказочному, непонятному современникам, — зачитывался Гофманом и Эдгаром По, увлекался чистой математикой, а немного позже — один из первых в России — оценил французских «проклятых поэтов». Отец, прозябая в Сибири, не мог следить за развитием сына (воспитывавшегося у Пыпиных), а то, что узнавал, толковал по-своему, тем более что от него скрывали душевную болезнь Саши. Понемногу, однако, чистота этой математики стала Чернышевского раздражать, — и можно

легко себе представить, с какими чувствами юноша читал длинные отцовские письма, начинающиеся с подчеркнуто добродушной шутки, а затем (как разговоры того чеховского героя, который приступал так хорошо, — старый студент, мол, неисправимый идеалист…) завершавшиеся яростной руганью; его бесила эта математическая страсть не только как проявление неполезного: измываясь над всякой новизной, отставший от жизни Чернышевский отводил душу на всех новаторах, чудаках и неудачниках мира.

Добрейший Пыпин в январе 75 года посылает ему в Вилюйск прикрашенный образ сына-студента, сообщая ему и то, что может быть приятно создателю Рахметова (Саша, дескать, заказал металлический шар в полпуда для гимнастики), и то, что должно быть лестно всякому отцу: со сдержанной нежностью Пыпин, вспоминая свою молодую дружбу с Николаем Гавриловичем (которому был многим обязан), рассказывает о том, что Саша так же неловок, угловат, как отец, так же смеется громогласно с дискантовыми тонами… Вдруг осенью 77 года Саша поступает в Невский пехотный полк, но, не доехав до действующей армии, заболевает тифом (в его постоянных несчастьях своеобразно сказывается

наследие отца, у которого все ломалось, все выпадало из рук). По возвращении в Петербург он поселился один, давал уроки, печатал статьи по теории вероятности. С 82 года его душевный недуг обострился, и неоднократно приходилось его помещать в лечебницу. Он боялся пространства или, точнее, боялся соскользнуть в другое измерение, — и, чтоб не погибнуть, все держался за верную, прочную, в эвклидовых складках, юбку Пелагеи Николаевны Фан-дер-Флит (рожденной Пыпиной).

От Чернышевского, переехавшего в Астрахань, продолжали это скрывать. С каким-то истязательским упорством, с чопорной черствостью, под стать преуспевшему буржуа Диккенсова или Бальзакова производства, он в письмах называет сына «нелепой чудачиной», «нищенствующим чудаком» и упрекает его в желании «оставаться нищим». Наконец Пыпин не выдержал и с некоторой горячностью объяснил двоюродному брату, что если Саша и не стал «расчетливым и холодным дельцом», он зато «нажил чистую, честную душу».

И вот Саша приехал в Астрахань. Николай Гаврилович увидел эти лучистые глаза навыкате, услышал эту странную, уклончивую речь… Посту-

пив на службу к керосинщику Нобелю и получив доверенность на сопровождение по Волге груза на барже, Саша по пути, в знойный, нефтяной, сатанинский полдень, сбил с головы бухгалтера фуражку, бросил в радужную воду ключи и уехал домой в Астрахань. Тем же летом появились в «Вестнике Европы» четыре его стихотворения; таланта проблеск в них есть: «Если жизнь покажется горькой (кстати, обратим внимание на мнимо добавочный слог, „жизень“, — что чрезвычайно характерно для неуравновешенных русских поэтов из горемык: как бы знак того, что в жизни у них как раз и недостает того, что могло бы превратить ее в песнь), то, ее не коря, рассуди — ведь ты сам виноват, что родился с теплым, любящим сердцем в груди. Если ж ты не захочешь сознаться даже в столь очевидной вине…» (вот только эта строка звенит по-настоящему).

Совместное житье отца и сына было совместным адом. Чернышевский доводил Сашу до мучительных бессонниц нескончаемыми своими наставлениями (как «материалист» он имел изуверскую смелость полагать, что главная причина Сашиного расстройства — «жалкое материальное положение»), и сам так страдал, как даже не страдал в Сибири. Обоим вздохнулось легче,

когда зимой Саша уехал — сперва, кажется, в Гейдельберг с семьей ученика, потом в Петербург «по надобности посоветоваться с медиками». Мелкие, ложно-смешные несчастья продолжали сыпаться на него. Так, из письма матери (88 год) узнаем, что покамест «Саша изволил прогуливаться, дом, в котором он жил, сгорел», причем сгорело и все, что было у него; и уже совершенным бобылем он переселился на дачу Страннолюбского (отца критика?).

В 89 году Чернышевский получил разрешение переехать в Саратов. Какие бы чувства он при этом ни испытывал, они все равно были отравлены несносной семейной заботой: Саша, у которого всегда была болезненная страсть к выставкам, вдруг предпринял сумасброднейшую и счастливейшую поездку на пресловутую парижскую Exposition universelle[44], — сначала застряв в Берлине, куда пришлось ему выслать деньги на имя консула, с просьбой отправить его назад; какое! получив деньги, Саша добрался до Парижа, нагляделся «на дивное колесо, на гигантскую ажурную башню» — и опять очутился без гроша.

Лихорадочная работа Чернышевского над

---

[44] Примечания: 44
Всемирная выставка *(фр.)*.

глыбами Вебера (превращавшая его мозг в каторжный завод и являвшаяся, в сущности, величайшей насмешкой над человеческой мыслью) не покрывала неожиданных расходов, — и, день-деньской диктуя, диктуя, диктуя, он чувствовал, что больше не может — что историю мира не может больше обращать в рубли, — а тут еще мучил панический страх, что из Парижа Саша нагрянет в Саратов. 11-го октября он написал сыну, что мать ему посылает деньги на возвращение в Петербург, и — в который раз — посоветовал ему взять любую службу и исполнять все, что начальство велит делать: «Твои невежественные, нелепые назидания начальству не могут быть терпимы никакими начальниками» (так завершилась «тема прописей»). Продолжая дергаться и бормотать, он запечатал конверт и сам пошел на вокзал письмо отправить. По городу кружил жестокий ветер, который на первом же углу и продул легко одетого, торопящегося, сердитого старичка. На другой день, несмотря на жар, он перевел **восемнадцать** страниц убористого шрифта; 13-го хотел продолжать, но его уговорили бросить; 14-го у него начался бред: «Инга, инк… (вздох) совсем я расстроен… С новой строки… Если бы послать в Шлезвиг-Гольштейн

тысяч тридцать шведского войска, оно легко разобьет все силы датчан и овладеет… всеми островами, кроме разве Копенгагена, который будет защищаться упорно, но в ноябре, в скобках поставьте девятого числа, сдался и Копенгаген — точка с запятой; шведы превратили все население датской столицы в светлое серебро, отослали в Египет энергических людей патриотических партий… Да-с, да-с, так где ж это… С новой строки…» Так он бредил долго, от воображаемого Вебера перескакивая на какие-то воображаемые свои мемуары, кропотливо рассуждая о том, что «самая маленькая судьба этого человека решена, ему нет спасения… В его крови найдена хоть микроскопическая частичка гноя, судьба его решена…». О себе ли он говорил, в себе ли почувствовал эту частичку, тайно испортившую все то, что он за жизнь свою сделал и испытал? Мыслитель, труженик, светлый ум, населявший свои утопии армией стенографистов, — он теперь дождался того, что его **бред** записал секретарь. В ночь на 17-ое с ним был удар, — чувствовал, что язык во рту какой-то толстый; после чего вскоре скончался. Последними его словами (в 3 часа утра, 16-го) было: «Странное дело: в этой книге ни разу не упоминается о Боге». Жаль, что мы не

знаем, **какую** именно книгу он про себя читал.

Теперь он лежал, окруженный мертвыми томами Вебера; всем под руку попадался футляр с очками.

Шестьдесят один год минуло с того 1828 года, когда появились в Париже первые омнибусы и когда саратовский священник записал у себя в молитвеннике: «Июля 12-го дня поутру в 3-м часу родился сын Николай… Крещен поутру 13-го пред обеднею. Восприемники: протоиерей Фед. Стеф. Вязовский…» Эту фамилию впоследствии Чернышевский дал главному герою-чтецу своих сибирских новелл, — и, по странному совпадению, так или почти так (Ф. В……..ский) подписался неизвестный поэт, поместивший в журнале «Век» (1909 год, ноябрь) стихи, посвященные, по имеющимся у нас сведениям, памяти Н. Г. Чернышевского, — скверный, но любопытный сонет, который мы тут приводим полностью:

Что скажет о тебе далекий правнук твой,

то славя прошлое, то запросто ругая?

Что жизнь твоя была ужасна? Что другая

могла бы счастьем быть? Что ты не

ждал другой?

Что подвиг твой не зря свершался, – труд сухой
в поэзию добра попутно обращая
и белое чело кандальника венчая
одной воздушною и замкнутой чертой?

Глава пятая

Спустя недели две после выхода «Жизни Чернышевского» отозвалось первое, бесхитростное эхо. Валентин Линев (Варшава) написал так:

«Новая книга Бориса Чердынцева открывается **шестью** стихами, которые автор почему-то называет сонетом (?), а засим следует вычурно-капризное описание жизни известного Чернышевского.

Чернышевский, рассказывает автор, был сыном „добрейшего протоиерея“ (но когда и где родился, не сказано), окончил семинарию, а когда его отец, прожив святую жизнь, вдохновившую даже Некрасова, умер, мать отправила молодого человека учиться в Петербург, где он сразу, чуть ли не на вокзале, сблизился с тогдашними „властителями дум“, как их звали, Писаревым и Белинским. Юноша поступил в университет, занимался техническими изобретениями, много работал и имел первое романтическое приключение с Любовью Егоровной Лобачевской, заразившей его любовью к искусству. После одного столкновения на романтической почве с каким-то офицером в Павловске он, однако, принужден вернуться в

Саратов, где делает предложение своей будущей невесте, на которой вскоре и женится.

Он возвращается в Москву, занимается философией, участвует в журналах, много пишет (роман „Что нам делать“), дружит с выдающимися писателями своего времени. Постепенно его затягивает революционная работа, и после одного бурного собрания, где он выступает совместно с Добролюбовым и известным профессором Павловым, тогда еще совсем молодым человеком, Чернышевский принужден уехать за границу. Некоторое время он живет в Лондоне, сотрудничая с Герценом, но затем возвращается в Россию и сразу арестован. Обвиненный в подготовке покушения на Александра Второго, Чернышевский приговорен к смерти и публично казнен.

Вот вкратце история жизни Чернышевского, и все обстояло бы отлично, если б автор не нашел нужным снабдить свой рассказ о ней множеством ненужных подробностей, затемняющих смысл, и всякими длинными отступлениями на самые разнообразные темы. А хуже всего то, что, описав сцену повешения и покончив со своим героем, он этим не удовлетворяется и на протяжении еще многих неудобочитаемых страниц рассуждает о том, что было бы, если бы, — что, если бы Чер-

нышевский, например, был не казнен, а сослан в Сибирь, как Достоевский.

Автор пишет на языке, имеющем мало общего с русским. Он любит выдумывать слова. Он любит длинные запутанные фразы, как например: „Их сортирует (?) судьба в предвидении нужд (!!) биографа“, или вкладывает в уста действующих лиц торжественные, но не совсем грамотные сентенции, вроде „Поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением“».

Почти одновременно с этой увеселительной рецензией появился отзыв Христофора Мортуса (Париж), — так возмутивший Зину, что с тех пор у нее таращились глаза и напрягались ноздри всякий раз, как упоминалось это имя.

«Говоря о новом молодом авторе (тихо писал Мортус), обыкновенно испытываешь чувство некоторой неловкости: не собьешь ли его, не повредишь ли ему слишком „скользящим“ замечанием? Мне кажется, что в данном случае бояться этого нет основания. Годунов-Чердынцев новичок, правда, но новичок крайне самоуверенный, и сбить его, вероятно, нелегко. Не знаю, предвещает ли какие-либо дальнейшие „достижения“ только что вышедшая книга, но если это

начало, то его нельзя признать особенно утешительным.

Оговорюсь. Собственно, совершенно неважно, удачно ли или нет произведение Годунова-Чердынцева. Один пишет лучше, другой хуже, и всякого в конце пути поджидает Тема, которой „не избежит никто“. Вопрос, мне кажется, совсем в другом. Безвозвратно прошло то золотое время, когда критика или читателя могло в первую очередь интересовать „художественное“ качество или точная степень талантливости книги. Наша литература, — я говорю о настоящей, „несомненной“ литературе, — люди с безошибочным вкусом меня поймут, — сделалась проще, серьезнее, суше, — за счет искусства, может быть, но зато (в некоторых стихах Циповича, Бориса Барского, в прозе Коридонова…) зазвучала такой печалью, такой музыкой, таким „безнадежным“ небесным очарованием, что, право же, не стоит жалеть о „скучных песнях земли“.

Сама по себе затея написать книжку о выдающемся деятеле шестидесятых годов ничего предосудительного в себе не содержит. Ну, написал, ну, вышла в свет, — выходили в свет и не такие книги. Но общее настроение автора, „атмосфера“ его мысли, внушает странные и

неприятные опасения. Я не стану говорить о том, насколько своевременно или нет появление такой книги. Что ж, — никто не может запретить человеку писать о чем ему угодно! Но мне кажется, — и не я один так чувствую, — что в основе произведения Годунова-Чердынцева лежит нечто, по существу глубоко бестактное, нечто режущее и оскорбительное… Его право, конечно (хотя и с этим можно было бы поспорить), так или иначе отнестись к „шестидесятникам“, но, „разоблачая“ их, он во всяком чутком читателе не может не возбудить удивления и отвращения. Как это все некстати! как это все невпопад! Постараюсь уточнить. Из-за того, что именно сейчас, именно сегодня производится эта безвкусная операция, тем самым задевается то значительное, горькое, трепетное, что зреет в катакомбах нашей эпохи. О, разумеется, — „шестидесятники“, и в частности Чернышевский, высказывали немало ошибочного и, может быть, смешного в своих литературных суждениях. Кто в этом не грешен, да и не такой уж это грех… Но в общем „тоне“ их критики сквозила какая-то истина, — истина, которая, как это ни кажется парадоксально, стала нам близка и понятна именно сегодня, именно сейчас. Я говорю не о нападках на взяточников

и не о женской эмансипации… Дело не в этом, конечно! Мне кажется, что я буду верно понят (поскольку вообще другой может быть понят), если скажу, что в каком-то последнем и непогрешимом смысле наши и их требования совпадают. О, я знаю, — мы тоньше, духовнее, „музыкальнее“, и наша конечная цель, — под тем сияющим черным небом, под которым струится жизнь, — не просто „община“ или „низвержение деспота“. Но и нам, как и им, Некрасов и Лермонтов, особенно последний, ближе, чем Пушкин. Беру именно этот простейший пример, потому что он сразу определяет наше с ними свойство, если не родство. То холодноватое, хлыщеватое, „безответственное“, что ощущалось ими в некоторой части пушкинской поэзии, слышится и нам. Мне могут возразить, что мы умнее, восприимчивее… Не спорю; но, в сущности, ведь дело вовсе не в „рационализме“ Чернышевского (или Белинского, или Добролюбова, имена и даты тут роли не играют), а в том, что тогда, как и теперь, люди, духовно передовые, понимали, что одним „искусством“, одной „лирой“ сыт не будешь. Мы, изощренные, усталые правнуки, тоже хотим прежде всего человеческого; мы требуем ценностей, необходимых душе. Эта „польза“ возвышеннее, может

быть, но в каком-то отношении даже и насущнее той, которую проповедовали они.

Я отклонился от прямой темы моей статьи. Но ведь иногда можно гораздо точнее и подлиннее высказаться, бродя „около темы“, в ее плодотворных окрестностях… В сущности говоря, разбор всякой книги нелеп и бесцелен, да кроме того, нас занимает не выполнение „авторского задания“ и не самое даже „задание“, а лишь отношение к нему автора.

И еще: так ли уж нужны эти экскурсии в область прошлого с их стилизованными дрязгами и искусственно оживленным бытом? Кому важно знать, как Чернышевский вел себя с женщинами? В наше горькое, нежное, аскетическое время нет места для такого рода озорных изысканий, для праздной литературы, не лишенной к тому же какого-то надменного задора, который самого благосклонного читателя может только оттолкнуть».

После этого посыпалось. Профессор Пражского университета Анучин (известный общественный деятель, человек сияющей нравственной чистоты и большой личной смелости: это был тот профессор Анучин, который в 1922 году, незадолго до высылки, когда наганно-кожаные личности

пришли его арестовать, но, заинтересовавшись коллекцией древних монет, замешкались с его уводом, — спокойно сказал, указав на часы: «Господа, история не ждет») напечатал в толстом журнале, выходившем в Париже, обстоятельный разбор «Жизни Чернышевского».

«В прошлом году (писал он) вышла замечательная книга проф. Боннского университета Отто Ледерера (Otto Lederer) „Три деспота (Александр Туманный, Николай Хладный, Николай Скучный)“. Движимый страстной любовью к свободе человеческого духа и горячей ненавистью к попиравшим его, автор бывал в иных своих оценках несправедлив, — вовсе не учтя, например, того пафоса российской государственности, который мощной плотью облек символ трона; но излишний пыл и даже ослепление в процессе порицания зла всегда понятнее и простительнее, чем малейшая насмешка, как бы она ни была остроумна, над тем, что ощущается обществом как объективное благо. Однако именно этот второй путь, путь эклектической язвительности, избран господином Годуновым-Чердынцевым в его трактовке жизни и творчества Н. Г. Чернышевского.

Автор, несомненно, основательно и по-своему добросовестно ознакомился с предметом;

несомненно также, что у него талантливое перо: некоторые высказываемые им мысли и сопоставления мыслей, несомненно, находчивы; но со всем этим его книга отвратна. Попробуем спокойно разобраться в этом впечатлении.

Взята известная эпоха, и выбран один из ее представителей. Но усвоено ли автором понятие „эпоха“? Нет. Прежде всего у него совершенно не чувствуется сознание той **классификации времени**, без коей история превращается в произвольное вращение пестрых пятен, в какую-то импрессионистическую картину с фигурой пешехода вверх ногами на несуществующем в природе зеленом небе. Но в этом приеме (уничтожающем, кстати сказать, всякую научную ценность данного труда, несмотря на щегольскую эрудицию) все-таки не главная ошибка автора. Главная его ошибка в том, **как** он изображает Чернышевского.

Совсем не важно, что Чернышевский хуже разбирался в вопросах поэзии, чем современный молодой эстет. Совсем не важно, что в своей философской концепции он чуждался тех трансцендентальных тонкостей, которые господину Годунову-Чердынцеву приятны. А важно то, что, каков бы ни был взгляд Чернышевского на

искусство и науку, это было мировоззрение передовых людей его эпохи, неразрывно к тому же связанное с развитием общественной мысли, с ее жаром и благотворной деятельной силой. Вот в этом аспекте, при этом единственно правильном свете, строй мыслей Чернышевского приобретает значительность, далеко превышающую смысл тех беспочвенных, ничем не связанных с эпохой шестидесятых годов доводов, которыми орудует господин Годунов-Чердынцев, ядовито высмеивая своего героя.

Но издевается он, впрочем, не только над героем, — издевается он и над читателем. Как иначе квалифицировать то, что среди известных авторитетов приводится авторитет несуществующий, к которому автор будто апеллирует? В каком-то смысле можно было бы если не простить, то по крайней мере научно понять глумление над Чернышевским, если бы господин Годунов-Чердынцев был горячим сторонником именно тех, кто Чернышевского преследовал. Это была бы по крайней мере какая-то точка зрения, и, читая рассматриваемый труд, читатель делал бы постоянную поправку на партийную точку зрения автора, тем самым добывая себе истину. Но горе в том, что у господина Годунова-Чердынцева не на

что сделать поправку, а точка зрения — „всюду и нигде“; мало того, — как только читателю кажется, что, спускаясь по течению фразы, он наконец вплыл в тихую заводь, в область идей, противных идеям Чернышевского, но кажущихся автору положительными, а потому могущих явиться некоторой опорой для читательских суждений и руководства, автор дает ему неожиданного щелчка, выбивает из-под его ног мнимую подставку, так что опять неизвестно, на чьей же стороне господин Годунов-Чердынцев в своем походе на Чернышевского, — на стороне ли поклонников искусства для искусства, или правительства, или каких-то других врагов Чернышевского, читателю неизвестных. Что же касается издевательства над самим героем, тут автор переходит всякую меру. Нет такой отталкивающей подробности, которой он бы погнушался. Он, вероятно, ответит, что все эти подробности находятся в „Дневнике“ молодого Чернышевского; но там они на своем месте, в своей среде, в должных порядке и перспективе, среди многих других мыслей и чувств, гораздо их ценнейших. Но автор выудил и сложил именно их, как если бы кто-нибудь пожелал восстановить образ человека путем лишь кропотливого собирания обрезков его волос, ногтей

и телесных выделений.

Иными словами, автор на протяжении всей своей книги всласть измывается над личностью одного из чистейших, доблестнейших сынов либеральной России, — не говоря о попутных пинках, которыми он награждает других русских передовых мыслителей, уважение к которым является в нашем сознании имманентной частью их исторической сущности. В его книге, находящейся абсолютно вне гуманитарной традиции русской литературы, а потому вне литературы вообще, фактической неправды нет (если не считать вышеприведенного „Страннолюбского“, двух-трех сомнительных мелочей да нескольких описок), но та „правда“, которая в ней заключается, хуже самой пристрастной лжи, ибо **такая** правда идет вразрез с той благородной и целомудренной правдой (отсутствие которой лишает историю того, что великий грек назвал „тропотос“), которая является одним из неотъемлемых сокровищ русской общественной мысли. В наши дни, слава Богу, книг на кострах не сжигают, но приходится признать, что, если бы такой обычай еще существовал, книга господина Годунова-Чердынцева могла бы справедливо считаться первой кандидаткой в площадное топливо».

Затем в альманахе «Башня» выступил Кончеев. Он начал с того, что привел картину бегства во время нашествия или землетрясения, когда спасающиеся уносят с собой все, что успевают схватить, причем непременно кто-нибудь тащит с собой большой, в раме, портрет давно забытого родственника. «Вот таким портретом (писал Кончеев) является для русской интеллигенции и образ Чернышевского, который был стихийно, но случайно унесен в эмиграцию вместе с другими, более нужными вещами», — и этим Кончеев объяснял stupé-faction[45], вызванную появлением книги Федора Константиновича («кто-то вдруг взял и отнял портрет»). Далее, покончив раз навсегда с соображениями идейного порядка и принявшись за рассмотрение книги как произведения искусства, Кончеев стал хвалить ее так, что, читая, Федор Константинович почувствовал, как вокруг его лица собирается некое горячее сияние, а по рукам бежит ртуть. Статья заканчивалась следующими словами: «Увы! За рубежом вряд ли наберется и десяток людей, способных оценить огонь и прелесть этого сказочно-остроумного сочинения; и я бы утверждал, что сейчас в России

[45] Примечания: 45
Изумление *(фр.)*.

и одного ценителя не найдется, не доведись мне знать о существовании целых двух таких, одного живущего на Петербургской стороне, другого — где-то в далекой ссылке».

Монархический орган «Восшествие» посвятил «Жизни Чернышевского» заметку, в которой указывалось, что всякий смысл и ценность разоблачения «одного из идеологических дядек большевизма» совершенно подрывается «дешевым либеральничанием автора, всецело переходящего на сторону своего плачевного, но вредного героя, как только долготерпеливый Русский Царь наконец ссылает его в места не столь отдаленные». «И вообще, — добавлял автор заметки, Петр Левченко, — давным-давно пора бросить писать о каких-то там жестокостях „царистского режима“ по отношению к никому не интересным „светлым личностям“. Красное масонство только обрадуется „труду“ господина Годунова-Чердынцева. Прискорбно, что носитель такой фамильи занимается воспеванием „общественных идеалов“, давно обратившихся в грошовые идолы».

В «большевизанствующей» газете «Пора» (это была та, которую берлинская «Газета» неизменно называла «рептилией»), в статье о праздновании

столетней годовщины рождения Чернышевского, в конце говорилось так: «В богоспасаемой нашей эмиграции тоже зашевелились: некто Годунов-Чердынцев с армейской развязностью поспешил сбить книжонку, натаскав туда материала откуда ни попало и выдав свой гнусный поклеп за „Жизнь Чернышевского“. Какой-то пражский профессор поспешил найти эту работу „талантливой и добросовестной“, и все дружно подхватили. Написана она лихо и по своему внутреннему стилю ничем не отличается от васильевских передовиц о „Близком конце большевизма“».

Последнее было особенно мило в связи с тем, что в своей «Газете» Васильев решительно воспротивился какому-либо упоминанию о книге Федора Константиновича, причем честно сказал ему (хотя тот ни о чем не спрашивал), что, не будь он с ним в добрых отношениях, поместил бы такую статью, после которой от автора «Жизни Чернышевского» «мокрого места бы не осталось». Словом, вокруг книги создалась хорошая, грозовая атмосфера скандала, повысившая на нее спрос, а вместе с тем, несмотря на нападки, имя Годунова-Чердынцева сразу, как говорится, выдвинулось и, поднявшись над пестрой бурей критических толков, утвердилось у всех на виду,

ярко и прочно. Но был один человек, мнение которого Федор Константинович узнать не мог. Александр Яковлевич Чернышевский умер незадолго до выхода книги.

Когда однажды французского мыслителя Delalande на чьих-то похоронах спросили, почему он не обнажает головы (ne se découvre pas), он отвечал: «Я жду, чтобы смерть начала первая» (qu'elle se découvre la première). В этом есть метафизическая негалантность, но смерть большего не стоит. Боязнь рождает благоговение, благоговение ставит жертвенник, его дым восходит к небу, там принимает образ крыл, и склоненная боязнь к нему обращает молитву. Религия имеет такое же отношение к загробному состоянию человека, какое имеет математика к его состоянию земному: то и другое только условия игры. Вера в Бога и вера в цифру: местная истина, истина места. Я знаю, что смерть сама по себе никак не связана с внежизненной областью, ибо дверь есть лишь выход из дома, а не часть его окрестности, какой является дерево или холм. Выйти как-нибудь нужно, «но я отказываюсь видеть в двери больше, чем дыру да то, что сделали столяр и плотник» (Delalande, Discours sur les ombres p. 45 et ante). Опять же: несчастная маршрутная

мысль, с которой давно свыкся человеческий разум (жизнь в виде некоего пути), есть глупая иллюзия: мы никуда не идем, мы сидим дома. Загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо окна — зеркало; дверь до поры до времени затворена; но воздух входит сквозь щели. «Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего постижения окрестности, долженствующей раскрыться нам по распаде тела, это — освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря: сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии» (там же, стр. 64). Но все это только символы, символы, которые становятся обузой для мысли в то мгновение, как она приглядится к ним…

Нельзя ли как-нибудь понять проще, духовно удовлетворительнее, без помощи сего изящного афея, как и без помощи популярных верований? Ибо в религии кроется какая-то подозрительная общедоступность, уничтожающая ценность ее откровений. Если в небесное царство входят нищие духом, представляю себе, как там весело. Достаточно я их перевидал на земле. Кто еще

составляет небесное население? Тьма кликуш, грязных монахов, много розовых близоруких душ протестантского, что ли, производства, — какая смертная скука! У меня высокая температура четвертый день, и я уже не могу читать. Странно, мне раньше казалось, что Яша всегда около меня, что я научился общению с призраками, а теперь, когда я, может быть, умираю, эта вера в призраки мне кажется чем-то земным, связанным с самыми низкими земными ощущениями, а вовсе не открытием небесной Америки.

Как-нибудь проще. Как-нибудь проще. Как-нибудь сразу! Одно усилие — и все пойму. Искание Бога: тоска всякого пса по хозяину; дайте мне начальника, и я поклонюсь ему в огромные ноги. Все это земное. Отец, директор гимназии, ректор, хозяин предприятия, царь, Бог. Цифры, цифры, — и ужасно хочется найти самое-самое большое число, дабы все другие что-нибудь значили, куда-нибудь лезли. Нет, этим путем упираешься в ватные тупики, — и все становится неинтересным.

Конечно, я умираю. Эти клещи сзади, эта стальная боль совершенно понятны. Смерть берет за бока, подойдя сзади. А я ведь всю жизнь думал о смерти, и если жил, то жил всегда на полях этой

книги, которую не умею прочесть. Кто это был? Давным-давно в Киеве… Как его звали, Боже мой? Брал в библиотеке книгу на неизвестном ему языке, делал на ней пометки и оставлял лежать, чтобы гость думал: знает по-португальски, по-арамейски. Ich habe dasselbe getan[46]. Счастье, горе — восклицательные знаки en marge[47], а контекст абсолютно неведом. Хорошее дело.

Страшно больно покидать чрево жизни. Смертный ужас рождения. L'enfant qui naît ressent les affres de sa mère[48]. Бедный мой Яшенька! Очень странно, что, умирая, я удаляюсь от него, когда, казалось бы, напротив, — всё ближе, ближе… Его первое слово было: муха. И сразу потом — звонок из полиции: опознать тело. Как я его теперь оставлю? В этих комнатах… Некому будет являться — в обоих смыслах. Она ведь все равно не увидит… Бедная Сашенька. Сколько? Пять тысяч восемьсот… И еще те… итого… А потом? Боря поможет, — а может быть, и не поможет.

…Ничего, в общем, в жизни и не было, кроме

---

[46] Примечания: 46
Я сделал то же самое *(нем.)*.

[47] Примечания: 47
На полях *(фр.)*.

[48] Примечания: 48
Ребенок, появляющийся на свет, чувствует муки своей матери *(фр.)*.

подготовки к экзамену, к которому все равно подготовиться нельзя. «Ужу, уму — равно ужасно умирать». Неужели все мои знакомые это проделают? Невероятно! Eine alte Geschichte[49]: название фильма, который мы с Сашей смотрели накануне его смерти.

О, нет. Ни за что. Она может уговаривать сколько угодно. Или это она вчера уговаривала? Или давным-давно? Ни в какие больницы меня не увезут. Я буду здесь лежать. Довольно было больниц. Опять сойти с ума перед самым концом, — нет, ни за что. Я останусь здесь. Как трудно ворочать мысли: бревна. Я слишком плохо себя чувствую, чтобы умирать.

«О чем он писал книгу, Саша? Ну скажи, ты помнишь! Говорили об этом. О каком-то священнике, — нет? Ну, ты никогда ничего… Плохо, трудно…»

После этого он уже почти не говорил, впав в состояние сумеречное; Федор Константинович был допущен к нему и навсегда запомнил седую щетину на впалых щеках, потускневшую лысину и руку в серой экземе, шевелившуюся как рак на простыне. На другой день он умер, но перед тем

---

[49] Примечания: 49
Старая история *(нем.)*.

пришел в себя, жаловался на мучения и потом сказал (в комнате было полутемно из-за спущенных штор): «Какие глупости. Конечно, ничего потом нет». Он вздохнул, прислушался к плеску и журчанию за окном и повторил необыкновенно отчетливо: «Ничего нет. Это так же ясно, как то, что идет дождь».

А между тем за окном играло на черепицах крыш весеннее солнце, небо было задумчиво и безоблачно, и верхняя квартирантка поливала цветы по краю своего балкона, и вода с журчанием стекала вниз.

В витрине похоронного бюро на углу Кайзер-аллее была выставлена в виде приманки (как Кук выставляет модель Пульмана) макета крематорской постановки: ряды стульчиков перед крохотной кафедрой, на них сидящие куколки величиной с согнутый мизинец, и впереди, немножко отдельно, можно было различить вдовицу по квадратному сантиметру платочка, поднятого к лицу. Немецкая соблазнительность этой макетки всегда смешила Федора Константиновича, а потому было слегка противно войти в крематорий настоящий, где из-под лавров в кадках по-настоящему опускался при звуках многопудовой органной музыки гроб с телом в

образцовую преисподнюю, прямо в печь. Чернышевская платка не держала, а сидела неподвижно и прямо, с мерцающими сквозь черный флер глазами. У друзей и знакомых было на лицах обычное в таких случаях настороженное выражение: подвижность зрачков при некоторой напряженности шейных мускулов. Адвокат Чарский искренне сморкался; Васильев, имевший, как общественный деятель, большой траурный опыт, внимательно следил за паузами пастора (Александр Яковлевич в последнюю минуту оказался лютеранином). Инженер Керн бесстрастно поблескивал стеклами пенснэ; Горяинов все высвобождал из воротничков полную шею, но до покашливания не доходил; дамы, бывавшие у Чернышевских, сидели все вместе; вместе сидели и писатели — Лишневский, Шахматов, Ширин; было много людей, Федору Константиновичу незнакомых — например, чопорный господин с белокурой бородкой и необыкновенно красными губами (кажется, двоюродный брат покойного) да какие-то немцы с цилиндрами на коленях, деликатно сидевшие в последнем ряду.

По окончании церемонии присутствующие должны были, по замыслу крематорского распорядителя, подходить по одному к вдове со

словами соболезнования, но Федор Константинович решил этого избежать и вышел на улицу. Все было мокро, солнечно и как-то обнаженно-ярко; на черном, отороченном молодой травой футбольном поле девочки в трусиках занимались гимнастикой. За серым с гуттаперчевым отливом куполом крематория виднелись бирюзовые вышки мечети, а по другую сторону площади блестели зеленые луковки белой, псковского вида, церкви, недавно выросшей вверх из углового дома и казавшейся почти обособленной благодаря зодческому камуфляжу. На террасе у входа в парк два скверных бронзовых боксера, тоже недавно поставленных, застыли в позах, совершенно противных взаимной гармонии кулачного боя: вместо его собранно-горбатой, кругло-мышечной грации получились два голых солдата, повздорившие в бане. С открытого места за деревьями пущенный змей высоко в лазури стоял румяным ромбиком. С удивлением, с досадой Федор Константинович замечал невозможность остановить свою мысль на образе только что испепеленного, испарившегося человека; он старался сосредоточиться, представить себе недавнюю теплоту их живых отношений, но душа не желала шевелиться, а лежала, сонная и

зажмуренная, довольная своей клеткой. Заторможенный стих из «Короля Лира», состоящий целиком из пяти «never»[50], — вот все, что ему приходило на ум. «Ведь я никогда его не увижу больше», — несамостоятельно думал он, — но этот прутик ломался, души не сдвинув. Он старался думать о смерти, и вместо этого думал о том, что мягкое небо, с бледной и нежной, как сало, полосой улегшегося слева облака, было бы похоже на ветчину, будь голубизна розовостью. Он старался представить себе какое-то продление Александра Яковлевича за углом жизни — и тут же примечал, как за стеклом чистильно-гладильной под православной церковью с чертовской энергией, с избытком пара, словно в аду, мучат пару плоских мужских брюк. Он старался в чем-то покаяться перед Александром Яковлевичем, хотя бы в дурной мальчишеской мысли, мелькавшей прежде (о неприятном сюрпризе, который он ему готовил своей книгой), — и вдруг вспоминал пошлый пустяк: как Щеголев говорил по какому-то поводу: «Когда у меня умирают добрые знакомые, невольно думаю, что они там похлопочут о моей здешней судьбе, — го-го-го!». Это было смутное,

[50] Примечания: 50
Никогда *(англ.)*.

слепое состояние души, непонятное ему, как вообще все было непонятно, от неба до желтого трамвая, гремевшего по раскату Гогенцоллерндама (по которому некогда Яша Чернышевский ехал на смерть), но постепенно досада на самого себя проходила, и с каким-то облегчением — точно ответственность за его душу принадлежала не ему, а кому-то знающему, в чем дело, — он чувствовал, что весь этот переплет случайных мыслей, как и все прочее, швы и просветы весеннего дня, неровности воздуха, грубые, так и сяк скрещивающиеся нити неразборчивых звуков — не что иное, как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее **лицевой** стороне.

Он очутился около бронзовых боксеров, вокруг которых на клумбе зыбились бледные с черным анютины глазки, личиками похожие несколько на Чарли Чаплина, и сел на ту скамейку, где ночами раза два сиживал с Зиной, — ибо за последнее время какое-то беспокойство вынесло их далеко за пределы тихой, темной улицы, где они укрывались сначала. По соседству сидела женщина, вязавшая на спицах; рядом с ней маленький ребенок, весь в голубой шерсти, сверху кончавшейся помпоном на колпачке, а снизу

штрипочками, утюжил скамейку игрушечным танком, в кустах кричали воробьи, изредка все вместе совершавшие налеты на газон, на бронзу; липко пахло тополевыми почками, а далеко за площадью круглый крематорий имел теперь сытый, облизанный вид. Издали Федор Константинович мог видеть маленькие фигуры расходившихся… он даже различил, как кто-то подвел Александру Яковлевну к макетному автомобилю (завтра нужно будет зайти к ней), и как у остановки трамвая набралась кучка знакомых, как их скрыл остановившийся на мгновение трамвай, и как с легкостью фокуса они исчезли по отводе заслонки.

Федор Константинович собрался было восвояси, когда его сзади окликнул шепелявый голос: он принадлежал Ширину, автору романа «Седина» (с эпиграфом из книги Иова), очень сочувственно встреченного эмигрантской критикой. («Господи, отче — —? По Бродвею, в лихорадочном шорохе долларов, гетеры и дельцы в гетрах, дерясь, падая, задыхаясь, бежали за золотым тельцом, который, щуршащими боками протискиваясь между небоскребами, обращал к электрическому небу изможденный лик свой и выл. В Париже, в низкопробном притоне, старик Лашез, бывший

пионер авиации, а ныне дряхлый бродяга, топтал сапогами старуху проститутку Буль-де-Сюиф. Господи, отчего — —? Из московского подвала вышел палач и, присев у конуры, стал тюлюкать мохнатого щенка: „Махонький, — приговаривал он, — махонький…“ В Лондоне лорды и лэди танцовали джимми и распивали коктайль, изредка посматривая на эстраду, где на исходе восемнадцатого ринга огромный негр кнок-оутом уложил на ковер своего белокурого противника. В арктических снегах, на пустом ящике из-под мыла сидел путешественник Эриксен и мрачно думал: „Полюс или не полюс?..“ Иван Червяков бережно обстригал бахрому единственных брюк. Господи, отчего Вы дозволяете все это?») Сам Ширин был плотный, коренастый человек, с рыжеватым бобриком, всегда плохо выбритый, в больших очках, за которыми, как в двух аквариумах, плавали два маленьких, прозрачных глаза, совершенно равнодушных к зрительным впечатлениям. Он был слеп как Мильтон, глух как Бетховен, и глуп как бетон. Святая ненаблюдательность (а отсюда — полная неосведомленность об окружающем мире — и полная неспособность что-либо именовать) — свойство, почему-то довольно часто встречающееся у русского литератора-середня-

ка, словно тут действует некий благотворный рок, отказывающий бесталанному в благодати чувственного познания, дабы он зря не изгадил материала. Бывает, конечно, что в таком темном человеке играет какой-то собственный фонарик, — не говоря о том, что известны случаи, когда по прихоти находчивой природы, любящей неожиданные приспособления и подмены, такой внутренний свет поразительно ярок — на зависть любому краснощекому таланту. Но даже Достоевский всегда как-то напоминает комнату, в которой днем горит лампа.

Сейчас, идя вместе с Ширим через парк, Федор Константинович бескорыстно наслаждался смешной мыслью, что его спутник — глухой слепец с заткнутыми ноздрями, но к этому состоянию относится совершенно равнодушно, хотя иногда не прочь наивно вздохнуть о разобщенности интеллигента с природой: недавно Лишневский рассказывал, что Ширин назначил ему деловое свидание в Зоологическом саду и, когда, после часового разговора, Лишневский случайно обратил его внимание на клетку с гиеной, обнаружилось, что тот едва ли сознавал, что в Зоологическом саду бывают звери, а вскользь посмотрев на клетку, машинально заметил: «Плохо, плохо наш

брат знает мир животных», — и сразу продолжал обсуждать то, что его особенно в жизни волновало: деятельность и состав Правления Общества Русских Литераторов в Германии. И теперь он находился в крайней степени этого волнения, так как «назревало некоторое событие».

Председателем Правления был Георгий Иванович Васильев, да и все предопределяло это: его досоветская известность, многолетняя редакторская деятельность, а главное — та непреклонная почти грозная честность, которой имя его славилось; дурной же характер, полемическая резкость и, при громадном общественном опыте, полное незнание людей честности этой не только не вредили, а, наоборот, — придавали ей некую приятную терпкость. Недовольство Ширина было направлено не против него, а против остальных пяти членов правления — во-первых, потому, что ни один (как, впрочем, и две трети всего состава Союза) не имел профессионального касательства к перу, а во-вторых, потому, что трое из них (в том числе казначей и товарищ председателя) были — если не прямыми мошенниками, как пристрастно утверждал Ширин, — то, во всяком случае, **филомелами** в своих стыдливых, но изобретательных делах. Вот уже несколько

времени, как началась довольно забавная (по мнению Федора Константиновича) и абсолютно неприличная (по терминологии Ширина) история с кассой Союза. Всякий раз, как поступало от какого-нибудь члена прошение о пособии или ссуде (различие между коими было приблизительно такое, как между арендой на девяносто девять лет и пожизненным владением), начиналась погоня за этой кассой, делавшейся при попытке ее нагнать до странности текучей и беспредметной, словно она всегда находилась где-то на полпути между тремя точками, представляемыми казначеем и двумя членами правления. Погоня затруднялась тем, что Васильев давно с этими тремя членами не разговаривал, отказываясь даже сноситься с ними письменно, и последнее время выплачивал ссуды и пособия из собственных средств, предоставляя другим добывать деньги из Союза для возвращения ему. В конце концов деньги эти по кусочкам выцарапывались, но тогда оказывалось, что казначей у кого-то взял в долг, так что призрачное состояние казны от этого не менялось. Члены Союза, особенно часто обращавшиеся за помощью, начали заметно нервничать. Через месяц созывалось общее собрание, и Ширин подготовил к нему

план решительного действия.

«Было время, — сказал он, шагая с Федором Константиновичем по аллее и машинально следуя ее лукаво ненавязчивому завороту, — было время, когда в правление нашего Союза входили все люди высокопорядочные, вроде Подтягина, Лужина, Зиланова, но одни умерли, другие в Париже. Каким-то образом просочился Гурман, а затем постепенно втащил приятелей. Для этой тройки полная апатия добрейших — я ничего не говорю, — но совершенно инертных Керна и Горяинова (это же две глиняные глыбы!) — только прикрытие, блиндаж. А натянутые отношения с Георгием Ивановичем являются залогом и его бездеятельности. Во всем этом виноваты мы, члены Союза. Если бы не наша лень, беспечность, неорганизованность, равнодушное отношение к Союзу, вопиющая неприспособленность к общественной работе, то никогда бы не случилось, что из года в год Гурман со товарищи выбирали себя самих или себе удобных. Пора положить этому конец. На ближайших выборах будет, как всегда, циркулировать их список… А мы тут пустим наш, стопроцентно профессиональный: председатель Васильев, товарищ председателя Гец, члены: Лишневский, Шахматов, Владимиров, вы и я, —

ну и ревизионную комиссию составим по-новому, тем более что Беленький и Чернышевский из нее выбыли».

«Нет уж, пожалуйста, — сказал Федор Константинович (мельком полюбовавшись ширинским определением смерти), — на меня не рассчитывайте. Ни в какие правления никогда в жизни не войду».

«Перестаньте! — воскликнул Ширин, поморщившись. — Это недобросовестно».

«Напротив, очень добросовестно. И вообще — если я член Союза, то это по рассеянности. Честно говоря, Кончеев прав, что держится от всего этого в стороне».

«Кончеев, — сказал Ширин сердито. — Кончеев — никому не нужный кустарь-одиночка, абсолютно лишенный каких-либо общих интересов. А вы уж потому должны интересоваться судьбой Союза, что, простите за прямоту, берете оттуда деньги».

«Вот именно, вот именно! Сами понимаете, что если войду в правление, то выдавать себе самому будет невозможно».

«Что вы фантазируете? Почему невозможно? Это вполне законная процедура. Будете просто вставать и удаляться в уборную, на минуту пре-

вращаясь, так сказать, в рядового члена, пока обсуждается коллегами ваше прошение. Все это пустые отговорки, которые вы сейчас придумали».

«Как ваш новый роман? — спросил Федор Константинович. — Подходит к концу?»

«Дело сейчас не в моем романе. Я вас очень прошу дать свое согласие. Нужны молодые силы. Этот список мы с Лишневским обдумывали без конца».

«Ни за что, — сказал Федор Константинович. — Не хочу валять дурака».

«Ну, если вы называете общественный долг валянием дурака…»

«Если войду в правление, то валять буду непременно, так что отказываюсь как раз из уважения к долгу».

«Очень печально, — сказал Ширин. — Неужели придется вместо вас взять Ростислава Странного?»

«Конечно! Чудно! Обожаю Ростислава».

«Я, собственно, его отложил для ревизионной комиссии. Есть еще, конечно, Буш… Но вы все-таки еще подумайте. Дело не пустяковое. Будет настоящее сражение с этими разбойниками. Я такое выступление готовлю, что ой-ё-ёй. Поду-

майте, подумайте, у вас есть еще целый месяц».

За этот месяц вышла книга Федора Константиновича и успело появиться два-три отзыва о ней, так что на общее собрание он отправился с приятным чувством, что увидит там не одного врага-читателя. Происходило оно, как всегда, в верхнем помещении большого кафе, и, когда он пришел, все уже были в сборе. Феноменально проворный кельнер со стреляющими глазами разносил пиво и кофе. За столиками расположились члены Союза. Чистые литераторы теснились вместе, и уже слышалось энергичное «псст, псст» Шахматова, которому подали не то, что он заказал. В глубине, за длинным столом, сидело правление: грузный, чрезвычайно мрачный Васильев, с инженером Керном и Горяиновым одесную и тремя другими ошую. Керн, занимавшийся главным образом турбинами, но когда-то близко знавший Александра Блока, и бывший чиновник бывшего департамента Горяинов, прекрасно читавший «Горе от Ума», а также диалог Иоанна с литовским послом (причем великолепно подделывал польский акцент), держались с тихим достоинством, давно, впрочем, предав своих трех неправедных коллег. Из этих Гурман (ударение на первом слоге) был толстый,

лысый человек, с кофейным родимым пятном в полчерепа, большими покатыми плечами и презрительно-обиженным выражением на толстых лиловатых губах. Его прикосновенность к литературе исчерпывалась недолгим и всецело коммерческим отношением к какому-то немецкому издательству технических справочников; главной же темой его личности, фабулой его существования, была спекуляция, — особенно он увлекался советскими векселями. Рядом с ним сидел маленький, но крепко-упругий присяжный поверенный, с выдающейся челюстью, волчьим огоньком в правом глазу (другой был от природы прищурен) и целым складом металла во рту, — человек бойкий, горячий, своего рода бретер, постоянно привлекавший людей к третейскому суду, причем об этом говорил (я его вызвал, он отказался) с чеканной суровостью испытанного дуэлянта. Второй приятель Гурмана, рыхлый, серый, томный, в роговых очках, похожий всем обликом на мирную жабу, которая желает только одного — чтобы ее оставили совершенно в покое на сыром месте, — когда-то куда-то давал заметки по экономическим вопросам, — хотя злоязычный Лишневский даже и в этом ему отказывал, клянясь, что единственным его печатным про-

изведением было письмо в редакцию одесской газеты, в котором он возмущенно отмежевывался от неблаговидного однофамильца, оказавшегося впоследствии его родственником, затем — его двойником, и наконец — им самим, словно тут действовал неотвратимый закон капельного притяжения и слияния.

Федор Константинович сел между Шахматовым и Владимировым, около широкого окна, за которым мокро чернела блестящая ночь, со световыми рекламами двух оттенков (на большее число не хватило берлинского воображения), озонно-лазурного и портвейно-красного, и с гремящим, многооконным, отчетливо-быстро озаренным снутри электрическим поездом, скользившим над площадью по виадуку, в пролеты которого внизу тыкался и все не мог найти лазейку медленный, скрежещущий трамвай.

Между тем председатель правления встал и предложил выбрать председателя собрания, и тогда с разных мест понеслось: «Краевич, просим, Краевич...» — и профессор Краевич (ничего общего не имевший с составителем учебника физики, — он был профессором международного права), подвижной, угловатый старик в вязаном жилете и разлетающемся пиджаке, необычайно

быстро, держа левую руку в кармане штанов, а правой подкидывая пенснэ на шнурке, пронесся к столу президиума, опустился между Васильевым и Гурманом (который медленно и угрюмо вкручивал папиросу в янтарный мундштук), тотчас вытянулся опять и объявил собрание открытым.

«Интересно бы знать, — подумал Федор Константинович, искоса взглянув на Владимирова, — прочел ли он уже?..» Владимиров опустил свой стакан и посмотрел на Федора Константиновича, но не произнес ничего. Под пиджаком у него был спортивный свитер с оранжево-черной каймой по вырезу, убыль волос по бокам лба преувеличивала его размеры, крупный нос был, что называется, с костью, неприятно блестели серовато-желтые зубы из-под слегка приподнятой губы, глаза смотрели умно и равнодушно, — кажется, он учился в Оксфорде и гордился своим псевдобританским пошибом. Он уже был автором двух романов, отличных по силе и скорости зеркального слога, раздражавшего Федора Константиновича потому, может быть, что он чувствовал некоторое с ним родство. Как собеседник Владимиров был до странности непривлекателен. О нем говорили, что он насмешлив, высокомерен, холоден, не способен к оттепели приятельских прений, — но

так говорили и о Кончееве, и о самом Федоре Константиновиче, и о всяком, чья мысль живет в собственном доме, а не в бараке или кабаке.

Когда выбран был и секретарь, профессор Краевич предложил почтить память двух скончавшихся членов Союза вставанием; во время этого пятисекундного оцепенения оглашенный кельнер окидывал глазами столики, забыв, кто ему заказал принесенный им на подносе бутерброд с ветчиной. Каждый стоял как мог. Гурман, например, опустив пегую голову, держал руку ладонью вверх на столе, так, словно выплеснул кости и сокрушенно замер над проигрышем.

«Алло! Хир!» — крикнул Шахматов, с трудом дождавшись того мгновения, когда, с грохотом облегчения, жизнь уселась опять, — и тогда кельнер, быстро подняв указательный палец (вспомнил), скользнул к нему и со звоном поставил тарелку на поддельный мрамор. Шахматов немедленно стал резать бутерброд, крестообразно держа нож и вилку; на краю тарелки желтая нашлепка горчицы подняла, как это обычно бывает, желтый свой рог. Покладисто-наполеоновское лицо Шахматова, с голубовато-стальной прядью, идущей косо к виску, особенно нравилось Федору Константиновичу в эти его гастрономические ми-

нуты. Рядом с ним сидел и пил чай с лимоном, сам очень лимонный, с печально приподнятыми бровями, сатирик из «Газеты», псевдоним которого, Фома Мур, содержал, по собственному его заверению, «целый французский роман, страничку английской литературы и немножко еврейского скептицизма». Ширин чинил карандаш над пепельницей, — весьма обиженный на Федора Константиновича за отказ «фигурировать» в избирательном списке. Из литераторов тут был еще Ростислав Странный — страшноватый господин, с браслеткой на волосатой кисти, — и пергаментная, с воронеными волосами поэтесса Анна Аптекарь, и театральный критик — тощий, своеобразно тихий молодой человек, с каким-то неуловимо дагерротипным оттенком русских сороковых годов во всем облике, — и, конечно, добрейший Буш, отечески поглядывавший на Федора Константиновича, который, вполуха слушая отчет председателя Союза, теперь перешел взглядом от Буша, Лишневского, Ширина и других сочинителей к общей гуще присутствующих, среди которых было несколько журналистов, вроде старичка Ступишина, въедавшегося ложечкой в клин кофейного торта, и много репортеров, и одиноко сидевшая, неизвестно по какому при-

знаку здесь находившаяся Любовь Марковна, в пугливо блестевшем пенснэ, и вообще большое количество тех, которых Ширин пристрастно называл «пришлым элементом»: представительный адвокат Чарский, державший в белой, всегда дрожащей руке четвертую за это время папиросу; какой-то маленький бородатый мытарь, когда-то напечатавший некролог в бундистском журнальчике; нежный, бледный старик, на вкус напоминавший яблочную пастилу, с увлечением отправлявший должность регента церковного хора; громадный, загадочный толстяк, живший отшельником в сосновом лесу под Берлином, чуть ли не в пещере, и там составивший сборник советских анекдотов; отдельная группа скандалистов, самолюбивых неудачников; приятный молодой человек неизвестного состояния и назначения («чекист», просто и мрачно говорил Ширин); еще одна дама — чья-то бывшая секретарша; ее муж — брат известного издателя; и все эти люди, начиная от безграмотного оборванца, с тяжелым, пьяным взглядом, пишущего обличительно-мистические стихи, которые еще ни одна газета не согласилась напечатать, и кончая отвратительно-маленьким, почти портативным присяжным поверенным Пышкиным, который

произносил в разговоре с вами: «Я не дымаю» и «Сымасшествие», — словно устраивая своей фамильи некое алиби, — все они, по мнению Ширина, роняли достоинство Союза и подлежали немедленному изгнанию.

«Засим, — сказал Васильев, кончив свой отчет, — довожу до сведения собрания, что слагаю с себя обязанности председателя Союза и баллотироваться в новое правление не буду».

Он сел. Потянуло холодком. Гурман в изнеможении печали смежил тяжелые веки. Электрический поезд проскользил смычком по басистой струне.

«Далее следует… — сказал профессор Краевич, подняв к глазам пенснэ и смотря в повестку, — отчет казначея. Прошу».

Упругий сосед Гурмана, взяв сразу вызывающий тон, сверкая здоровым глазом и мощно кривя набитый драгоценностями рот, стал читать… посыпались, как искры, цифры, запрыгали металлические слова: «вступили в отчетный год»… «заприходовано»… «обревизовано»… — а Ширин между тем на обороте папиросной коробки быстро начал что-то отмечать, подытожил и победоносно переглянулся с Лишневским.

Дочитав, казначей закрыл со щелком рот, а

поодаль уже вырос член ревизионной комиссии, грузинский социалист, с выщербленным оспой лицом, с черными, как сапожная щетка, волосами, и вкратце изложил свои благоприятные впечатления. После этого попросил слова Ширин, и сразу пахнуло чем-то приятным, тревожным и неприличным.

Он сначала придрался к тому, что расход по новогоднему балу непонятно велик; Гурман хотел ответить… председатель, нацелившись карандашом в Ширина, спросил, кончил ли он… «Дайте высказаться, нельзя комкать!» — крикнул Шахматов с места, — и председательский карандаш, трепеща как жало, нацелился в него, снова затем вернувшись к Ширину, который, впрочем, поклонился и сел. Гурман, тяжело встав, презрительно и покорно неся горестное бремя, заговорил… но Ширин вскоре его прервал, и Краевич схватился за колокольчик. Гурман кончил, после чего мгновенно попросил слова казначей, но Ширин уже встал и продолжал: «Объяснение достопочтенного джентльмена с Фридрихштрассе…» — председатель позвонил и просил умерить выражения, пригрозив лишить слова. Ширин опять поклонился и сказал, что у него только один вопрос: в кассе, по словам

казначея, находится три тысячи семьдесят шесть марок пятнадцать пфеннигов, — можно на эти деньги сейчас взглянуть?

«Браво», — крикнул Шахматов, — и наименее привлекательный член Союза, мистический поэт, захохотал, захлопал в ладоши, чуть не упал со стула. Казначей, побледнев до снегового блеска, стал быстро и дробно говорить… Пока он говорил, прерываемый невозможными восклицаниями с мест, некто Шуф, худой, бритый господин, чем-то похожий на индейца, покинул свой угол, незаметно на резиновых подошвах подошел к столу правления и вдруг по нему шмякнул красным кулаком, так что даже подскочил звоночек. «Вы лжете!» — заорал он и снова уселся.

Скандал уже выпирал отовсюду, причем, к огорчению Ширина, обнаружилось, что есть еще одна партия желающих захватить власть, а именно та группа вечно обойденных, в которую входил и мистик, и господин индейского вида, и маленький бородач, и еще несколько худосочных и неуравновешенных господ, из которых один вдруг начал читать по бумажке список лиц — совершенно неприемлемых, — из которых предлагал составить новое правление. Бой принял новый оборот, довольно запутанный,

так как было теперь три воюющих стороны. Летали такие выражения, как «спекулянт», «вы не дуэлеспособны», «вас уже били»... Говорил даже Буш, говорил, перекрикивая оскорбительные возгласы, ибо из-за природной темноты его стиля никто не понимал, что он хочет сказать, пока он сам не объяснил, садясь, что всецело присоединяется к мнению предыдущего оратора. Гурман, усмехаясь одними ноздрями, занимался своим мундштуком. Васильев покинул свое место и, сев в угол, делал вид, что читает газету. Лишневский произнес громовую речь, направленную главным образом против члена правления, похожего на мирную жабу, который при этом только разводил руками и обращал беспомощный взгляд к Гурману и к казначею, старавшимся не смотреть на него. Наконец, когда поэт-мистик, шатко встав и качаясь, с многообещающей улыбкой на потном, буром лице, начал говорить стихами, председатель бешено зазвонил и объявил перерыв, после которого долженствовало приступить к выборам. Ширин метнулся к Васильеву и принялся его уговаривать в углу, а Федор Константинович, почувствовав внезапную скуку, нашел свой макинтош и выбрался на улицу.

Он сердился на себя: ради этого дикого ди-

вертисмента пожертвовать всегдашним, как звезда, свиданием с Зиной! Желание тотчас ее увидеть его мучило своей парадоксальной неосуществимостью: не спи она в двух с половиной саженях от его изголовья, доступ к ней был бы легче. Потянулся по виадуку поезд: зевок дамы, начавшийся в освещенном окне головного вагона, был закончен другою — в последнем. Федор Константинович тихо пошел к трамвайной остановке, вдоль маслянисто-черной, трубящей улицы. Световая реклама мюзик-холла взбегала по ступеням вертикально расположенных букв, они погасали разом, и снова свет карабкался вверх: какое вавилонское слово достигло бы до небес… сборное название триллиона тонов: бриллиантоволуннолилитовосизолазоревогрозносапфиристосинелилово, и так далее — сколько еще! Может быть, попробовать позвонить? Всего гривенник в кармане, и надо решить: позвонить — все равно значило бы лишить себя трамвая, но позвонить впустую, т. е. не попасть на самое Зину (звать ее через мать не допускалось кодексом), и вернуться пешком, — было бы чересчур обидно. Рискну. Он вошел в пивную, позвонил, и все кончилось очень быстро: получил неправильный номер, попав как раз туда, куда

постоянно пытался попасть анонимный русский, постоянно попадавший к Щеголевым. Что ж, — пешедралом, как сказал бы Борис Иванович.

На следующем углу автоматически заработал при его приближении кукольный механизм проституток, всегда стороживших там. Одна даже изобразила даму, замешкавшуюся у витрины, и было грустно думать, что эти розовые корсеты на золотых болванках она знает наизусть, наизусть… «Дусенька», — сказала другая с вопросительным смешком. Ночь была теплая, с пылью звезд. Он шел скорым шагом, и обнаженной голове было как-то дурманно легко от ночного воздуха, — и когда дальше он проходил садами, наплывали привидения сиреней, темнота зелени, чудные голые запахи, стлавшиеся по газону.

Ему было жарко, горел лоб, когда он наконец, тихо защелкнув за собой дверь, очутился в темной прихожей. Верхняя, тускло-стеклянная, часть Зининой двери походила на озаренное море: она, должно быть, читала в постели, — и пока Федор Константинович стоял и смотрел на это таинственное стекло, она кашлянула, шуркнула чем-то, и — свет потух. Какая нелепая пытка. Войти, войти… Кто бы узнал? Люди, как Щеголевы, спят бесчувственным, простонародным,

стопроцентным сном. Зинина щепетильность: ни за что не отопрет на звон ногтя. Но она знает, что я стою в темной передней и задыхаюсь. Эта запретная комната стала за последние месяцы болезнью, обузой, частью его самого, но раздутой и опечатанной: пневмотораксом ночи.

Он постоял — и на носках пробрался к себе. В общем — французские чувства. Фома Мур. Спать, спать — тяжесть весны совершенно бездарна. Взять себя в руки: монашеский каламбур. Что дальше? Чего мы, собственно, ждем? Все равно лучшей жены не найду. Но нужна ли мне жена вообще? «Убери лиру, мне негде повернуться…» Нет, она этого никогда не скажет, — в том-то и штука.

А через несколько дней, просто и даже глуповато, наметилось разрешение задачи, казавшейся столь сложной, что невольно спрашивалось: нет ли в ее построении ошибки? Борис Иванович, у которого за последние годы дела шли все хуже, весьма неожиданно получил от берлинской фирмы солиднейшее представительство в Копенгагене. Через два месяца, к первому июля, надо было переселяться туда, по крайней мере на год, а может быть, и навсегда, если дело пойдет успешно. Марианне Николаевне, почему-то лю-

бившей Берлин (насиженное место, прекрасные санитарные условия, — сама-то она была грязнющая), уезжать было грустно, но когда она думала об усовершенствованиях быта, ожидавших ее, грусть рассеивалась. Таким образом, было решено, что с июля Зина останется одна в Берлине, продолжая служить у Траума, покамест Щеголев «не подыщет ей службы» в Копенгагене, куда она и приедет «по первому вызову» (т. е. это Щеголевы так думали, — Зина решила совсем, совсем иначе). Оставалось урегулировать вопрос квартиры. Продавать ее Щеголевым не хотелось, так что они стали искать, кому бы ее сдать. Нашли. Какой-то молодой немец с большим коммерческим будущим, в сопровождении невесты, — простоватой, ненакрашенной, хозяйственно-коренастой девицы в зеленом пальто, осмотрел квартиру — столовую, спальню, кухню, Федора Константиновича в постели, — и остался доволен. Однако квартиру он брал только с первого августа, так что еще в течение месяца после отъезда Щеголевых Зина и жилец могли в ней оставаться. Они считали дни: полсотни, сорок девять, тридцать, двадцать пять, — каждая из этих цифр имела свое лицо: улей, сорока на дереве, силуэт рыцаря, молодой человек. Их вечерние встречи вышли из

берегов первоначальной улицы (фонарь, липа, забор) еще весной, а теперь расширяющимися кругами беспокойное блуждание уводило их в далекие и никогда не повторявшиеся углы города. То это был мост над каналом, то трельяжный боскет в парке, за которым пробегали огни, то немощеная улица вдоль туманных пустынь, где стояли темные фургоны, то какие-то странные аркады, которых днем было не отыскать. Изменения навыков перед миграцией, волнение, томная боль в плечах.

Газеты определили молодое еще лето как исключительно жаркое, и действительно — это было длинное многоточие прекрасных дней, прерываемое изредка междометием грозы. В то время как Зина изнемогала от зловонной жары в конторе (пропотевший под мышками пиджак Хамеке один чего стоил… а топленые шеи машинисток… а липкая чернота угольной бумаги!), Федор Константинович с раннего утра уходил на весь день в Груневальд, забросив уроки и стараясь не думать о давно просроченном платеже за комнату. Никогда прежде он не вставал в семь утра, это бы казалось чудовищным, — но теперь при новом свете жизни (в котором как-то смешались возмужание дара, предчувствие новых

трудов и близость полного счастья с Зиной) он испытывал прямое наслаждение от быстроты и легкости этих ранних вставаний, от вспышки движения, от идеальной простоты трехсекундного одевания: рубашка, штаны и тапки на босу ногу, — после чего он забирал под мышку плед, свернув в него купальные трусики, совал в карман на ходу апельсин, бутерброд, и вот уже сбегал по лестнице.

Отвернутый половик держал дверь в широко отворенном положении, покамест швейцар энергично выбивал пыльный мат о ствол невинной липы: чем я заслужила битье? Асфальт еще был в синей тени от домов. На панели блестела первая свежая собачья куча. Вот из соседних ворот осторожно выехал и повернул по пустой улице черный погребальный автомобиль, стоявший вчера у починочной мастерской, и в нем, за стеклом, среди белых искусственных роз, лежал на месте гроба велосипед: чей? почему? Молочная была уже открыта, но еще спал ленивый табачник. Солнце играло на разнообразных предметах по правой части улицы, выбирая, как сорока, маленькие блестящие вещи; а в ее конце, где шел поперек широкий лог железной дороги, вдруг появилось с правой стороны моста разорвавшееся

о его железные ребра облако паровозного дыма, тотчас забелелось опять с другой и прерывисто побежало в просветах между деревьями. Проходя затем по этому мосту, Федор Константинович, как всегда, был обрадован удивительной поэзией железнодорожных откосов, их вольной и разнообразной природой: заросли акаций и лозняка, дикая трава, пчелы, бабочки, — все это уединенно и беспечно жило в резком соседстве угольной сыпи, блестевшей внизу, промеж пяти потоков рельсов, и в блаженном отчуждении от городских кулис наверху, от облупившихся стен старых домов, гревших на утреннем солнце татуированные спины. За мостом, около скверика, двое пожилых почтовых служащих, покончив с проверкой марочного автомата и вдруг разыгравшись, на цыпочках, один за другим, один подражая жестам другого, из-за жасмина подкрались к третьему, с закрытыми глазами, кротко и кратко, перед трудовым днем, сомлевшему на скамье, чтобы цветком пощекотать ему нос. Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня — и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства: «Как быть Счастливым»? Или глубже, дотошнее:

понять, **что** скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным, зеленым гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть! И хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований: 10 000 дней — от Неизвестного.

Он шел дальше, мимо чугунных оград, мимо глубоких садов банкирских вилл, с гротовыми тенями, буксом, плющом, газонами в бисере поливки, — и там уже попадались, среди ильмов и лип, первые сосны, высланные далеко вперед груневальдским бором (или, напротив: отставшие от полка?). Звонко посвистывая и поднимаясь (в гору) на педалях своего трехколесного велосипеда, проехал рассыльный пекарни; медленно, с влажным шорохом, прополз водометный автомобиль — кит на колесах, широко орошая асфальт. Некто с портфелем захлопнул за собой выкрашенную в вермилион калитку и отправился на неведомую службу. По его пятам Федор Константинович вышел на бульвар (все тот же Гогенцоллерндам, в начале которого сожгли бедного Александра Яковлевича), и там, сверкнув замком, портфель побежал к трамваю. Теперь до леса было уже близко, и он ускорил шаг, уже чувствуя горячую маску солнца на приподнятом лице. В глазах

рябило от частокола, мимо которого он шел. На вчерашнем пустырьке между домами строилась небольшая вилла, и так как небо глядело в провалы будущих окон, и лопухи да солнце, по случаю медленности работ, успели устроиться внутри белых недоконченных стен, они отдавали задумчивостью развалин, вроде слова «некогда», которое служит и будущему и былому. Навстречу Федору Константиновичу прошла молоденькая, с бутылкой молока, девица, похожая чем-то на Зину — или, вернее, содержавшая частицу того очарования — и определенного и вместе безотчетного, — которое он находил во многих, но с особенной полнотой в Зине, так что все они были с Зиной в какой-то таинственной родственной связи, о которой он знал один, хотя совершенно не мог выразить признаки этого родства (вне которого находившиеся женщины вызывали в нем болезненное отвращение), — и теперь, оглянувшись и уловив какую-то давно знакомую, золотую, летучую линию, тотчас исчезнувшую навсегда, он мельком почувствовал наплыв безнадежного желания, вся прелесть и богатство которого были в его неутолимости. Банальный бес бульварных блаженств, не соблазняй меня страшным словцом «мой тип». Не это, не это, а

что-то за этим. Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все.

В конце бульвара зазеленелась опушка бора, с пестрым портиком недавно выстроенного павильона (в атриуме которого находился ассортимент уборных — мужских, женских, детских), через который — по замыслу местных Ленотров — следовало пройти, чтобы сначала попасть в только что разбитый сад, с альпийской флорой вдоль геометрических дорожек, служивший — все по тому же замыслу — приятным преддверием к лесу. Но Федор Константинович взял влево, избежав преддверия: так было ближе. Сосновая, еще дикая опушка тянулась без конца вдоль автомобильной аллеи, но был неизбежен следующий шаг со стороны отцов города: загородить весь этот свободный доступ бесконечной решеткой, так чтобы портик стал входом по **необходимости** (в буквальнейшем, первоначальном смысле). Я для тебя устроил казисто, но ты не прельстился; так теперь изволь: казисто, казенно, приказ. Но (по обратному скачку мысли: ф3—г1) вряд ли было лучше, когда этот лес — теперь отступивший, теперь теснившийся вокруг озера,

как у нас, отдалившихся от мохнатых предков, растительность постепенно остается лишь по бережкам, — простирался до самого сердца теперешнего города, и рыскало по его дебрям громкое княжеское хамье, с рогами, псами, загонщиками.

Лес, каким я его застал, был еще живым, богатым, полным птиц. Попадались иволги, голуби, сойки; пролетала ворона, пыхтя крыльями: хшу, хшу, хшу; красноголовый дятел стучал в сосновый ствол, — а иногда, полагаю, лишь подражал собственному стуку, и тогда выходило особенно звонко и убедительно (для самочки); ибо ничего нет более обворожительно-божественного в природе, чем ее вспыхивающий в неожиданнейших местах остроумный обман: так, лесной кузнечик (заводящий свой маленький мотор, все не могущий завестись: цик-цик-цик — обрывается), прыгнув и упав, сразу меняет положение тела, поворачивая его так, чтобы направление темных полосок на нем совпадало с направлением палых иголок (и теней иголок!). Но осторожно: люблю вспоминать, что писал мой отец: «При наблюдении происшествий в природе надобно остерегаться того, чтобы в процессе наблюдения, пускай наивнимательнейшего, наш рассудок, этот болтливый, вперед забегающий драгоман, не

подсказал объяснения, незаметно начинающего влиять на самый ход наблюдения и искажающего его: так на истину ложится тень инструмента».

Дай руку, дорогой читатель, и войдем со мной в лес. Смотри: сначала — сквозистые места, с островками чертополоха, крапивы или царского чая, среди которых попадаются отбросы: иногда даже рваный матрац со сломанными ржавыми пружинами, — не брезгуй ими! Вот — темный, частый ельничек, где однажды я набрел на ямку (бережно вырытую перед смертью), в которой лежал, удивительно изящно согнувшись, лапы к лапам, труп молодой, тонкомордой собаки волчьих кровей. А вот — голые, без подлеска, только бурыми иглами выстланные, бугры под простоватыми соснами, с протянутым гамаком, наполненным чьим-то нетребовательным телом, — и проволочный остов абажура валяется тут же на земле. Дальше — песчаная проплешина, окруженная акациями, и там, на горячем, сером, прилипчивом песке, сидит, протянув страшные босые ноги, в одном белье женщина и штопает чулок, а около нее возится младенец, с почерневшими от пыли пашками. Со всех этих мест еще видна проезжая аллея, пробегающий блеск автомобильных радиаторов, — но стоит

проникнуть немного глубже, и лес выправляется, сосны облагораживаются, под ногами хрустит мох, и кто-нибудь, безработный бродяга, непременно тут спит, прикрыв лицо газетой: философ предпочитает мох розам. Вот точное место, где на днях упал небольшой аэроплан: некто, катая свою даму по утренней лазури, перерезвился, потерял власть над рулем и со свистом, с треском нырнул прямо в сосняк. Я пришел, к сожалению, с опозданием: обломки успели убрать, два полицейских верхами ехали шагом к дороге, — но еще был заметен отпечаток удалой смерти под соснами, одна из коих была сверху донизу обрита крылом, и архитектор Штокшмайсер с собакой объяснял няне с ребенком, что произошло, — а еще через несколько дней всякие следы пропали (только желтела рана на сосновом стволе), и уже в полном неведении на этом самом месте двое, старик и его старуха, она — в лифчике, он — в подштанниках, делали друг перед другом несложную гимнастику.

Дальше становилось совсем хорошо: сосны входили в полную силу, и между розоватыми чешуйчатыми стволами низкая перистая листва рябин и крепкая зелень дубов оживленно дробили полосоватость борового солнца. В густоте

дуба, если смотреть снизу, взаимное перекрытие листьев теневых и освещенных, темно-зеленых и ярко-изумрудных, казалось особенным сцеплением их волнистых краев, и на них садилась, то нежа в блеске свой рыжий шелк, то плотно складывая крылья, вырезная ванесса, с белой скобочкой на диком исподе, и, вдруг снявшись, садилась ко мне на голую грудь, привлеченная человеческим потом. А еще выше, над моим запрокинутым лицом, верхи и стволы сосен сложно обменивались тенями, и хвоя напоминала водоросли, шевелящиеся в прозрачной воде. И если еще больше запрокинуться, так, чтобы сзади трава (неизъяснимо, первозданно-сызнова позеленевшая, — с этой точки перевернутого зрения) казалась растущей куда-то вниз, в пустой прозрачный свет, и была бы верхом мира, я улавливал ощущение, которое должно поразить перелетевшего на другую планету (с другим притяжением, другой плотностью, другим образом чувств) — особенно когда проходила вверх ногами семья гуляющих, причем шаг их становился толчком упругим и странным, а подброшенный мяч казался падающим — все тише — в головокружительную бездну.

При дальнейшем продвижении вперед, — не

налево, куда бор простирался без конца, и не направо, где он прерывался молоденьким березняком, свежо и по-детски попахивавшим Россией, — лес становился опять реже, терял подсед, обрывался по песчаным косогорам, и внизу зажигалось столбами света широкое озеро. Солнце разнообразно озаряло противоположные скаты, и когда от наплыва облака воздух смежался, как великое синее веко, и медленно прозревал опять, один берег всегда отставал от другого, в порядке постепенного потухания и просветления. Песчаной каймы на той стороне почти не было, деревья все вместе спускались к густым тростникам, а повыше можно было найти горячие, сухие склоны, поросшие кашкой, кислицей и молочаем, отороченные живой тьмой дубов и буков, валом валивших вниз, в сырые ложбинки, в одной из которых застрелился Яша Чернышевский.

Когда я по утрам приходил в этот лесной мир, образ которого я собственными средствами как бы приподнял над уровнем тех нехитрых воскресных впечатлений (бумажная дрянь, толпа пикникующих), из которых состояло для берлинцев понятие «Груневальд»; когда в эти жаркие, летние будни я направлялся в его южную сторо-

ну, в глушь, в дикие, тайные места, я испытывал не меньшее наслаждение, чем если бы в этих трех верстах от моей Агамемнонштрассе находился первобытный рай. Дойдя до одного излюбленного уголка, сказочно совмещавшего свободный поток солнца и защиту кустарника, я раздевался донага и ложился навзничь на плед, подложив ненужные трусики под затылок. Благодаря сплошному загару, бронзой облившему тело, так что только пятки, ладони и лучевые черты у глаз оставались естественной масти, я чувствовал себя атлетом, тарзаном, адамом, всем чем угодно, но только не голым горожанином. Неловкость, обычно сопряженная с наготой, зависит от сознания нашей беззащитной белизны, давно утратившей связь с окраской окружающего мира, а потому находящейся в искусственной дисгармонии с ним. Но влияние солнца восполняет пробел, уравнивает нас в голых правах с природой, и уже загоревшее тело не ощущает стыда. Все это звучит как брошюрка нюдистов, — но своя правда не виновата, если с ней совпадает правда, взятая бедняком напрокат.

Солнце навалилось. Солнце сплошь лизало меня большим, гладким языком. Я постепенно чувствовал, что становлюсь раскаленно-про-

зрачным, наливаюсь пламенем и существую только, поскольку существует оно. Как сочинение переводится на экзотическое наречие, я был переведен на солнце. Тощий, зябкий, зимний Федор Годунов-Чердынцев был теперь от меня так же отдален, как если бы я сослал его в Якутскую область. Тот был бледным снимком с меня, а этот, летний, был его бронзовым, преувеличенным подобием. Собственное же мое я, то, которое писало книги, любило слова, цвета, игру мысли, Россию, шоколад, Зину, — как-то разошлось и растворилось, силой света сначала опрозраченное, затем приобщенное ко всему мрению летнего леса, с его атласистой хвоей и райски-зелеными листьями, с его муравьями, ползущими по преображенному, разноцветнейшему сукну пледа, с его птицами, запахами, горячим дыханием крапивы, плотским душком нагретой травы, с его небесной синевой, где высоко-высоко гремел самолет, как бы подернутый синей пылью, синей сущностью тверди: он был синеват, как влажна рыба в воде.

Так можно было раствориться окончательно. Федор Константинович приподнялся и сел. По гладко выбритой груди стекал ручеек пота, впадая в водоем пупа. Впалый живот отливал коричнево и перламутрово. По блестящим чер-

ным колечкам волос нервно полз заплутавший муравей. Голени лоснились. Между пальцев ног застряли сосновые иголки. Он трусиками отер коротко остриженную голову, липкий затылок, шею. Белочка с круглой спинкой пробежала по траве, от дерева к дереву, волнисто и чуть неуклюже. Дубовые кусты, бузина, стволы сосен, — все было ослепительно пятнисто, и небольшое облако, ничем не портившее лица летнего дня, ощупью ползло мимо солнца.

Он встал, шагнул — и немедленно легкая лапа лиственной тени легла ему на левое плечо, но соскользнула при последующем шаге. Посмотрев на положение солнца, Федор Константинович перетащил плед на аршин, так чтобы тень листвы не могла на него покуситься. Двигаться нагишом было удивительным блаженством, — свобода чресел особенно веселила его. Он пошел между кустами, прислушиваясь к звону насекомых, к шорохам птиц. Королек, как мышь, скользнул в листве дубка; низко пролетела земляная оса, держа в лапках труп гусеницы; давешняя белка с прерывистым, скребущим звуком вскарабкалась по коре. Где-то невдалеке зазвучали девичьи голоса, и он остановился в пятнах тени, неподвижно застывших у него вдоль руки, но ровно

содрогавшихся на левом боку, между ребер. Золотой, коренастый мотылек, снабженный двумя запятыми, сел на дубовый лист, раскрыв крыльца лодочкой, и вдруг стрельнул прочь, как золотая муха. И, как часто бывало в эти лесные дни, особенно когда мелькали знакомые бабочки, Федор Константинович представил себе уединение отца в других лесах, исполинских, бесконечно далеких, по сравнению с которыми **этот** был хворостом, пнем, дребеденью. А все-таки он переживал нечто родственное той зияющей на картах азиатской свободе, духу отцовских странствий, — и здесь труднее всего было поверить, что, несмотря на волю, на зелень, на счастливый, солнечный мрак, отец все-таки умер.

Голоса зазвучали ближе и прошли стороной. Слепень, незаметно севший к нему на ляжку, успел обжечь тупым хоботком. Мох, мурава, песок — каждый по-своему — сообщался с босой подошвой, и по-разному солнце и тень ложились на горячий шелк тела. Чувства, обостренные вольным зноем, раздражала возможность сильвийских встреч, мифических умыканий. Le sanglot dont j'étais encore ivre[51]. Дал бы год жизни,

[51] Примечания: 51
Рыдание, которым я еще был опьянен *(фр.)*.

даже високосный, чтоб сейчас была здесь Зина — или любая из ее кордебалета.

Он опять ложился плашмя, опять вставал; с бьющимся сердцем прислушивался к каким-то лукавым, невнятным, что-то обещающим звукам; затем, натянув только трусики и спрятав плед с одеждой под кустом, уходил бродить по лесу, вокруг озера.

Там и сям, в будни негусто, попадались более или менее оранжевые тела. Всматриваться он избегал, боясь перехода от Пана к Симплициссимусу. Но иногда, рядом со школьным портфелем и сверкающим велосипедом, прислоненным к стволу, лежала одинокая нимфа, раскинув обнаженные до пахов замшево-нежные ноги, заломив руки, показывая солнцу блестящие мышки; стрела соблазна едва успевала пропеть и вонзиться, как уже он замечал, что, на некотором расстоянии, в трех одинаково отдаленных точках, образующих магический треугольник вокруг (чьей?) добычи, виднеются среди стволов три неподвижных ловца, друг другу незнакомых: два молодых (этот ничком, тот на боку) и старый господин в жилете, с резинками на рукавах рубашки, плотно сидящий на траве, неподвижный, вечный, с грустными, но терпеливыми

глазами; и казалось, эти три ударяющих в одну точку взгляда наконец, с помощью солнца, прожгут дырку в черном купальном трико бедной немецкой девочки, не поднимающей маслом смазанных век.

Он спускался на песчаный бережок озера и тут, в грохоте голосов, ткань очарования, которую он сам так тщательно свил, совсем разрывалась, и он с отвращением видел измятые, выкрученные, искривленные норд-остом жизни, голые и полураздетые — вторые были страшнее — тела купальщиков (мелких мещан, праздных рабочих), шевелившихся в грязно-сером песке. Там, где береговая дорога шла вдоль этой узкой, темной губы озера, последняя была от дороги отделена кольями с замученной, провалившейся проволокой, и береговыми завсегдатаями особенно ценилось место около этих кольев — то ли потому, что на них удобно вешались штаны на своих подтяжках (а белье клалось на пыльную крапиву), то ли из-за смутно охранного ощущения ограды за спиной. Там же, где дорога поднималась выше, к озеру спускались грубо-песчаные скаты в заплатах стоптанной травы и в различных по положению солнца наплывах пегой тени от буков и сосен, несдержанно сошедших вниз.

Серые, в наростах и вздутых жилах, старческие ноги, какая-нибудь плоская ступня и янтарная, туземная мозоль, розовое, как свинья, пузо, мокрые, бледные от воды, хриплоголосые подростки, глобусы грудей и тяжелые гузна, рыхлые, в голубых подтеках, ляжки, гусиная кожа, прыщавые лопатки кривоногих дев, крепкие шеи и ягодицы мускулистых хулиганов, безнадежная, безбожная тупость довольных лиц, возня, гогот, плеск — все это сливалось в апофеоз того славного немецкого добродушия, которое с такой естественной легкостью может в любую минуту обернуться бешеным улюлюканием. И над всем этим, особенно по воскресеньям, когда теснота была всего гаже, господствовал незабываемый запах, запах пыли, пота, тины, нечистого белья, проветриваемой и сохнувшей бедности, запах вяленых, копченых, грошовых душ. Но самое озеро, с ярко-зелеными купами деревьев на той стороне и солнечной рябью посредине, держалось с достоинством.

Выбрав тайный затончик среди камышей, Федор Константинович пускался вплавь. Теплая муть воды, в глазах искры солнца. Он плавал долго, полчаса, пять часов, сутки, неделю, другую. Наконец, двадцать восьмого июня, около трех часов пополудни, он вышел на тот берег.

Выбравшись из прибрежного шпината, он сразу попал в дубраву и оттуда полез на горячий скат, где скоро обсох на солнце. Справа был буерак, заросший дубком и ежевикой. И сегодня, как всякий раз, когда он попадал сюда, Федор Константинович спустился в эту глубь, всегда притягивавшую его, словно он был как-то повинен в гибели незнакомого юноши, застрелившегося здесь, — вот здесь. Он подумал о том, что и Александра Яковлевна сюда приходила, маленькими, в черных перчатках, руками деловито шарила между кустов… Он не знал ее тогда, не мог видеть это, — но по ее рассказу о своих многократных паломничествах чувствовал, что это было именно так: искание чего-то, шуршание, тыкающий зонтик, сияющие глаза, дрожащие от рыданий губы. Он вспомнил, как этой весной виделся с ней — в последний раз — после кончины мужа, и странное ощущение, которое он испытал, глядя на ее опущенное, не по-житейскому нахмуренное лицо, точно ее никогда раньше не видел по-настоящему, а теперь различал на этом лице сходство с ее покойным мужем, чья смерть выразилась в ней каким-то скрытым дотоле траурно-кровным родством с ним. Через день она уехала к родственникам в Ригу, — и уже теперь ее

образ, рассказы о сыне, литературные вечера в ее доме, душевная болезнь Александра Яковлевича — все это отслужившее само собой смоталось, кончилось, как накрест связанный сверток жизни, который будет храниться долго, но которого никогда не развяжут опять ленивые, все откладывающие на другой день, неблагодарные руки. Его охватило паническое желание не дать этому замкнуться так и пропасть в углу душевного чулана, желание применить все это к себе, к своей вечности, к своей правде, помочь ему произрасти по-новому. Есть способ, — единственный способ.

Он поднялся по другому скату, и там, наверху, у спускавшейся опять тропинки сидел на скамейке под дубом, с медленно чертящей тростью в задумчивых руках, сутулый молодой человек в черном костюме. Как ему, должно быть, жарко, подумал голый Федор Константинович. Сидящий взглянул… Солнце, как деликатный фотограф, повернуло и слегка приподняло его лицо, бескровное лицо с широко расставленными близоруко-серыми глазами. Между углами крахмального воротничка типа «собачья радость» блеснула запонка над съехавшим узлом галстука.

«Как вы, однако, загорели, — сказал Кончеев, —

вряд ли это безвредно. А где, собственно, ваша одежда?»

«Там, — ответил Федор Константинович, — на той стороне, в лесу».

«Могут украсть, — заметил Кончеев. — Недаром есть поговорка: русак тороват, пруссак вороват».

Федор Константинович сел и сказал: «А вы знаете, где мы с вами находимся? Вон за этой ожиной, внизу, застрелился когда-то сын Чернышевских, поэт».

«А, это было здесь, — без особого любопытства проговорил Кончеев. — Что ж — его Ольга недавно вышла за меховщика и уехала в Соединенные Штаты. Не совсем улан, но все-таки…»

«Неужели вам не жарко?» — спросил Федор Константинович.

«Нисколько. У меня слабая грудь, и я всегда зябну. Но, конечно, когда сидишь рядом с голым, физически чувствуешь существование магазинов готового платья. И телу темно. Зато, мне кажется, всякая работа мысли совершенно невозможна для вас при этаком обнаженном состоянии?»

«Пожалуй, — усмехнулся Федор Константинович. — Все больше — живешь на поверхности собственной кожи…»

«В том-то и дело. Только и занимаешься обхо-

дом самого себя да слежкой за солнцем. А мысль любит занавеску, камеру обскуру. Солнце хорошо, поскольку при нем повышается ценность тени. Тюрьма без тюремщика и сад без садовника — вот, по-моему, идеал. Скажите, вы читали, что я написал о вашей книге?»

«Читал, — ответил Федор Константинович, следя за маленькой гусеницей-землемером, проверявшей, сколько дюймов на скамье между ним и соседом. — Очень даже читал. Я сначала хотел вам написать благодарственное письмо, — знаете, с трогательной ссылкой на незаслуженность и так далее, — но потом подумал, что это внесло бы нестерпимый человеческий душок в область свободного мнения. И потом, — если я что-нибудь хорошо сочинил, то я должен благодарить не вас, а себя, точно так же, как вы должны благодарить не меня, а себя за понимание этого хорошего, — правда? Если же мы начнем друг другу кланяться, то как только один из нас перестанет, другой обидится и уйдет надутым».

«Я от вас не ожидал труизмов, — проговорил Кончеев с улыбкой. — Да, все это так. Раз в жизни, только раз, я поблагодарил критика, и он ответил: „Что ж, мне **действительно** очень понравилось“, — вот это „действительно“ меня

навсегда отрезвило. Между прочим, я не все сказал о вас, что мог бы… Вас так много бранили за недостатки несуществующие, что уже мне не хотелось придраться к недостаткам, для меня несомненным. К тому же в следующем вашем сочинении вы либо отделаетесь от них, либо они разовьются в сторону своеобразных качеств, как пятнышко на зародыше превращается в глаз. Вы ведь зоолог, кажется?»

«Так, по-любительски. Но какие это недостатки? Я хотел бы проверить, совпадают ли они с теми, которые я знаю сам».

«Во-первых, — излишнее доверие к слову. У вас случается, что слова провозят нужную мысль контрабандой. Фраза, может быть, и отличная, но все-таки это — контрабанда, — и главное, зря, так как законный путь открыт. А ваши контрабандисты под прикрытием темноты слога, со всякими сложными ухищрениями, провозят товар, на который и так нет пошлины. Во-вторых, — некоторая неумелость в переработке источников: вы словно так и не можете решить, навязать ли былым делам и речам ваш стиль, или еще обострить их собственный. Я не поленился сравнить кое-какие места вашей книги с контекстом в полном издании Чернышевского,

по экземпляру, которым, по-видимому, пользовались вы: я нашел между страницами ваш пепел. В-третьих, — вы иногда доводите пародию до такой натуральности, что она, в сущности, становится настоящей серьезной мыслью, и, в **этом** плане, вдруг дает непроизвольный перебой, который является уже собственной ужимкой, а не пародией на ужимку, хотя именно в этом роде черточки вы и выслеживаете, т. е. получается так, как если кто-нибудь, пародируя неряшливое актерское чтение Шекспира, увлекся бы, загремел бы по-настоящему, но мимоходом переврал бы стих. В-четвертых, — у вас кое-где наблюдается механичность, если не машинальность, переходов, причем заметно, что вы преследуете тут **свою** выгоду, себе самому облегчаете путь. В одном месте, например, таким переходом служит простой каламбур. В-пятых, наконец, — вы порой говорите вещи, рассчитанные главным образом на то, чтобы уколоть ваших современников, а ведь вам всякая женщина скажет, что ничто так не теряется, как шпильки, — не говоря уже о том, что малейший поворот моды может изъять их из употребления: подумайте, сколько повыкопано заостренных предметиков, точного назначения которых не знает ни один археолог! Настоящему

писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одного: будущего, — который, в свою очередь, лишь отражение автора во времени. Вот, кажется, сумма моих претензий к вам, и в общем они пустяшны. Они совершенно меркнут при блеске ваших достоинств, — о которых я бы тоже мог еще поговорить».

«Ну, это не так интересно», — сказал Федор Константинович, **который во время этой тирады** (как писали Тургенев, Гончаров, Граф Салиас, Григорович, Боборыкин) кивал головой с одобрительной миной. «Вы очень хорошо определили мои недостатки, — продолжал он, — и они соответствуют моим претензиям к себе, — хотя, конечно, у меня распорядок другой, — некоторые пункты сливаются, а другие еще подразделены. Но кроме недочетов, которые вы отметили, я знаю за собой по крайней мере еще три, — они-то, может быть, самые главные. Да только я вам никогда их не скажу, — и в следующей моей книге не будет их. Хотите теперь — поговорим о ваших стихах?»

«Нет, пожалуйста, не надо, — со страхом сказал Кончеев. — У меня есть основание думать, что они вам по душе, но я органически не выношу их обсуждения. Когда я был мал, я перед сном

говорил длинную и малопонятную молитву, которой меня научила покойная мать — набожная и очень несчастная женщина, — она-то, конечно, сказала бы, что эти две вещи несовместимы, но ведь и то правда, что счастье не идет в чернецы. Эту молитву я помнил и повторял долго, почти до юности, но однажды я вник в ее смысл, понял все ее слова, — и как только понял, сразу забыл, словно нарушил какие-то невосстановимые чары. Мне кажется, что то же самое произойдет с моими стихами, — что если я начну о них осмысленно думать, то мгновенно потеряю способность их сочинять. Вы-то, я знаю, давно развратили свою поэзию словами и смыслом, — и вряд ли будете продолжать ею заниматься. Слишком богаты, слишком жадны. Муза прелестна бедностью».

«Знаете, как странно, — сказал Федор Константинович, — однажды, давно, я себе страшно живо представил разговор с вами на такие темы, — и ведь вышло как-то похоже! хотя, конечно, вы бесстыдно подыгрывали мне и все такое. То, что я вас так хорошо знаю, в сущности, не зная вас вовсе, невероятно меня радует, ибо, значит, есть союзы в мире, которые не зависят ни от каких дубовых дружб, ослиных симпатий, „веяний века“, ни от каких духовных организаций или со-

обществ поэтов, где дюжина крепко сплоченных бездарностей общими усилиями „горит“».

«На всякий случай я хочу вас предупредить, — сказал честно Кончеев, — чтобы вы не обольщались насчет нашего сходства: мы с вами во многом различны, у меня другие вкусы, другие навыки, вашего Фета я, например, не терплю, а зато горячо люблю автора „Двойника“ и „Бесов“, которого вы склонны третировать… Мне не нравится в вас многое, — петербургский стиль, галльская закваска, ваше нео-вольтерианство и слабость к Флоберу, — и меня просто оскорбляет ваша, простите, похабно-спортивная нагота. Но вот, с этими оговорками, правильно, пожалуй, будет сказать, что где-то — не здесь, но в другой плоскости, угол которой, кстати, вы сознаете еще смутнее меня, — где-то на задворках нашего существования, очень далеко, очень таинственно и невыразимо, крепнет довольно божественная между нами связь. А может быть, вы это всё так чувствуете и говорите, потому что я печатно похвалил вашу книгу, — это, знаете, тоже бывает».

«Да, знаю. Я об этом сам подумал. Особенно ввиду того, что я прежде завидовал вашей славе. Но, по совести говоря — —»

«Слава? — перебил Кончеев. — Не смешите.

Кто знает мои стихи? Сто, полтораста, от силы, от силы, двести интеллигентных изгнанников, из которых, опять же, девяносто процентов не понимают их. Это провинциальный успех, а не слава. В будущем, может быть, отыграюсь, но что-то уж очень много времени пройдет, пока тунгуз и калмык начнут друг у друга вырывать мое „Сообщение“, под завистливым оком финна».

«Но есть утешительное ощущение, — задумчиво сказал Федор Константинович. — Можно ведь занимать под наследство. Разве не забавно вообразить, что когда-нибудь, вот сюда, на этот брег, под этот дуб, придет и сядет заезжий мечтатель и в свою очередь вообразит, что мы с вами тут когда-то сидели».

«А историк сухо скажет ему, что мы никогда вместе не гуляли, едва были знакомы, а если и встречались, то говорили о злободневных пустяках».

«И все-таки попробуйте! Попробуйте почувствовать этот чужой, будущий, ретроспективный трепет… Все волоски на душе становятся дыбом! Вообще, хорошо бы покончить с нашим варварским восприятием времени, особенно, по-моему, мило, когда заходит речь о том, что земля через триллион лет остынет, и все исчезнет, если

заблаговременно не будут переведены наши типографии на соседнюю звезду. Или ерунда с вечностью: столь много отпущено времени вселенной, что цифра ее гибели **уже** должна была выйти, как нельзя ни в одном отрезке времени разумно представить себе **целым** яйцо, лежащее на дороге, по которой без конца проходит армия. Как это глупо! Наше превратное чувство времени как некоего роста есть следствие нашей конечности, которая, всегда находясь на уровне настоящего, подразумевает его постоянное повышение между водяной бездной прошедшего и воздушной бездной будущего. Бытие, таким образом, определяется для нас как вечная переработка будущего в прошедшее, — призрачный, в сущности, процесс, — лишь отражение вещественных метаморфоз, происходящих в нас. При этих обстоятельствах попытка постижения мира сводится к попытке постичь то, что мы сами создали как непостижимое. Абсурд, до которого доходит пытливая мысль, — только естественный видовой признак ее принадлежности человеку, а стремление непременно добиться ответа — то же, что требовать от куриного бульона, чтобы он закудахтал. Наиболее для меня заманчивое мнение — что времени нет, что всё есть некое

настоящее, которое как сияние находится вне нашей слепоты, — такая же безнадежно конечная гипотеза, как и все остальные. „Поймешь, когда будешь большой“, — вот все-таки самые мудрые слова, которые я знаю. Если к этому добавить, что у природы двоилось в глазах, когда она создавала нас (о, эта проклятая парность, от которой некуда деваться: лошадь—корова, кошка—собака, крыса—мышь, блоха—клоп), что симметричность в строении живых тел есть следствие мирового вращения (достаточно долго пущенный волчок начнет, быть может, жить, расти, размножаться), а что в порыве к асимметрии, к неравенству, слышится мне вопль по настоящей свободе, желание вырваться из кольца — —»

«Herrliches Wetter, — in der Zeitung steht es aber, dass es morgen bestimmt regnen wird»[52], — проговорил наконец сидящий на скамье рядом с Федором Константиновичем молодой немец, показавшийся ему похожим на Кончеева.

Опять, значит, воображение, — а как жаль! Даже покойную мать ему придумал для приманки действительности… Почему разговор с ним никак не может распуститься явью, дорваться до

---

[52] Примечания: 52

Прекрасная погода, — однако в газете пишут, что завтра будет дождь *(нем.)*.

осуществления? Или это и есть осуществление, и лучшего не нужно… — так как подлинная беседа была бы только разочарованием, — пеньками запинок, жмыхами хмыканья, осыпью мелких слов?

«Da kommen die Wolken schon»[53], — продолжал кончеевовидный немец, указывая пальцем полногрудое облако, поднимавшееся с запада. (Студент, пожалуй. Может быть, с философской или музыкальной прожилкой. Где теперь Яшин приятель? Вряд ли сюда заглядывает.)

«Halb fünf ungefähr»[54], — добавил он на вопрос Федора Константиновича и, забрав свою трость, покинул скамейку. Его темная, сутулая фигура удалилась по тенистой тропе. (Может быть, поэт? Ведь есть же в Германии поэты. Плохенькие, местные, — но все-таки не мясники. Или только гарнир к мясу?)

Ему было лень возвращаться на другой берег вплавь; он побрел по дорожке, огибающей озеро с северной стороны. Там, где шел широкий песчаный свалок к воде, с обнаженными корнями опасливых сосен, удерживающими оползающий

---

[53] Примечания: 53
Вот уже показались облака *(нем.)*.

[54] Примечания: 54
Примерно половина пятого *(нем.)*.

берег, было опять людно, и внизу, на полоске травы, лежало три голых трупа, белый, розовый и коричневый, как тройной образец действия солнца. Дальше, по загибу озера, тянулось болотце, и темная, почти черная земля тропы свежо липла к пяткам. Он поднялся опять наверх, по усыпанному хвойными иголками скату, и пошел пестрым лесом к своему логовищу. Было весело, грустно, солнечно, тенисто, — не хотелось возвращаться домой, а пора было. На минуту он прилег у старого дерева, словно подозвавшего — покажу что-то интересное. Среди деревьев зазвучала песенка, и вот — показались, идущие скорым шагом, пять евангелических сестер, круглолицых, в черных платьях и белых наколках, и песенка — смесь гимназического и ангельского — все время висела между ними, покамест то одна, то другая наклонялась на ходу, чтобы сорвать скромный цветок (незримый Федору Константиновичу, хотя он лежал близко), и разгибалась особенно ловко, одновременно догоняя остальных, подхватывая такт и приобщая призрак цветка к призрачному пучку идиллическим жестом (пальцы большой и указательный соединены на миг, другие отогнуты), — и стало ясно: ведь это сценическое действие, — и какое умение во всем, какая бездна

грации и мастерства, какой режиссер за сосна-ми, как все рассчитано, — и то, что идут слегка вразброд, а вот теперь выровнялись, спереди три, сзади две, и то, что сзади одна мимолетно смеется (очень келейный юмор), оттого что идущая впереди вдруг, с оттенком экспансивности, полувсплеснула руками на особенно небесной ноте, и то, как песенка мельчает, удаляясь, между тем как все наклоняется плечо, и пальцы ловят стебель травы (но он, лишь качнувшись, остался блестеть на солнце… где это уже раз так было — что качнулось?..), — и вот — все уходят за деревья своей скорой походкой на пуговках, и какой-то полуголый мальчик, будто ища свой мяч в траве, грубовато и машинально повторяет обрывок их песенки (знакомый музыкантам **смешной** повтор). Как это поставлено! Сколько труда было положено на эту легкую, быструю сцену, на это проворное прохождение, какие мускулы под этим тяжелым с виду черным сукном, которое после антракта будет сменено на газовые пачки!

Облако забрало солнце, лес поплыл и постепенно потух. Федор Константинович направился в чащу, где оставил одежду. В ямке под кустом, всегда так услужливо укрывавшей ее, он теперь нашел только одну туфлю: все остальное — плед,

рубашка, штаны — исчезло. Есть рассказ о том, как пассажир, нечаянно выронивший из вагонного окна перчатку, немедленно выбросил вторую, чтобы по крайней мере у нашедшего оказалась пара. В данном случае похититель поступил наоборот: туфли, вероятно, ему не годились, да и резина на подошвах была в дырках, но, чтоб пошутить над своей жертвой, он пару разобщил. В туфле, кроме того, был оставлен клочок газеты с карандашной надписью: «Vielen Dank»[55].

Федор Константинович побродил кругом да около, никого и ничего не найдя. Рубашка была поношенная, Бог с ней, но клетчатого пледа, вывезенного из России, и хороших фланелевых штанов, купленных сравнительно недавно, было немного жалко. Со штанами ушли двадцать марок, третьего дня добытые для частичной хотя бы уплаты за комнату. Еще ушел карандашик, платок и связка ключей. Последнее было почему-то неприятнее всего. Если сейчас никого дома нет, что вполне вероятно, то попасть в квартиру невозможно.

Ослепительно загорелся край облака, и солнце выскользнуло. Оно источало такую жгучую, бла-

---

[55] Примечания: 55
Большое спасибо *(нем.)*.

женную силу, что Федор Константинович, забыв досаду, прилег на мох и стал смотреть туда, где, съедая синеву, близилась следующая снежная громада: солнце в нее гладко въехало, с каким-то траурным трепетом в двоящемся ободке огня, дрожа и летя сквозь кучевую бель, — а затем, найдя выход, сперва выбросило три луча, а потом распустилось пятнистым огнем в глазах, прокатя их на вороных (так что, куда ни взглянешь, скользят призраки каланчевых баллов), — и по мере усиления или обмирания света все тени в лесу дышали, то припадая грудью к земле, то приподымаясь на руках.

Маленьким побочным утешением служило то, что благодаря завтрашнему отъезду Щеголевых в Данию будет все равно лишняя связка ключей, — значит, можно умолчать о пропаже. Уезжают, уезжают, уезжают! Он вообразил то, что постоянно воображал в течение последних двух месяцев, завтрашнее начало полной жизни с Зиной — освобождение, утоление, — а между тем заряженная солнцем туча, наливаясь, растя, с набухшими бирюзовыми жилами, с огненным зудом в ее грозовом корне, всем своим тяжким, неповоротливым великолепием заняла небо, лес, его самого, — и разрешить это напряжение

казалось чудовищным, человечески непереносимым счастьем. Ветер пробежал по его груди, волнение медленно ослабло, все было темно и душно, надо было спешить домой. Он еще пошарил под кустами; пожал плечами, потуже завел резиновый поясок трусиков — и отправился в обратный путь.

Когда он вышел из леса и стал переходить улицу, смоляное прикосновение асфальта к босой ступне оказалось приятной новинкой. Дальше, по панели, было тоже интересно идти. Легкость сновидения. Пожилой прохожий в черной фетровой шляпе остановился, глядя ему вслед, и грубо сказал что-то, — но тут же, в виде благого возмещения убытка, слепой, сидящий с гармоникой спиной к каменной ограде, пробормотал как ни в чем не бывало просьбу о малой милости, выжимая многоугольный звук (странно все же, — ведь он должен был слышать, что я бос). Два школьника с кормы трамвая окликнули голого мимоездом, и затем воробьи вернулись на газон, между рельсов, откуда их спугнул гремящий желтый вагон. Начал капать дождь, и это было так, словно кто-то прикладывал к разным частям его тела серебряную монету. От газетной будки медленно отделился и перешел к нему молодой

полицейский.

«Так по городу гулять воспрещается», — сказал он, глядя Федору Константиновичу в пупок.

«Всё украли», — объяснил Федор Константинович кратко.

«Этого случаться не должно», — сказал полицейский.

«Да, но все-таки случилось», — сказал, кивая, Федор Константинович (несколько человек уже остановилось подле и следило с любопытством за диалогом).

«Обокрали ли вас или нет, ходить по улицам нагишом нельзя», — сказал полицейский, начиная сердиться.

«Однако я должен же как-нибудь дойти до стоянки таксомоторов, — как вы полагаете?»

«В таком виде — не можете».

«К сожалению, я не способен обратиться в дым или обрасти костюмом».

«А я вам говорю, что так гулять нельзя», — сказал полицейский. («Неслыханное бесстыдство», — комментировал чей-то толстый голос сзади.)

«В таком случае, — сказал Федор Константинович, — вам остается пойти за такси для меня, а я пока постою здесь».

«Стоять в голом виде тоже нельзя», — сказал полицейский.

«Я сниму трусики и изображу статую», — предложил Федор Константинович.

Полицейский вынул книжечку и так вырвал из нее карандаш, что уронил его на панель. Какой-то мастеровой подобострастно поднял.

«Фамилия и адрес», — сказал полицейский, кипя.

«Федор Годунов-Чердынцев», — сказал Федор Константинович.

«Перестаньте делать вицы и скажите ваше имя», — заревел полицейский.

Подошел другой, чином постарше, и полюбопытствовал, в чем дело.

«У меня в лесу украли одежду», — терпеливо сказал Федор Константинович и вдруг почувствовал, что совершенно влажен от дождя. Кое-кто из зевак убежал под прикрытие навеса, а старушка, стоявшая у его локтя, распустила зонтик, едва не выколов ему глаз.

«Кто украл?» — спросил вахмистр.

«Я не знаю кто, и главное, мне это совершенно безразлично, — сказал Федор Константинович. — Сейчас я хочу ехать домой, а вы меня задерживаете».

Дождь внезапно усилился и понесся через асфальт, по всей плоскости которого запрыгали свечки, свечки, свечки. Полицейским (уже вконец свалявшимся и почерневшим от мокроты) ливень, вероятно, показался стихией, в которой купальные штаны — если не уместны — то, во всяком случае, терпимы. Младший попробовал еще раз добраться до адреса Федора Константиновича, но старший махнул рукой, и оба, слегка ускорив чинный шаг, отступили под навес колониальной лавки. Блестящий Федор Константинович побежал среди шумного плеска, завернул за угол и нырнул в автомобиль.

Доехав и велев шоферу подождать, он нажал кнопку, до восьми часов вечера автоматически отпиравшую дверь, и ринулся вверх по лестнице. Его впустила Марианна Николаевна; в прихожей было полно народу и вещей: Щеголев, без пиджака, двое мужиков, возившихся с ящиком (в котором, кажется, было радио), миловидная шляпница с картонкой, какая-то проволока, горка белья из прачешной…

«Вы с ума сошли!» — воскликнула Марианна Николаевна.

«Ради Бога, заплатите за такси», — сказал Федор Константинович, холодным телом извиваясь

между людей и вещей, — и наконец, через баррикаду чемоданов, он дорвался до своей комнаты.

В тот вечер трапеза была общая, а попозже должны были прийти Касаткины, балтийский барон, еще кто-то… За ужином Федор Константинович рассказывал, не без прикрас, о приключившемся с ним, и Щеголев смеялся здоровым смехом, а Марианна Николаевна интересовалась (не зря), сколько в штанах было денег. Зина же пожимала плечами и с непривычной откровенностью науськивала Федора Константиновича на водку, явно опасаясь, что он простудился.

«Ну что ж, — последний наш вечерок! — сказал Борис Иванович, вдоволь нахохотавшись. — За ваше преуспевание, синьор. Кто-то мне на днях говорил, что вы накатали презлой реферат о Петрашевском. Похвально. Слушай, мама, там стоит еще бутылочка, незачем везти, отдашь Касаткиным».

«…Значит, остаетесь сиротой (продолжал он, принимаясь за итальянский салат и необыкновенно грязно его пожирая). Не думаю, что наша Зинаида Оскаровна будет особенно холить вас. Ась, принцесса?»

«…Да, так-то, дорогой, меняется судьба человечья, печенка овечья. Думал ли я, что вдруг

улыбнется счастье, — тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить. Еще этой зимой ведь прикидывал: зубы на полку али продать Марианну Николаевну на слом?.. Полтора года как-никак прожили с вами вместе, душа — извините за выражение — в душу, а завтра расстанемся — вероятно, навсегда. Судьба играет человеком. Нынче — пан, завтра — папан».

Когда ужин кончился и Зина пошла вниз впускать гостей, Федор Константинович беззвучно отступил в свою комнату, где от ветра и дождя все было тревожно-оживленно. Он прикрыл раму, но через минуту ночь сказала: «Нет», — и с какой-то широкоглазой назойливостью, презирая удары, подступила опять. Мне было так забавно узнать, что у Тани родилась девочка, и я страшно рад за нее, за тебя. Я Тане на днях написал длинное лирическое письмо, но у меня неприятное чувство, что я неправильно надписал ваш адрес: вместо «сто двадцать два» — какой-то другой номер, на ура (тоже в рифму), как уже было раз, не понимаю, отчего это происходит, — пишешь, пишешь адрес, множество раз, машинально и правильно, а потом вдруг спохватишься, посмотришь на него сознательно, и видишь, что не уверен в нем, что он незнакомый, — очень странно. Знаешь:

потолок, па-та-лок, pas ta loque[56], патолог, — и так далее, — пока «потолок» не становится совершенно чужим и одичалым, как «локотоп» или «покотол». Я думаю, что **когда-нибудь** со всей жизнью так будет. Во всяком случае, передай Таничке всякого от меня веселого, зеленого, лешински-летнего. Завтра уезжают мои хозяева, и от радости я вне себя: **вне себя**, — очень приятное положение, как ночью на крыше. Еще месяц я останусь на Агамемноне, а потом перееду… Не знаю, как сложится дальше. Между прочим, мой Чернышевский сравнительно неплохо идет. Кто именно тебе говорил, что Бунин хвалит? Мне уже кажется давнишним делом моя возня с этой книгой, и все те маленькие бури мысли, заботы пера, — и теперь я совершенно пуст, чист, и готов принять снова постояльцев. Знаешь, я как цыган черен от груневальдского солнца. Кое-что вообще намечается, — вот напишу классический роман, с типами, с любовью, с судьбой, с разговорами — —

Дверь вдруг открылась, наполовину вошла Зина и, не отпуская дверной ручки, бросила к нему на стол что-то.

---

[56] Примечания: 56
Не твое тряпье *(фр.)*.

«Это заплатите маме», — сказала она; прищурилась — и исчезла.

Он развернул бумажку. Двести. Сумма представилась огромной, но минутное вычисление показало, что только как раз хватит за два прошлых месяца, восемьдесят плюс восемьдесят, и за ближайший тридцать пять, уже без еды. Но все вдруг спуталось, когда он начал соображать, что в этом последнем месяце не обедал, но зато получал более сытный ужин; кроме того, внес за это время десять (или пятнадцать?) марок, а, с другой стороны, должен за телефонные разговоры и за кое-какие мелочи, как, например, сегодняшний таксомотор. Решение задачи было ему не по силам, скучно; он засунул деньги под словарь.

— — и с описанием природы. Я очень рад, что ты перечитываешь мою штуку, но теперь пора ее забыть, — это только упражнение, проба, сочинение накануне каникул. Очень я соскучился по тебе и, может быть (повторяю, не знаю, как сложится…), посещу тебя в Париже. Вообще, я бы завтра же бросил эту тяжкую, как головная боль, страну, — где все мне чуждо и противно, где роман о кровосмешении или бездарно-ударная, приторно-риторическая, фальшиво-вшивая повесть о войне считается венцом литературы; где

литературы на самом деле нет, и давно нет; где из тумана какой-то скучнейшей демократической мокроты — тоже фальшивой — торчат все те же сапоги и каска; где наш родной социальный заказ заменен социальной оказией, — и так далее, так далее… я бы мог еще долго, — и занятно, что полвека тому назад любой русский мыслитель с чемоданом совершенно то же самое строчил, — обвинение настолько очевидное, что становится даже плоским. Зато раньше, в золотой середине века, Боже мой, какие восторги! «Маленькая гемютная Германия» — ах, кирпичные домики, ах, ребятишки ходят в школу, ах, мужичок не бьет лошадку дрекольем!.. Ничего, — он ее по-своему замучит, по-немецки, в укромном уголку, каленым железом. Да, я бы давно уехал, но есть некоторые личные обстоятельства (не говоря о моем чудном здесь одиночестве, о чудном благотворном контрасте между моим внутренним обыкновением и страшно холодным миром вокруг; знаешь, ведь в холодных странах теплее, в комнатах; конопатят и топят лучше), но и эти личные обстоятельства способны так повернуться, что, может быть, скоро, прихватив их с собой, покину Карманию. А когда мы вернемся в Россию? Какой идиотской сантиментальностью,

каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян. А ведь она не историческая, — только человеческая, — но как им объяснить? Мне-то, конечно, легче, чем другому, жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь, — во-первых, потому что увез с собой от нее ключи, а во-вторых, потому что все равно когда, через сто, через двести лет, — буду жить там в своих книгах или хотя бы в подстрочном примечании исследователя. Вот это уже, пожалуй, надежда историческая, историко-литературная… «Вожделею бессмертия, — хотя бы его земной тени!» Я тебе сегодня пишу сквозные глупости (как бывают сквозные поезда), потому что я здоров, счастлив, — а кроме того, все это каким-то косвенным образом относится к Таниному ребеночку.

Альманах называется «Башня». У меня нет, но, я думаю, ты найдешь в любой русской библиотеке. От дяди Олега мне ничего не было. Когда он выслал? По-моему, ты что-то спутала. Ну вот. Будь здорова, целую тебя. Ночь, тихо идет дождь, — он нашел свой ночной темп и теперь может идти бесконечно.

Послышалось, как прихожая наполнилась прощающимися голосами, как упал чей-то зон-

тик, как ухнул и остановился Зиной вызванный снизу лифт. Все стихло опять. Федор Константинович вошел в столовую, где Щеголев, усевшись, дощелкивал орехи, жуя на одной стороне, а Марианна Николаевна убирала со стола. Ее полное, темно-розовое лицо, с лоснящимися закрутками ноздрей, лиловые брови, абрикосовые волосы, переходящие в колючую синеву на голом, жирном загривке, васильковое око, с засоренным ресничной краской лузгом, мимоходом окунувшее взгляд в опивочную тину на дне чайника, кольца, гранатовая брошь, цветистый платочек на плечах, — все это составляло вместе грубо, но сочно намалеванную картину, несколько заезженного жанра. Она надела очки и достала из сумки листок с цифрами, когда Федор Константинович спросил, сколько он должен. Щеголев при этом удивленно поднял брови: он был уверен, что с жильца не получит уже ни копейки, и, будучи, в сущности, человеком добрым, еще вчера советовал жене не наседать, а через недели две написать Федору Константиновичу из Копенгагена с угрозой обратиться к его родным. После расчета от двухсот марок Федору Константиновичу осталось три с полтиной, и он пошел спать. В прихожей он встретился с Зиной, вернувшейся снизу.

«Ну?» — сказала она, держа палец на выключателе, — полувопросительное, полуподгоняющее междометие, значившее приблизительно: «Вы проходите? Я здесь тушу, проходите». Ямка ее обнаженной руки, светло-шелковые ноги в бархатных башмаках, опущенное лицо. Погасло.

Он лег и под шопот дождя начал засыпать. Как всегда, на грани сознания и сна всякий словесный брак, блестя и звеня, вылез наружу: хрустальный хруст той ночи христианской под хризолитовой звездой… — и прислушавшаяся на мгновение мысль, в стремлении прибрать и использовать, от себя стала добавлять: и умер исполин яснополянский, и умер Пушкин молодой… — а так как это было ужасно, то побежала дальше рябь рифмы: и умер врач зубной Шполянский, астраханский, ханский, сломал наш Ганс кий… Ветер переменился, и пошло на «зе»: изобразили и бриз из Бразилии, изобразили и ризу грозы… тут был опять кончик, доделанный мыслью, которая опускалась все ниже в ад аллигаторских аллитераций, в адские кооперативы слов, не «благо», а «blague»[57]. Сквозь этот бессмысленный разговор в щеку кругло ткнулась пуговица наволочки, он

---

[57] Примечания: 57
Шутка, обман *(фр.).*

перевалился на другой бок, и по темному фону побежали голые в груневальдскую воду, и какое-то пятно света в вензельном образе инфузории поплыло наискось в верхний угол подвечного зрения. За некой прикрытой дверцей в мозгу, держась за ее ручку и отворотясь, мысль принялась обсуждать с кем-то сложную важную тайну, но когда на минуту дверца отворилась, то оказалось, что речь идет просто о каких-то стульях, столах, атоллах. Вдруг, среди сгущающейся мглы, у последней заставы разума, серебром ударил телефонный звонок, и Федор Константинович перевалился ничком, падая… Звон остался в пальцах, как если бы он отрекался. В прихожей, уже опустив трубку обратно в черный футляр, стояла Зина, — она казалась испуганной. «Это звонили тебе, — сказала она вполголоса. — Твоя бывшая хозяйка, Egda Stoboy. Просит, чтоб ты немедленно приехал. Там кто-то тебя ждет. Поторопись». Он натянул фланелевые штаны и пошел, задыхаясь, по улице. В это время года в Берлине бывает подобие белых ночей: воздух был прозрачно-сер, и мыльным маревом плыли туманные дома. Какие-то ночные рабочие развороти ли мостовую на углу, и нужно было пролезть через узкие бревенчатые коридоры, причем у входа всякому

давалось по фонарику, которые оставлялись у выхода, на крюках, вбитых в столб, или просто на панели, рядом с бутылками из-под молока. Оставив и свою бутылку, он побежал дальше по матовым улицам, и предчувствие чего-то невероятного, невозможного, нечеловечески изумительного обдавало ему сердце какой-то снежной смесью счастья и ужаса. В серой мгле из здания гимназии вышли парами и прошли мимо слепые дети в темных очках, которые учатся ночью (в экономно-темных школах, днем полных детей зрячих), и пастор, сопровождавший их, был похож на лешинского сельского учителя Бычкова. Прислонившись к фонарю, опустив лохматую голову, расставя ножницами ноги в узких панталонах со штрипками и заложив в карманы руки, стоял худощавый пьяница, словно сошедший со страницы старинной «Стрекозы». В русском книжном магазине был еще свет, — там выдавали книжки ночным шоферам, и сквозь желтоватую муть стекла он заметил силуэт Миши Березовского, протягивавший кому-то черный атлас Петри. Тяжело, должно быть, так работать по ночам! Волнение опять захлестнуло его, как только он попал в район, где жил прежде. Было трудно дышать от бега, свернутый плед от-

тягивал руку, — надо было спешить, а между тем он запамятовал расположение улиц, пепельная ночь спутала все, переменив, как на негативе, взаимную связь темных и бледных мест, и некого было спросить, все спали. Вдруг вырос тополь, и за ним — высокая кирка, с фиолетово-красным окном в арлекиновых ромбах света: внутри шла ночная служба, и спешила подняться по ступенькам траурная старушка, с ваткой под седельцем очков. Он нашел свою улицу, но у ее начала столб с нарисованной рукой в перчатке с раструбом указывал, что надо проникать в нее с другого конца, где почтамт, так как с этого свалены флаги для завтрашних торжеств. Но он боялся потерять ее во время обхода, а к тому же почтамт — это будет потом, — если только матери **уже** не отправлена телеграмма. Он перелез через доски, ящики, куклу гренадера в буклях, и увидел знакомый дом, и там рабочие уже протянули от порога через панель красную полоску ковра, как бывало перед особняком на Набережной в бальную ночь. Он взбежал по лестнице, фрау Стобой сразу отворила ему. Лицо у нее горело, на ней был белый госпитальный халат, — она прежде занималась медициной. «Только не волноваться, — сказала она. — Идите к себе в комнату и ждите там». «Вы

должны быть готовы ко всему», — добавила она с звоном в голосе и втолкнула его в ту комнату, в которую он думал, что никогда в жизни больше не войдет. Он схватил ее за локоть, теряя власть над собой, но она его стряхнула. «К вам кто-то приехал, — сказала Стобой, — он отдыхает… Обождите пару минут». Дверь захлопнулась. В комнате было совершенно так, как если б он до сих пор в ней жил: те же лебеди и лилии на обоях, тот же тибетскими бабочками (вот, напр., Thecla bieti) дивно разрисованный потолок. Ожидание, страх, мороз счастья, напор рыданий — все смешалось в одно ослепительное волнение, и он стоял посреди комнаты, не в силах двинуться, прислушиваясь и глядя на дверь. Он знал, **кто** войдет сейчас, и теперь мысль о том, как он прежде сомневался в этом возвращении, удивляла его: это сомнение казалось ему теперь тупым упрямством полоумного, недоверием варвара, самодовольством невежды. У него разрывалось сердце, как у человека перед казнью, но вместе с тем эта казнь была такой радостью, перед которой меркнет жизнь, и ему было непонятно отвращение, которое он, бывало, испытывал, когда в наспех построенных снах ему мерещилось то, что свершалось теперь наяву. Вдруг, за **вздрогнувшей** дверью (где-то

далеко отворилась другая), послышалась знакомая поступь, домашний сафьяновый шаг, дверь бесшумно, но со страшной силой открылась, и на пороге остановился отец. Он был в золотой тюбетейке, в черной шевиотовой куртке, с карманами на груди для портсигара и лупы; коричневые щеки в резком разбеге парных борозд были особенно чисто выбриты; в темной бороде блестела, как соль, седина; глаза тепло и мохнато смеялись из сети морщин; — а Федор стоял и не мог ступить шага. Отец произнес что-то, но так тихо, что разобрать было нельзя, хотя как-то зналось: это относится к тому, что вернулся он невредимым, целым, человечески настоящим. И все-таки было страшно приблизиться, — так страшно, что Федору казалось — он умрет, если вошедший к нему двинется. Где-то в задних комнатах раздался предостерегающе-счастливый смех матери, а отец тихо почмокал, почти не раскрывая рта, как делал, когда решался на что-нибудь или искал чего-нибудь на страничке… потом опять заговорил, — и это опять значило, что все хорошо и просто, что это и есть воскресение, что иначе быть не могло, и еще: что он доволен, доволен, — охотой, возвращением, книгой сына о нем, — и тогда наконец все полегчало, прорвался свет, и

отец уверенно-радостно раскрыл объятья. Застонав, всхлипнув, Федор шагнул к нему, и в сборном ощущении шерстяной куртки, больших ладоней, нежных уколов подстриженных усов наросло блаженно-счастливое, живое, не перестающее расти, огромное, как рай, тепло, в котором его ледяное сердце растаяло и растворилось.

Сначала нагромождение чего-то на чем-то и бледная дышащая полоса, идущая вверх, были совершенно непонятны, как слова на забытом языке или части разобранной машины, — и от этой бессмысленной путаницы панический трепет пробежал по душе: проснулся в гробу, на луне, в темнице вялого небытия. Но что-то в мозгу повернулось, мысль осела, поспешила замазать правду, — и он понял, что смотрит на занавеску полураскрытого окна, на стол, перед окном: таков договор с рассудком, — театр земной привычки, мундир временного естества. Он опустил голову на подушку и попытался нагнать теплое, дивное, все объясняющее, — но уже теперь приснилось что-то бесталанно-компилятивное, кое-как сшитое из обрезков дневного житья и подогнанное под него.

Утро было пасмурное, прохладное, с серо-черными лужами на асфальте двора, и раздавался

противно-плоский стук выбиваемых ковров. Щеголевы кончали укладывать чемоданы, Зина ушла на службу, а в час дня должна была встретиться с матерью, чтобы обедать с ней в «Фатерланде». Присоединиться к ним Федору Константиновичу, к счастью, не предложили, — напротив, Марианна Николаевна, подогревая ему кофе на кухне, где он сидел в халате, сбитый с толку бивуачным настроением в квартире, предупредила, что в кладовке оставлено ему на обед немного итальянского салата и ветчины. Выяснилось, между прочим, что ночью звонил все тот же незадачливый абонент: на этот раз был в ужасном волнении, случилось что-то, — так и оставшееся неизвестным.

Борис Иванович в десятый раз перекладывал из одного чемодана в другой башмаки на колодках, все чистенькие, блестящие, — он был необыкновенно щепетилен в смысле обуви.

Потом они оделись и ушли, а Федор Константинович долго и удачно купался, брился, подстригал на ногах ногти, было особенно приятно подлезть под тугой уголок, щелкнуть, — они стреляли по всей ванной. Стучался швейцар, но не мог войти, потому что Щеголевы, уйдя, заперли дверь на американский замок, а ключи Федора Кон-

стантиновича неизвестно где разгуливали. В щелку, звякнув заслонкой, почтальон бросил белградскую газетку «За Царя и Церковь», которую выписывал Борис Иванович, а погодя кто-то всунул (оставшийся торчать лодочкой) рекламный листок недавно открывшейся парикмахерской. Ровно в половине двенадцатого донесся с лестницы гулкий лай и взволнованное нисхождение эльзасской овчарки, которую в это время водили гулять. С гребешком в руке он выходил на балкон, посмотреть, не прояснилось ли, но, хотя не было дождя, небо белело тускло и безнадежно, — и немыслимо было представить себе, что можно было вчера лежать в лесу. В щеголевской спальне валялась бумажная рвань, один из чемоданов был раскрыт, и в нем сверху лежала на вафельном полотенце резиновая груша. На двор пришел бродячий усач с цимбалами, барабаном, саксофоном, весь увешанный музыкой, с блестящей музыкой на голове, с обезьянкой в красной фуфайке, и долго пел, притоптывая и бряцая, — не заглушая, впрочем, пальбы по коврам на козлах. Осторожно толкнув дверь, Федор Константинович вошел в Зинину комнату, где не бывал никогда, и со странным чувством веселого новоселья долго смотрел на бойко тикающий будильник, на розу

в стакане, со стеблем, обросшим пузырьками, на оттоманку, превращавшуюся на ночь в постель, и на чулки, сохнувшие на паровом отоплении. Он закусил, затем сел у своего стола, окунул перо и замер над белой страницей. Вернулись Щеголевы, приходил швейцар, Марианна Николаевна разбила флакон духов, — а он все сидел над исподлобья глядевшим листом и только очнулся, когда Щеголевы собрались ехать на вокзал. До отхода поезда оставалось часа два, но вокзал, правда, находился далеко. «Грешный человек, — люблю приезжать сранья», — бодро сказал Борис Иванович, захватывая себя за рукав и манжету, чтобы влезть в пальто. Федор Константинович помог ему (тот с вежливым восклицанием, еще половинчатый, шарахнулся и вдруг, в углу, превратился в страшного горбуна), а потом пошел проститься с Марианной Николаевной, которая перед зеркальным шкапом, странно изменив выражение лица (затуманивая и задабривая свое отражение), надевала синюю с синей вуалеткой шляпу. Федору Константиновичу вдруг стало странно жаль ее, и, подумав, он предложил пойти на угол за такси. «Да, пожалуйста», — сказала Марианна Николаевна, тяжело ринувшись к перчаткам на диване.

На стоянке автомобилей не оказалось, разобрали, и ему пришлось перейти через площадь и там поискать. Когда он наконец подъехал к дому, Щеголевы уже стояли внизу, сами снеся чемоданы («тяжелый багаж» был отправлен вчера).

«Ну, храни вас Бог», — сказала Марианна Николаевна и гуттаперчевыми губами поцеловала его в лоб.

«Сароцка, Сароцка, телеграфуй!» — крикнул Борис Иванович, шутливо махая ручкой, и автомобиль, повернувшись, отъехал.

«Навсегда», — с облегчением подумал Федор Константинович и, посвистывая, поднялся наверх.

Тут только он понял, что войти в квартиру не может. Особенно было обидно глядеть, приподняв заслонку, в почтовую щель на связку ключей, звездой лежавшую на полу в прихожей: их всунула обратно Марианна Николаевна, заперев за собой дверь. Он сошел по ступеням гораздо медленнее, чем поднялся. Зина, он знал, собиралась поехать со службы на вокзал: считая, что поезд отходит через полтора часа с лишним и что езды на автобусе час, она (и ключи) раньше, чем часа через три, не вернется. На улице было ветрено и смуро; идти было не к кому, а в пивные, в кафе

он никогда не захаживал, ненавидя их люто. В кармане было три с полтиной, он купил папирос, и так как сосущая, как голод, потребность поскорей увидеть Зину (теперь-то, когда все позволено), собственно, и оттягивала от улицы, от неба, от воздуха, весь свет и смысл, он поспешил на тот угол, где проходил нужный автобус. То, что он был в ночных туфлях, в старейшем мятом костюме, запятнанном спереди, с недостающей на гульфике пуговкой, мешками на коленях и материнской заплатой на заду, нимало его не беспокоило. Загар и раскрытый ворот чистой рубашки давали ему некий приятный иммунитет.

Был какой-то государственный праздник. Из окон домов торчали трех сортов флаги: черно-желто-красные, черно-бело-красные и просто красные; каждый сорт что-то означал, а смешнее всего: это что-то кого-то могло волновать гордостью или злобой. Были флаги большие и малые, на коротких древках и на длинных, но от всего этого экзибиционизма гражданского возбуждения город не стал привлекательнее. На Тауэнтциенштрассе автобус задержала мрачная процессия; сзади, на медленном грузовике, ехали полицейские в черных крагах, а среди знамен было одно с русской надписью «За Серб и Молт!», так

что некоторое время Федор тяготился мыслью, где это живут Молты, — или это Молдаване? Вдруг он представил себе казенные фестивали в России, долгополых солдат, культ скул, исполинский плакат с орущим общим местом в ленинском пиджачке и кепке, и среди грома глупости, литавров скуки, рабьих великолепий — маленький ярмарочный писк грошовой истины. Вот оно, вечное, все более чудовищное в своем радушии, повторение Ходынки, с гостинцами — во какими (гораздо больше сперва предлагавшихся) и прекрасно организованным увозом трупов… А в общем — пускай. Все пройдет и забудется, — и опять через двести лет самолюбивый неудачник отведет душу на мечтающих о довольстве простаках (если только не будет моего мира, где каждый сам по себе, и нет равенства, и нет властей, — впрочем, если не хотите, не надо, мне решительно все равно).

Потсдамская площадь, всегда искалеченная городскими работами (о, старые открытки с нее, где все так просторно, отрада извозчиков, подолы дам в кушачках, метущие пыль, — но те же жирные цветочницы). Псевдо-парижский пошиб Унтер-ден-Линдена. Узость торговых улиц за ним. Мост, баржа и чайки. Мертвые глаза старых

гостиниц второго, третьего, сотого разряда. Еще несколько минут езды, и вот — вокзал.

Он увидел Зину в бланжевом жоржетовом платье и белой шапочке, взбегающую по ступеням. Она взбегала, прижав к бокам розовые локти, зажав сумку, — и когда он ее полуобнял, догнав, она обернулась с той нежной, матовой улыбкой, с той счастливой грустью в глазах, которыми она встречала его наедине. «Слушай, — сказала она суетливо, — я опаздываю, бежим». Но он ответил, что уже распрощался с ними и подождет ее внизу.

Низкое, садящееся за крыши, солнце как бы выпало из облаков, покрывавших свод (но уже совсем мягких и отрешенных, как волнистое их таяние на зеленоватом плафоне), и там, в узком просвете, небо было раскалено, а напротив, как медь, горело окно и металлические буквы. Длинная тень носильщика, катящая тень тачки, втянула эту тень в себя, но она опять острым углом выперла на повороте.

«Будем скучать без тебя, Зиночка, — сказала Марианна Николаевна, уже из вагона. — Но ты, во всяком случае, возьми отпуск в августе и приезжай к нам, — посмотрим, может быть, и совсем останешься».

«Не думаю, — сказала Зина. — Ах да. Я сегодня дала тебе мои ключи. Не увези их, пожалуйста».

«Я, знаешь, их в передней оставила… А Борины в столе… Ничего: Годунов тебя впустит», — добавила Марианна Николаевна примирительно.

«Так-то. Счастливо оставаться, — вращая глазами, сказал Борис Иванович из-за жениного полного плеча. — Ах, Зинка, Зинка, — вот приедешь к нам, на велосипеде будешь кататься, молоко хлестать, — лафа!»

Поезд содрогнулся и вот пополз. Марианна Николаевна еще долго махала. Щеголев, как черепаха, втянул голову (а сев, вероятно, крякнул).

Она вприпрыжку сбежала по ступеням, — сумка теперь свисала с пальцев, и от последнего солнечного луча бронзовый блеск пробежал у нее в зрачках, когда она подлетела к Федору Константиновичу. Они поцеловались так, словно она только что приехала издалека, после долгой разлуки.

«А теперь поедем ужинать, — сказала она, беря его под руку. — Ты, наверное, безумно голоден».

Он кивнул. Чем это объяснить? Откуда это странное смущение — вместо ликующей, говорливой свободы, которую я так, так предвкушал? Я словно отвык от нее или не могу с ней, прежней,

примениться к этой свободе.

«Что с тобой? Почему ты окислился?» — заметливо спросила она после молчания (они шли к остановке автобуса).

«Грустно расстаться с Борисом Бодрым», — ответил он, стараясь хоть остротой разрешить стеснение чувств.

«А я думаю, что это вчерашнее безобразие», — усмехнулась Зина, — и вдруг он уловил в ее тоне какой-то приподнятый звон, по-своему отвечавший его собственному замешательству и тем самым подчеркивавший и усиливавший его.

«Глупости. Дождь был теплый. Я дивно себя чувствую».

Подкатил, сели. Федор Константинович заплатил из ладони за два билета. Зина сказала: «Жалованье я получаю только завтра, так что у меня сейчас всего две марки. Сколько у тебя?»

«Слабо. От твоих двухсот мне отчислилось три с полтиной, но из них больше половины уже ухнуло».

«На ужин-то у нас хватит», — сказала Зина.

«Ты совсем уверена, что тебе нравится идея ресторана? Потому что мне — не очень».

«Ничего, примирись. Вообще теперь со здоровым домашним столом кончено. Я не умею

делать даже яичницу. Надо будет подумать, как устроиться. А сейчас я знаю отличное место».

Несколько минут молчания. Уже зажигались фонари, витрины; от незрелого света улицы осунулись и поседели, а небо было светло, широко, в облачках, отороченных фламинговым пухом.

«Смотри, готовы фоточки».

Он их взял из ее холодных пальцев. Зина на улице, перед конторой, прямая и светлая, с тесно составленными ногами, и тень липового ствола поперек панели, как опущенный перед ней шлагбаум; Зина, боком сидящая на подоконнике с солнечным венцом вокруг головы; Зина за работой, плохо вышедшая, темнолицая, — зато на первом плане — царственная машинка, с блеском на рычажке каретки.

Она их засунула обратно в сумку, вынула и положила обратно месячный трамвайный билет в целлофане, вынула зеркальце, посмотрела, оскалившись на пломбу в переднем зубе, положила обратно, защелкнула сумку, опустила ее к себе на колени, посмотрела себе на плечо, смахнула пушинку, надела перчатки, повернула голову к окну, — все это необыкновенно быстро, с движением на лице, с миганием, с каким-то внутренним покусыванием и втягиванием щек.

Но теперь она сидела неподвижно, сухожилье было натянуто на бледной шее, руки в белых перчатках лежали на зеркальной коже сумки.

Теснина Бранденбургских ворот.

За Потсдамской площадью, при приближении к каналу, пожилая скуластая дама (где я ее видел?), с глазастой, дрожащей собачкой под мышкой, рванулась к выходу, шатаясь, борясь с призраками, и Зина посмотрела вверх на нее беглым небесным взглядом.

«Узнал? — спросила она. — Это Лоренц. Кажется, безумно на меня обижена, что я ей не звоню. В общем, совершенно лишняя дама».

«У тебя копоть на скуле, — сказал Федор Константинович. — Осторожно, не размажь».

Опять сумка, платочек, зеркальце.

«Нам скоро вылезать, — проговорила она погодя. — Что?»

«Ничего. Соглашаюсь. Вылезем где хочешь».

«Здесь», — сказала она еще через две остановки, взяв его за локоть, приподнявшись, сев опять от толчка, поднявшись окончательно, вылавливая, как из воды, сумку.

Огни уже отстоялись; небо совсем обмерло. Проехал грузовик с возвращавшимися после каких-то гражданских оргий, чем-то махавшими,

что-то выкрикивавшими молодыми людьми. Посреди бездревесного сквера, состоявшего из большого продолговатого цветника, обведенного дорожкой, цвела армия роз. Открытый загончик ресторана (шесть столиков) против этого сквера был отделен от панели беленым барьером с петуньями поверху.

Рядом жрут кабан с кабанихой, у кельнера черный ноготь окунается в соус, а к золотой каемке моего пивного стакана вчера льнула губа с язвочкой… Туман какой-то грусти обволок Зину — ее щеки, прищуренные глаза, душку на шее, косточку, — и этому как-то способствовал бледный дым ее папиросы. Шаркание прохожих как бы месило сгущавшуюся темноту.

Вдруг, в откровенно ночном небе, очень высоко — —

«Смотри, — сказал он. — Какая прелесть!»

По темному бархату медленно скользила брошка с тремя рубинами, — так высоко, что даже грома мотора не было слышно.

Она улыбнулась, приоткрыв губы, глядя вверх.

«Сегодня?» — спросил он, тоже глядя вверх.

Теперь только он вступил в строй чувств, который он себе сулил, когда прежде думал о том, как с ней выскользнет из плена, постепенно

утвердившегося за время их встреч, постепенно ставшего привычным, хотя был основан на чем-то искусственном и, в сущности, недостойном того значения, которое оно приобрело: теперь казалось непонятным, почему в любой из этих четырехсот пятидесяти пяти дней они просто не съехали со щеголевской квартиры, чтобы поселиться вдвоем; но вместе с тем он подразумно знал, что эта внешняя помеха была только предлогом, только показным приемом судьбы, наспех поставившей первую попавшуюся под руку загородку, чтобы тем временем заняться важным, сложным делом, внутренней необходимостью которого была как раз задержка развития, зависевшая будто бы от житейской преграды.

Теперь (в этом белом, освещенном загончике, при золотистой близости Зины и при участии теплой вогнутой темноты, сразу за вырезным озарением петуний) он окончательно нашел в мысли о методах судьбы то, что служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманного «романа», о котором он накануне вскользь сообщал матери. Об этом-то он и заговорил сейчас, так заговорил, словно это было только лучшее, естественнейшее выражение счастья, — которое тут же, побочно, в более общедоступном

издании, выражалось такими вещами, как бархатистость воздуха, три липовых изумрудных листа, попавших в фонарный свет, холод пива, лунные вулканы картофельного пюре, смутный говор, шаги, звезда среди развалин туч…

«Вот что я хотел бы сделать, — сказал он. — Нечто похожее на работу судьбы в **нашем** отношении. Подумай, как она за это принялась три года с лишним тому назад… Первая попытка свести нас: аляповатая, громоздкая! Одна перевозка мебели чего стоила… Тут было что-то такое размашистое, „средств не жалею“, — шутка ли сказать, — перевезти в дом, куда я только что въехал, Лоренцов и всю их обстановку! Идея была грубая: через жену Лоренца познакомить меня с тобой, — а для ускорения был взят Романов, позвавший меня на вечеринку к ним. Но тут-то судьба и дала маху: посредник был взят неудачный, неприятный мне, — и получилось как раз обратное: из-за него я стал избегать знакомства с Лоренцами, — так что все это громоздкое построение пошло к чорту, судьба осталась с мебельным фургоном на руках, затраты не окупились».

«Смотри, — сказала Зина, — на эту критику она может теперь обидеться — и отомстить».

«Слушай дальше. Она сделала свою вторую по-

пытку, уже более дешевую, но обещавшую успех, потому что я-то нуждался в деньгах и должен был бы ухватиться за предложенную работу — помочь незнакомой барышне с переводом каких-то документов; но и это не вышло. Во-первых, потому что адвокат Чарский оказался тоже маклером неподходящим, а во-вторых, потому что я ненавижу заниматься переводами на немецкий, — так что опять сорвалось. Тогда-то наконец, после этой неудачи, судьба решила бить наверняка, т. е. прямо вселить меня в квартиру, где ты живешь, и для этого в посредники она выбрала уже не первого попавшегося, а человека, не только мне симпатичного, но энергично взявшегося за дело и не давшего мне увильнуть. В последнюю минуту, правда, случился затор, чуть не погубивший всего: второпях — или поскупившись — судьба не потратилась на твое присутствие во время моего первого посещения; я же, понимаешь, когда пять минут поговорил с твоим вотчимом, собственно по небрежности выпущенным из клетки, и через его плечо увидел ничем не привлекательную комнату, решил ее не снимать, — и тогда, из крайних средств, как последний отчаянный маневр, судьба, не могшая немедленно мне показать тебя, показала мне твое бальное голубоватое платье

на стуле, — и, странно, сам не понимаю почему, но маневр удался, представляю себе, как судьба вздохнула».

«Только это было не мое платье, а моей кузины Раисы, — причем она очень милая, но совершенная морда, — кажется, она мне его оставила, чтобы что-то снять или пришить».

«Тогда это совсем остроумно. Какая находчивость! Все самое очаровательное в природе и искусстве основано на обмане. Вот видишь — начала с ухарь-купеческого размаха, а кончила тончайшим штрихом. Разве это не линия для замечательного романа? Какая тема! Но обстроить, завесить, окружить чащей жизни — моей жизни, с моими писательскими страстями, заботами».

«Да, но это получится автобиография, с массовыми казнями добрых знакомых».

«Ну, положим, — я это все так перетасую, перекручу, смешаю, разжую, отрыгну… таких своих специй добавлю, так пропитаю собой, что от автобиографии останется только пыль, — но такая пыль, конечно, из которой делается самое оранжевое небо. И не сейчас я это напишу, а буду еще долго готовиться, годами, может быть… Во всяком случае, сперва примусь за другое, — хочу кое-что по-своему перевести из одного старинного фран-

цузского умницы, — так, для окончательного порабощения слов, а то в моем „Чернышевском“ они еще пытаются голосовать».

«Это все чудно, — сказала Зина. — Это мне все страшно нравится. Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, — когда слишком поздно спохватится… Но любишь ли ты меня?»

«То, что говорю, и есть в некотором роде объяснение в любви», — ответил Федор Константинович.

«Мне мало „некоторого рода“. Знаешь, временами я, вероятно, буду дико несчастна с тобой. Но в общем-то мне все равно, иду на это».

Она улыбнулась, широко раскрыв глаза и подняв брови, а потом слегка откинулась на своем стуле и стала пудрить подбородок и нос.

«Ах, я должен тебе сказать, — это великолепно, — есть у него знаменитое место, которое, кажется, могу сказать наизусть, если не собьюсь, не перебивай меня, перевод еще приблизительный: был однажды человек… он жил истинным христианином; творил много добра, когда словом, когда делом, а когда молчанием; соблюдал посты; пил воду горных долин (это хорошо, — правда?); питал дух созерцанием и бдением;

прожил чистую, трудную, мудрую жизнь; когда же почуял приближение смерти, тогда, вместо мысли о ней, слез покаяния, прощаний и скорби, вместо монахов и черного нотария, созвал гостей на пир, акробатов, актеров, поэтов, ораву танцовщиц, трех волшебников, толленбургских студентов-гуляк, путешественника с Тапробаны, осушил чашу вина и умер с беспечной улыбкой, среди сладких стихов, масок и музыки… Правда, великолепно? Если мне когда-нибудь придется умирать, то я хотел бы именно так».

«Только без танцовщиц», — сказала Зина.

«Ну, это просто символ веселого общества… Может быть, теперь пойдем?»

«Надо заплатить, — сказала Зина. — Кликни его».

После этого у них осталось одиннадцать пфеннигов, считая почерневшую монетку, которую она на днях подобрала с панели: приносит счастье. Когда они пошли по улице, он почувствовал быструю дрожь вдоль спины и — опять стеснение чувств, но уже в другом, томном, преломлении. До дому было минут двадцать тихой ходьбы, и сосало под ложечкой от воздуха, от мрака, от медового запаха цветущих лип. Этот запах таял, заменяясь черной свежестью, от липы до липы,

и опять, под ждущим шатром, нарастало душное, пьяное облако, и Зина, напрягая ноздри, говорила: «Ах… понюхай», — и опять преснел мрак, и опять наливался медом. Неужели сегодня, неужели сейчас? Груз и угроза счастья. Когда я иду так с тобой, медленно-медленно, и держу тебя за плечо, все немного качается, шум в голове, и хочется волочить ноги, соскальзывает с пятки левая туфля, тащимся, тянемся, туманимся, — вот-вот истаем совсем… И все это мы когда-нибудь вспомним, — и липы, и тень на стене, и чьего-то пуделя, стучащего неподстриженными когтями по плитам ночи. И звезду, звезду. А вот площадь и темная кирка с желтыми часами. А вот, на углу, — дом.

Прощай же, книга! Для видений — отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, — но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть… судьба сама еще звенит, — и для ума внимательного нет границы — там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка.

Предисловие автора к американскому изданию

[58]

Большая часть «Дара» была написана в 1935—37 годах в Берлине: последняя глава была закончена в 1937 году на Ривьере. Лучший эмигрантский журнал «Современные записки», издававшийся в Париже группой бывших эсеров, напечатал роман частями (в книгах с 63-й по 67-ю, в 1937—38 годах), но с пропуском четвертой главы, которую отвергли по той же причине, по которой Васильев отказывается печатать содержащуюся в ней биографию (в третьей главе): прелестный пример того, как жизнь бывает вынуждена подражать тому самому искусству, которое она осуждает. Лишь в 1952 году, спустя чуть ли не двадцать лет после того, как роман был начат, появился полный его текст, опубликованный одной самаритянской организацией, издательством имени Чехова. Занятно было бы представить себе режим, при котором «Дар» могли бы читать в России.

---

[58] Примечания: 58

Перевел с английского Геннадий Барабтарло

Я жил в Берлине с 1922 года, т. е. одновременно с молодым героем моей книги. Однако ни это обстоятельство, ни то, что у меня с ним имеются некоторые общие интересы, как, например, литература и чешуекрылые, ничуть не означает, что читатель должен воскликнуть «ага» и отождествить сочинителя с его сочинением. Я не Федор Годунов-Чердынцев и никогда им не был; мой отец не исследовал Средней Азии (хотя, может быть, сам я когда-нибудь и предприму такое исследование). Никогда я не ухаживал за Зиной Мерц; и меня нисколько не тревожило существование поэта Кончеева, да и любого другого писателя. Кстати, именно в Кончееве, да еще в другом случайном персонаже, беллетристе Владимирове, различаю некоторые черты себя самого, каким я был в 1925 году.

В те дни, когда я сочинял эту книгу, у меня не было еще той хватки, которая позволила бы мне воссоздать эмигрантскую колонию столь радикально и беспощадно, как я это делывал в моих позднейших английских романах в отношении той или иной среды. История то тут, то там просвечивает сквозь искусство. Отношение Федора к Германии отражает, быть может, слишком примитивное и безрассудное презрение,

которое русские эмигранты питали к «туземцам» (Берлина, Парижа или Праги). К тому же у моего молодого человека это усугубляется влиянием тошнотворной диктатуры того времени, когда я писал книгу, а не того, которое в ней фрагментарно отразилось.

Грандиозный отлив интеллигенции, составлявшей такую значительную часть общего исхода из Советской России в первые годы большевицкой революции, кажется ныне скитанием какого-то баснословного племени, следы гаданий которого по птицам и по луне я теперь высвобождаю из пустынного праха. Американская интеллигенция, завороженная коммунистической пропагандой, нас не признавала и принимала за злодеев генералов, нефтяных магнатов да сухопарых дам с лорнетами. Этого мира больше не существует. Нет больше Бунина, Алданова, Ремизова. Нет Владислава Ходасевича, великого русского поэта, никем еще в этом веке не превзойденного. Старая интеллигенция вымирает, не найдя смены среди так называемых «перемещенных лиц» двух последних десятилетий, которые привезли с собой за границу провинциализм и пошлость своего советского отечества.

Так как мир «Дара» стал теперь таким же при-

зрачным, как большинство других моих миров, я могу говорить об этой книге до известной степени отвлеченно. Она была и останется последним романом, написанным мной по-русски. Ее героиня не Зина, а русская литература. Сюжет первой главы — стихотворения Годунова-Чердынцева. Во второй его литературные занятия тяготеют в сторону Пушкина; тут он пытается описать зоологические изыскания отца. Третья глава оборачивается к Гоголю, но настоящий ее стержень — любовное стихотворение, посвященное Зине.

Книга Федора о Чернышевском — спираль внутри сонета — занимает четвертую главу. В последней главе сходятся все предшествующие темы и намечается образ книги, которую Федор мечтает когда-нибудь написать: «Дар». Любопытно, докуда последует воображение читателя за молодыми влюбленными, после того как я отпускаю их на волю.

Участие стольких русских муз в оркестровке романа делает его перевод особенно затруднительным. Мой сын, Дмитрий Набоков, закончил английскую версию первой главы, но нужды собственной его профессии не позволили ему продолжать работу. Остальные четыре главы перевел Михаил Скаммель. Зимой 1961 года я

тщательно проредактировал перевод всех пяти глав. Я сам отвечаю за английские тексты стихотворений и поэтических отрывков, рассеянных по всей книге. Эпиграф не выдуманный. Заключительное стихотворение подражает Онегинской строфе.

Владимир Набоков
Монтре, 28 марта 1962 г.

Copyright © 1937, 1938, 1952 by Vladimir Nabokov

Introduction copyright © 1963 by Vladimir Nabokov

Russian translation of the Introduction copyright © 1988, 2007 by Dmitri Nabokov

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with Dmitri Nabokov, Proprietor of the Estate of Vladimir Nabokov

Издательство благодарит Мемориальный музей Владимира Набокова (Санкт-Петербург) за ценную помощь в подготовке настоящего издания.

© Издательская Группа «Азбука-классика», 2009